

ПИСЬМА ИЗ
ИЛЬЯ
ТАБАИ
«ЗАКЛЮЧЕНИЯ»



1970
1972



Новое
Литературное
Обозрение



**ИЛЬЯ ГАБАЙ:
ПИСЬМА
ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
(1970—1972)**

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
МОСКВА
2015

УДК 329:342.7

ББК 66.71(2),2

Г12

- Г12 Илья Габай: Письма из заключения (1960—1972) / Сост., вступ. ст. и комментарии М. Харитонов. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 336 с.: ил.

ISBN 978-5-4448-0299-1

Илья Габай (1935—1973) — активный участник правозащитного движения 1960—1970-х годов, педагог, поэт. В январе 1970 года он был осужден на три года заключения и отправлен в Кемеровский лагерь общего режима. В книге представлены замечательные письма И. Габая жене, сыну, соученикам и друзьям по Педагогическому институту (МГПИ им. Ленина), знакомым. В лагере родилась и его последняя поэма «Выбранные места», где автор в форме воображаемой переписки с друзьями заново осмысливал основные мотивы своей жизни и творчества. Читатель не сможет не оценить нравственный, интеллектуальный уровень автора, глубину его суждений о жизни, о литературе, его блистательный юмор. В книгу включено также последнее слово И. Габая на суде, которое не только не устарело, но и в наши дни читается как злободневная публицистика.

УДК 7.036(47+57)

ББК 85.03(2)6-022.30

В оформлении обложки использован барельеф работы В. Сидура.

Фотографии на вклейке из домашних архивов.

© И. Габай, наследники, 2015

© М. Харитонов, сост., вступ. ст. и комментарии, 2015

© Оформление. 000 «Новое литературное обозрение», 2015

«ЗНАЧИТ, ДОЛЖЕН Я ВЫИСКАТЬ МЕСТО»

Об Илье Габаяе

В ночь после смерти Ильи Габая я перечел его стихи — и заново открывшегося слуха впервые коснулся пронзительный трагизм их звучания. «Мне невозможно жить», «Мне стыдно, что я жив, когда творят праведж безжалостность и жадность, ложь и вошь» — слова, многими произносимые в худую минуту искренне и все же риторично, для него были исполнены смертельной серьезности.

В марте 1971 года он писал мне из Кемеровского лагеря о своих стихах: «Я недавно многие из них перечел (мысленно) и подивился одному обстоятельству: многое все-таки было предугадано. Интересно, интуиция ли это или как-то малозаметно подгоняешь жизнь под стихи, которые все-таки при всех обстоятельствах — определенная квинтэссенция помыслов».

Стихи всегда о главном для него, а по сути единственном: о трагическом самоощущении человека, обнаженная душа которого воспринимает как свои все боли времени, о страстных поисках достойной позиции в разорванном, невоссоединимом мире.

Значит, должен я выискать место...
В этом крошеве местей и свар?..
Но откуда мне ведома честь
Государственных тяжб и воительств?

Габай известен как правозащитник, но он не был политиком. В своем последнем слове на суде в 1970 году, ярком, страстном, умном слове, которое, надеюсь, когда-нибудь войдет в хрестоматию по истории нашей общественной мысли, он по праву мог заявить: «Мне, я думаю, не свойственно общественное честолюбие». Исходным мотивом его действий, как уже говорилось, всегда был непосредственный нравственный импульс:

Ах, слава богу, мы не Робеспьеры,
Но почему должны терпеть мы стыд?

Любимым героем Габая всю жизнь был Дон Кихот. Он говорил мне об этом в первый год нашего знакомства и верность «священному донкихотству» сохранил до конца.

Я не встречал человека столь чувствительного к чужой беде, незащищенности, униженности, столь органически неспособного терпеть ложь, фальшь, несправедливость. И его участие в движении, которое потом стало называться правозащитным, оказалось естественным, само собой разумеющимся. Впрочем, тогда это и не воспринималось как движение. Встречались, знакомились, собирались люди самого разного опыта, возраста, специальности, судьбы, достоинств, даже взглядов — хотя взглядам еще лишь предстояло во многом оформиться и уточниться, и все эти знакомства, обсуждения, споры немало тому способствовали. Объединяла этот переливчатый конгломерат людей разве что неудовлетворенность общественным состоянием, потребность что-то понять в нем, что-то, может быть, изменить. Это незрелое поначалу брожение со временем принимало форму различных протестов, заявлений, писем и демонстраций.

5 декабря 1965 года Габай принял участие в одной из первых таких демонстраций на Пушкинской площади, затем в другой, против статьи 190-1 Уголовного кодекса («распространение заведомо ложных измышлений» — той самой, по которой его потом и осудили). Перед судом Габай впервые предстал в феврале 1967 года.

«Значит, должен я выискать место»

Дело тогда пошло как-то необычно: сначала было возвращено для
доследования, потом, в июле, неожиданно прекращено.

Совет покуртуазничать — и баста,

Совет покрасоваться — и уйти? —

так прокомментирует он в позднейших стихах этот странный поворот,
вносивший словно бы двусмысленность в его самоощущение.

Летом 1968 года он уехал на заработки с археологической экс-
педицией в Молдавию. В августовские дни его не оказалось в Мо-
скве, иначе Габай наверняка стоял бы с другими на Лобном месте.
Я, помню, грешным делом испытал по этому поводу облегчение;
потом не раз думалось, как все могло сложиться по-другому, если
бы он прошел по этому сравнительно мягкому процессу. Но речь
могла идти только об отсрочке — путь его был предопределен.

Философы утверждают, что ситуация, в которой оказывается
человек, не совсем для него случайна: она знак его личности,
и судьба, может быть, заложена в душевной структуре, как в гене-
тическом коде.

Я ощутил до богооткровенья,

Что я погиб. Что лето не спасенье,

Что воробы и солнце не спасут, —

это было написано в то самое молдавское лето. Он вернулся в Москву
в начале сентября — вырвался, не дожидаясь конца экспедиции. Мы
встретились с ним во дворе суда над участниками августовской де-
монстрации. У него есть об этом очерк «У закрытых дверей открытого
суда». В октябре он уехал в Ивановскую область, ему была обещана
там работа в деревенской школе; в Москве он уже не мог устроиться.
Но долго там не выдержал, кажется, уже зимой вернулся, с головой
ушел в нарастающую правозащитную деятельность. Печатались с его
участием «Хроники», составлялись письма и обращения, приезжали
из Средней Азии и останавливались у него крымские татары, он
ходатайствовал по их делам.

19 мая 1969 года его арестовали последний раз, в январе 1970 года осудили на три года и отправили в Кемеровский лагерь общего режима.

В лагере, выкраивая редкие свободные минуты, Илья Габай писал последнюю свою поэму «Выбранные места», где в форме воображаемой переписки с друзьями заново осмысливал основные мотивы своей жизни и творчества. Реальных примет каторжного быта в этих стихах практически нет. Илья и в письмах из лагеря был поразительно сдержан, и объяснялось это не просто всегдашней оглядкой на цензуру. Это была душевная собранность, не допускающая жалоб, перекладывания на других своих тягот. Лишь изредка, намеком прорывалось: «Есть, дорогой мой, и некоторые поводы для житейских огорчений — но в предвидении нового, не високосного года это все побоку» (20.12.1970). «...Я в последние дни в совершенной подавленности. На это есть причины — юмористические, когда все это станет воспоминанием о прошлом, но очень существенные, совершенно выбивающие из колеи — меня с моими нервишками и нестойкостью особенно» (21.1.1971). Да и вернувшись потом, рассказывал о пережитом предельно сдержанно, и лишь намеками проступали иногда страшные эпизоды блатных расправ, лагерных унижений и невзгод.

Можно только вообразить, как он при тогдашних нервах считал эти дни и что значило для него, когда за два месяца до конца, в марте, его перевели в Москву для дачи показаний по новому делу. Это был рассчитанный ход изошренных тюремных психологов.

Для Габая начался новый тур допросов, давления и угроз. Угрозы касались теперь не только его, но его близких и друзей; ему заявили, что многие из них уже арестованы, требовали показаний на них. Делалось как будто все, чтобы выбить из него формальное раскаяние и отречение. Добиться удалось гораздо меньшего: обязательства воздерживаться впредь от общественной активности. С тем его пока и выпустили.

19 мая 1972 года мы с женой Ильи и Ю. Кимом всю ночь дежурили у Лефортовской тюрьмы: вдруг выпустили бы его сразу после полуночи, с началом новых суток. Ждали почти до полудня

в нарастающей нервности: неужели не выпустят? — и не решались навести справки.

Оказалось, Илья в это время уже был дома. Его выпустили в восемь утра через дверь следственного корпуса. Может, умышленно постарались предотвратить встречу. Пришлось ему самому тащить домой тяжеленный рюкзак с книгами, которые накопились к концу лагерного срока. До нашего приезда он успел принять ванну, переодеться и встретил нас на удивление не изменившимся — даже волосы отросли за время следствия; только разве что более худой, чем обычно, какой-то миниатюрно-тонкий — но и это стало привычным через полчаса. А речь, шутки, интонации — до иллюзии те же, как будто вчера лишь расстались. В дверь звонили, намерение уберечь Илью в этот день от утомительных встреч сразу пошло насмарку — он сам был, казалось, в прекрасной форме, только ощущения немного притуплены, все воспринималось словно сквозь легкое головокружение.

— Мне кажется, что я вижу сон, — сказал он. — Я думал, что половины из вас уже не встречу. Так угрожающе со мной говорили.

И только на фотографии, прикрепленной к документу об освобождении, он был совсем на себя не похож (так неузнаваем потом был он в гробу). Возможно, фотообъектив выявил то, чего в первый момент не разглядели мы: это был уже потрясенный человек.

Потянулись месяцы неустроенности, поисков работы, безденежья, домашних трудностей и допросов. Удалось устроить ему путевку в дом отдыха на Каспийском море; тогда-то он впервые за много лет побывал в своем родном Баку и навестил могилы родителей. Жить приходилось на зарплату жены, кое-что подкидывали друзья; иногда удавалось достать работу, чаще оформленную на чужое имя. Положение было нервным, неопределенным. Уже начинала поторапливать с трудоустройством милиция. Нигде его не брали. Сотрудники КГБ, одно время обещавшие ему помочь, разводили руками, удивляясь трусости отделов кадров (как им было не удивляться!); наконец подыскали место корректора в газетной редакции. Утомительное механическое чтение мелкого шрифта при его зрении и нервах сказывалось болезненно, он приходил

с работы разбитый, и это вплеталось в общую подавленность и бесперспективность.

В июне арестовали Петра Якира, одного из близких Илье людей, вскоре за ним Красина: их показания были для Габая серьезным ударом. Колебалось, утрачивало прочность то, что было прежде жизненной опорой. На очередных вызовах и допросах Илье стали предъявлять новые показания, требовали показаний от него.

Однажды спросили:

— Вы не собираетесь уехать за границу?

Он ответил:

— Мне бы не хотелось. Но здесь я не вижу никаких возможностей.

— Держать вас не будем, — намекнули ему.

В последний день августа 1973 года я провожал его от себя, спросил, пишется ли ему. Он усмехнулся:

— Я, может, скорей напишу последнее письмо.

И я все еще не слышал? Слышал, как же нет! «Боюсь, это плохо кончится», — записано осенью. Мы говорили об этом с друзьями, гадали, что бы придумать, — и не могли придумать больше, чем помочь деньгами, поискать заработок; надеялись на таблетки, на то, что обойдется, — а он уже падал, падал со смертельной высоты, медленно, как в страшном сне, — и, как во сне, мы не умели шевельнуться, чтобы удержать его...

20 октября 1973 года Илье бросился с балкона своей квартиры на одиннадцатом этаже. В предсмертной записке он просил друзей и близких простить все его вины: «У меня не осталось ни сил, ни надежды». Сам почерк записки и то, как он позаботился положить рядом с ней очки, подтверждает, что все совершалось в ясном разуме.

Заупокойную службу по нему, неверующему, служили в православной церкви (что возле Преображенского кладбища), в Иерусалимской синагоге и в мусульманской мечети: крымские татары убедили муллу забыть о недозволённости отпевать самоубийцу.

Он погиб тридцати восьми лет, и праздное дело гадать, чем могла бы еще стать эта жизнь; она имеет свою завершённую цену. Он

«Значит, должен я выискать место»

трагически доказал подлинность своей человеческой и поэтической последовательности. Похоронили его на родине, в Баку. На его могиле установлен памятник работы Вадима Сидура.

Марк Харитонов

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ИЛЬИ ГАБАЯ¹

*на процессе 19—20 января 1970 года
в Ташкентском городском суде*

1

Я привлекаюсь к уголовной ответственности за то, что открыто поставил свою подпись под документами, в которых излагалось близкое мне отношение к некоторым фактам нашей жизни.

Иметь свое, отличное от официального, мнение по вопросам внутренней и внешней политики — завоевание более полуторавековой давности. Я думаю, что ради этого естественного человеческого права и совершались в предшествующие века самые приметные действия: штурмовали Бастилию, писали трактаты о добровольном рабстве или «Путешествие из Петербурга в Москву». Страны, не придерживающиеся этих законов жизни, в настоящее время выпадают из общей нормы. Это признает и Конституция нашей страны, предоставившая своим гражданам свободу слова, совести, демонстраций.

Тем не менее время от времени появляются одни и те же оговорки, позволяющие квалифицировать недовольство, несогласие, особое мнение — как преступление.

Более ста лет назад одна провинциальная русская газета писала: «Говорят о свободе слова, о праве на свободу исследования — прекрасно... Но не там, где речь идет об общем благе. В виду этой последней цели все свободы должны умолкнуть и потонуть в общем и для всех одинаково обязательном единомыслии».

Далее газета добавляла: «Недаром "Норддойтшен Цайтунг" поучает нас и впредь действовать в том же направлении».

В переводе с пошехонского языка на современный эта благонамеренная сентенция напоминает разговоры с разоблачениями абстрактных свобод, суждения, клеймящие инакомыслие как

¹ Публикуется по написанному им тексту.

Последнее слово Ильи Габая на процессе 19—20 января 1970 года...

посягательство на великие и единые цели. Недаром, — добавляется и в этом случае, — западногерманские реваншисты (или Би-би-си, или Голос Америки) встречают бурным одобрением это инакомыслие.

Я плохо улавливаю в таких случаях, какое отношение имеют реваншисты к аресту, например, председателя колхоза Ивана Яхимовича. Возникает другой, более важный вопрос: почему официальная точка зрения обязательно общенародная. Неужели для достижения общего блага необходимо было в порыве единомыслия считать Тито — палачом и наймитом империализма, кибернетику — лженаукой, генетику — прислужницей фашизма, а творчество Шостаковича — сумбуром вместо музыки? Или народу для достижения его счастья крайне необходимы были вакханалии 37-го, 49-го и 52-го годов?

Остается повторить вопрос Салтыкова-Щедрина: «Разве где-нибудь написано: вменяется в обязанность быть во что бы то ни стало довольным?»

А если не вменяется, то почему время от времени недовольные отправляются в отдаленные места? Потому, что именем народа говорят люди, считающие лучшим медицинским снадобьем бараний рог и ежовые рукавицы? Или потому, что, говоря словами того же автора «Убежища Монрепо», «Протест не согласуется с нашими традициями?»

2

В этих случаях обычно возражают: мы судим не за убеждения, а за распространение клеветы. Стало быть, за два преступления: за то, что лжешь, клеветешь, и за то, что эту ложь делаешь общим достоянием. Против подсудности таких проступков не решился бы возражать ни один человек, тем более что на нашей памяти немало доказанной клеветы. В этом случае можно было бы ожидать какого-то судебного решения по поводу прозаика Ореста Мальцева и драматурга Мдивани: они рассказывали о связи Тито с фашистами; по поводу профессора Студитского, приобщившего к тем же

фашистам ученых-биологов; художников Кукрыниксы, журналистов Грибачева и Кононенко, обливавших грязью группу крупных советских врачей. Но названные лица поют благополучно новые песни, приспособленные к новым временам, народилась смена молодых и ретивых ненавистников, но на скамье подсудимых время от времени оказываются все те же люди, не укладывающиеся в традиции постоянного безудержного ликования¹.

Клеветать — на всех языках и во все времена означало говорить то, чего не было. А в ходе следствия ни один факт не был проверен и опровергнут. Основанием для приобщения нашей информации к разряду клеветнической послужил веский, проверенный временем аргумент: «Этого не может быть, потому что это невозможно».

Я отрицаю, что документы, которые я писал или подписывал, носили клеветнический характер. Я допускаю, что выводы, которые я делал, могут быть кому-то не по вкусу. Кто-то вправе считать, например, что положение татар не столько нормальное явление, но чуть ли не эталон национальной политики. Я считал иначе, и считал так на основании фактов, которыми располагал и которые следствие не дало себе труда опровергнуть.

У меня не было, как мне кажется, никаких мотивов для распространения клеветы. Мне, я думаю, не свойственно общественное честолюбие, но если даже предположить, что я писал из политического тщеславия, то трудно логически увязать открытое, за личной подписью, обращение к общественности с извращением легко проверяемых фактов. Писать для того, чтобы себя компрометировать, и при этом идти на многие жизненные неудобства — от потери работы до потери свободы — такое встречается, наверное, только в практике психиатров, а я, как видно из материалов дела, не входил в их клиентуру.

Что касается распространения, то тут я должен сказать следующее: убеждения, на мой взгляд, не только мысли, в которых человек убежден, но и мысли, в которых он убеждает. Доверительным

¹ В суде было сказано: «А на скамье подсудимых — люди, которые не укладываются в традиционное “ура!”» (прим. Галины Габай-Фикен, цит. по изд.: *Габай И.* «...Горстка книг да дружества...». Бостон, 2011).

шепотом, под сурдинку, сообщаются воровские замыслы или сплетни, но уж никак не открытые взгляды. И если речь шла только о том, давал ли я читать то, что писал и подписывал, то следствие могло и не утруждать себя: открыто подписанное обращение к общественности предполагает, что будет сделано все возможное, чтобы этот документ дошел до адресата.

Я считал и считаю, что писал правду, хотя и не исключаю возможности какой-нибудь частной оговорки. Больше того, я считаю, что документы, которые здесь называются «клеветническими», охватывают далеко не все претензии, которые могут быть у моих сограждан и у меня; чувство реальности удерживало меня от того, чтобы затрагивать вопросы, не поддающиеся простому решению или выходящие за пределы моей компетентности. Факты, которые я считал нужным довести до сведения моих соотечественников, казались мне вопиющими, и умолчание в некоторых случаях было для меня равносильно соучастию.

Я не выдумывал псевдонимов, не прятал бумаги в подпол, так как был уверен в своей правоте и правдивости. Я и сейчас считаю необходимым доказать, что документы, написанные и подписанные мной, продиктованы чувством справедливости и преследовали одну-единственную цель: устранить все, что мешает ее торжеству.

3

Во многих документах, автором или соавтором которых я себя считаю, поднимался вопрос о том, что в практике общественной жизни последнего времени прослеживаются тревожные аналогии со временем так называемого «культа личности».

В ходе следствия следователь выдвинул возражение, которое кажется мне симптоматичным. Оно сводилось примерно к следующему: вот вы говорите все: «сталинизм», «сталинизм» — а вас никто не пытается, не допрашивает ночами, позволяет не отвечать на вопросы и т.д. Если понимать сталинизм таким образом, то заявление о его симптоматичности действительно выглядит сильным преувеличением. Но я считаю ежовское варварство крайностью

сталинизма. Без него он выглядел бы менее жестоким и кровавым, но все равно оставался бы антигуманным и тираническим явлением XX века. Я далек от того, чтобы проводить какие-то параллели, но считаю нужным напомнить, что итальянский и румынский фашизм обошелся без «ночей длинных ножей» и без Освенцима, но не перестал быть фашизмом. Для меня, да и, насколько я знаю, для многих то, что условно называется сталинизмом, охватывает целый круг социальных аномалий.

Прежде всего сталинизм — это вечно указующий и вечно грозящий перст в сложной и противоречивой области мысли, убеждения, творчества.

В документах говорилось о том, что в последнее время вокруг развенчанной фигуры Сталина появился ореол, и этому способствует, к сожалению, позиция наших крупных журналов, издательств и даже государственных деятелей. Если бы это была точка зрения, существующая равноправно с противоположной, то это могло бы вызвать досаду — и только. Но, по существующей традиции, некоторые органы печати представляют собой род кумирни, обладают правом единственного слова, и позиция журнала «Коммунист» или изд-ва «Мысль» безоговорочно исключает иную точку зрения, даже если мысли официальной печати противоречат их собственной недавней позиции. Так оно и случилось, и в свет стали выходить одна за другой работы, доказывающие прозорливость и мудрость Сталина, это привело, конечно, сразу же к автоматическому забвению других авторитетных работ, в которых доказывалось, что и прозорливость, и мудрость часто изменяли Сталину самым роковым для страны образом. Была рассыпана книга бывшего наркома, изъята из библиотек другая книга, в которой подводились практические итоги военных исследований за послесталинское десятилетие. В одном из журналов появились стихи, автор которых вожделенно тоскует по кинокартине «Падение Берлина», чуть ли не по воскресению великого учителя, великого кормчего. Для этой пародии на романтическое ожидание, когда из гроба встанет император, а на нем будет «треугольная шляпа и серый парадный сюртук», для этих начисто лишенных художественности опусов Чуева о «нашем генералиссимусе» нашлась

Последнее слово Ильи Габая на процессе 19—20 января 1970 года...

бумага и место — для «Реквиема» или «Воронежских тетрадей» их не нашлось.

В конце концов недостаток мудрости, хотя бы такой, зафиксированный не так давно недостаток, как «субъективизм руководства», может обернуться сильной, но поправимой бедой. Если даже допустить, что Сталин обладал всеми качествами крупного государственного деятеля, что действия его способствовали всеобщему благу, все равно от поклонения ему должны были бы удержаться хотя бы соображения нравственной стерильности. Никакое количество стали на душу населения не может быть индульгенцией за душегубство; никакое материальное благосостояние не вернет жизнь 12 миллионам людей, и никакая зажиточность не сможет компенсировать свободу, достоинство, личную независимость.

Из всех эмигрантских публицистов (а среди них есть очень крупные фигуры) в последнее время очень сочувственно назывались в печати имена Питирима Сорокина и Соловейчика. Причина этой благосклонности в том, что они считают лучшей из свобод отсутствие безработицы. Если следовать этой бездуховной прагматической точке зрения, если взять всерьез на вооружение саркастический совет великого русского писателя: «Какое основание прибегать к слову “свобода”, коль скоро есть слова, вполне его заменяющие: “улучшение быта” да при этом закрыть глаза на действительные условия жизни сталинского времени — Сталин как символ бараньего рога и дешевой водки может действительно показаться высшим воплощением государственной мудрости и справедливости».

Но в этом случае расхожие лжеистины потеснят выстраданные цивилизацией представления о гуманности, в этом случае будет происходить постоянная утрата моральных прав, и если новым поколениям будет успешно внушено, что тридцатые годы — годы трудовых успехов и только, то кто сможет отказать другой стране в благоговейном воспоминании о времени, когда тоже с избытком хватало и силы, и веры, и почитания, и энтузиазма, и страха, и зрелищ, и стали на душу населения...

Во многих документах, написанных или подписанных мною, говорилось именно об этом. Понятие «сталинизм» расшифровывалось, и делалось это потому, что оценка Сталина представлялась мне и, надо полагать, и моим соавторам вопросом отнюдь не академическим. Архаический пласт, который, по наблюдению мудрых людей, всегда в той или иной степени есть в любом обществе, чрезвычайно чувствителен к такой реабилитации изуверства и несвободы, какую неизбежно несет с собой реабилитация имени Сталина. Признать Сталина лицом положительным — это положительно оценить и навязанные силой условия, это вообще коренным образом переоценить те представления о человеческих взаимоотношениях в обществе, которые в робкой, недостаточной, противоречивой форме, но все-таки вырабатывались с 1956 по 1962 год. Что так оно и есть на самом деле, свидетельствуют многие факты: от окриков в адрес историков, писателей, режиссеров, «осмелившихся» отрицательно трактовать личность Ивана Грозного, до участвовавших аргументов, оскорбляющих мое представление о человеческом достоинстве, о победах при НЕМ, о смерти с ЕГО именем. Идолопоклонство это опасно тем, что оно автоматически ведет к представлению о непогрешимости всего происходившего и происходящего. Мы писали о том, что сейчас, когда еще последствия сталинизма воспринимаются очень многими как личная трагедия, так называемая «объективность» его оценки не может не восприниматься как кощунство, как надругательство над его жертвами. Тем более что эта «объективность» самым магическим образом ни на кого, кроме Сталина, не распространяется, во всяком случае она не распространяется на его оппонентов. Я мало что смыслю в партийной борьбе, да и интересы мои мало соприкасаются с этой сферой; я готов поверить, что противники Сталина были не правы то слева, то справа, то с центра, а он всегда был прав, что они были некорректны в споре, а Сталин был образцом корректности. Но мне известно, что не они прибегли к такому полемическому аргументу, как клеветнический навет и физическое истребление. И тогда такая объективность оборачивается очень опасным смещением

понятий, при котором уничтожение миллионов кажется пустяком по сравнению с неправильной позицией в дискуссии о профсоюзах.

5

В связи со своими пристрастиями я особенно остро ощущаю несвободу в творческой и вообще гуманитарной деятельности.

В одном из наших документов говорилось о том, что временщики портят жизнь и условия работы деятелям культуры, диктуют в императивной форме всем без исключения свои вкусы. В этом непременно, злом и невежественном посредничестве я усматриваю одно из самых характерных проявлений сталинизма, и, как бы резко ни звучало слово «временщик» и как бы категорически ни выглядело это утверждение, я, к моему глубокому сожалению, не могу снять его. Мартирологи самых талантливых людей нашей страны — Бабеля, Прокофьева, Зощенко, Платонова, Ив. Катаева, Ахматовой, Мандельштама, Петрова-Водкина, Фалька, Заболоцкого, Булгакова — мешают мне отказаться от этого утверждения. Мне трудно забыть, как в уже новые, внушавшие мне некоторые иллюзии времена один временщик выгонял из страны, как из своей вотчины, ее гордость — Бориса Пастернака, а другой с апломбом преподавал азбуку живописи виднейшим советским художникам. И как же не временщики — эти люди, затерявшиеся сейчас в списках номенклатурных лиц. Сейчас ясно, что пребывание Семичастного¹ не оставило неизгладимого следа в истории нашего молодежного движения, но в свое время он был наделен полномочиями говорить от имени всей молодежи и даже всего народа. Разруганные в 1962—1963 годах картины сейчас висят в Третьяковской галерее, но практика непрекаемого чиновничьего суждения осталась неизменной. Запрет изданий, выставок, спектаклей и кинокартин, запреты, большей частью не поддающиеся никакому логическому объяснению, показывают, что эта чиновничья

¹ В.Ф. Семичастный — глава КГБ в 1961—1967 годах, до этого руководил советским комсомолом. Прославился призывом изгнать из страны Пастернака, сравнив поэта со свиньей.

Последнее слово Ильи Габая на процессе 19—20 января 1970 года...

забота об искусстве целиком и полностью укладывается в нехитрый, но вечный прием будочника Мымрецова: «Тащить и не пущать».

Люди, любящие искусство, не склонны видеть политическое событие в явлениях чисто художественных, и политическую сенсацию вокруг имени очень большого современного писателя делают не читатели, а те, кто, не брезгуя действительной, а не мнимой клеветой, льют потоки неудержимой брани на это творчество. Особенно грустно, что это ненавистничество культивируется зачастую печально знакомыми лицами. Закон, по которому может быть тема колхозная или военная, но не может быть лагерной, придуман теми, кто, кажется, рад был бы из всей живописи оставить картину «Сталин и Ворошилов в Кремле», а из всей литературы стихи о зоркоглазом и мудром наркоме Ежове и пьесы о происках космополитов.

6

Культ Сталина — это не просто вздорное языческое суеверие. За этим стоит опасность торжества мифической фикции, за этим стоит оправдание человеческих жертвоприношений, ловкая подмена понятия свободы понятием быта. Оправдать исторически зачастую означало сделать это эталоном своего времени. Сталину понадобилось возвысить Ивана Грозного, сейчас кому-то понадобилось возвысить Сталина — сравнение слишком бросается в глаза, и не говорить об этом — невозможно. Я буду рад, если мои опасения окажутся несправедливыми, но и возможная опасность требует какого-то действия, даже с такими малыми силами, как наши, и с такими мизерными результатами.

7

Подавляющее большинство инкриминируемых мне документов — протест против осуждения людей по политическим мотивам. И это не случайно.

В деле есть свидетельства моего оптимистического настроения во время XXII съезда. Напоминая об этом, я ни в коем случае не хочу

подчеркивать свою лояльность. Истина требует честного признания, что эти настроения — следствие присущей мне восторженности и склонности к иллюзиям. Если я говорю об этом, то только для того, чтобы объяснить, почему я писал и подписывал такие письма, хотя заведомо знал безнадежность таких действий.

Я не хотел и не хочу оказаться в положении людей предшествующих поколений, которые не заметили исчезновения десятка миллионов людей. Я убедился в том, что короткая историческая память и постоянная готовность к ликованию — лучшая почва для произвола и что названные миллионы в конечном счете слагались из тех единиц соседей, сослуживцев, добрых знакомых, которых ежедневно теряли взрослые люди 37-го года.

Подмена полемики репрессиями — факт не только частного истязательства, конкретной несправедливости (что важно в первую очередь), но потенциальная возможность новых массовых аутодафе, общей атмосферы немоты, страха и взвинченного энтузиазма. Я очень могу понять, что многие не разделяют взглядов Гинзбурга, Яхимовича, Богораз или Григоренко¹, но слово есть слово, и подменять спор тюрьмой — это значит бросать вызов людям, остро почувствовавшим жуткое каннибальство нашего века, и постоянно напоминать им о его каждодневной возможности.

Нелишне напомнить также, что эти аресты неизбежно влекут за собой грубые процессуальные нарушения, соглядатайство, доносительства, диффамации в прессе, что в самом деле по-настоящему порочит наш государственный и общественный строй.

В обвинительном заключении приведено место из одного из таких писем: «Мы никогда не примиримся с репрессивными акциями, направленными на ущемление законных прав и достоинства наших сограждан». Я и сейчас стою на том, и если усталость или чувство безнадежности заставит меня когда-нибудь решиться на пилатство — это не прибавит мне уважения к себе². Есть такой

¹ А. Гинзбург, И. Яхимович, Л. Богораз, П. Григоренко — советские правозащитники, политзаключенные.

² В суде было сказано: «Я перестану уважать себя» (прим. Галины Габай-Фикен, там же).

способ общественного существования: «Плюнь и поцелуй злодею ручку». Но тусклая философия дядьки Савельича, кажется, никогда не считалась примером, достойным подражания. И я надеюсь, что меня минует судьба ее проповедника.

8

Некоторые из документов затрагивают или специально разбирают вопрос о крымских татарах. Я не татарин и никогда не жил и не стремился жить в Крыму, но у меня есть, я убежден, серьезные личные основания принимать этот вопрос близко к сердцу.

Я хорошо помню последние годы Сталина, когда я особенно остро ощутил полную незащищенность человека национального меньшинства. Ведь антисемитизм того времени не ограничился очередным произволом по отношению к еврейским писателям, артистам или врачам. Он поднял те самые архаические пласты, о которых уже говорилось выше, вызвал к жизни самые дремучие и злые побуждения, и, когда сегодня я иногда слышу, как рассуждают о татарах люди, которые как сейчас помнят нашествие Батыя на Рязань, я возвращаюсь мысленно ко времени своих личных обид перед лицом этой самоуверенной и неразумной силы.

Легко представить себе в известной книге «Миф XX века» примерно такое место: «Евреи всегда были врагами рейха, подрывали благосостояние немецкого народа, совершали предательство по отношению к фатерланду» и т.д. Но когда такие слова: «Татарское население в Крыму никогда не являлось трудолюбивым и в годы Отечественной войны открыто проявило враждебное отношение к советской власти», — когда такие слова произносит не Розенберг, а советский общественный деятель — любое выражение для определения интернационализма такого рода выглядит бледным и вялым¹.

¹ В суде Было сказано: «...когда такие слова произносит... советский общественный деятель — это пропаганда нацизма» (прим. Галины Габай-Фикен, там же).

Последнее слово Ильи Габая на процессе 19—20 января 1970 года...

Правда, эти слова Кулемин произнес в давние времена; но вот совсем недавно, как я узнал, лектор Становский произнес буквально следующее: «Да, абсолютно все крымские татары, даже дети, были предателями. При выселении татар я тоже участвовал, но никакой жалости ни к детям, ни к женщинам не испытывал».

К слову, — это тоже симптоматичная примета: один деятель, довольно крупный, публично заявил, что работа в НКВД в известную эпоху не мешает ему спокойно спать, другой гордится участием в репрессиях по отношению к целому народу. Спокойный сон сталинистов-практиков вряд ли может внушить излишнее спокойствие.

Я должен сразу сказать, что не был очевидцем и что всю информацию о татарах черпал из материалов их движения, но десятки тысяч подписей — достаточно убедительное свидетельство, которое могло заставить меня поверить и побудить к некоторым действиям солидарности.

Мне известно, что татары — аборигены Крыма, что, вопреки утверждениям фальсификаторских работ, они созидали на своей исконной территории высокую материальную и духовную культуру. Должен напомнить, что потемкинские деревни возникли в Тавриде только в XVIII веке, когда туда привнесли свои хозяйственные традиции русские завоеватели. Об этом в свое время, пока по мановению волшебной палочки татары не превратились в предателей, говорилось и в советской печати. «Свыше 7 веков, — писали авторы «Очерков истории Крыма», — Крым является родиной крымских татар, создавших из Тавриды плодороднейшую и богатейшую страну». Позднее уже возникли у казенных историков или литераторов типа Павленко, Первенцева, Лугового невообразимые легенды с очень недорогим смыслом. Они легко сводятся к приведенным словам Кулемина или к глубокомыслию правдивейшего из историков — Надинского: «Разбойничьи набеги явились профессией крымских татар».

В обвинительном заключении сказано: «В частности этот народ назван Габаем (следует читать: “клеветнически назван”) многострадальным». Так и надо понимать: огульное обвинение в предательстве, изгнание, гибель около 110 тыс. человек, непрекращающаяся клевета — все это страдания «недостаточные».

Позволю себе заметить: если бы действительно татары перешли на сторону немцев — это было бы трагической ошибкой народа, но не давало бы никому права распоряжаться их родиной. Ведь не пришло же никому в голову заняться переселением румын, венгров или итальянцев.

Но факты свидетельствуют, что это не только огульное обвинение, — это прямая ложь. Факты свидетельствуют, что многие крымские татары воевали на фронтах, что 32 600 мужчин были партизанами и подпольщиками и вообще в партизанские отряды Крыма входило от 43 до 55% крымских татар. Для справки надо напомнить, что в 37-м году на территории Крыма проживало 208 тыс. человек — 25,4% крымского населения.

В Указе от 5 сентября 1967 года сказано: «Отменить соответствующие решения государственных организаций в части, содержащей огульное обвинение в отношении граждан татарской национальности». Из этого логически может вытекать только одно решение: вернуть этому народу, так же как вернули чеченцам, ингушам, карачаевцам, балкарцам, калмыкам, отнятые у них территории и государственность. Я не встретил в печати ни одного объяснения, почему именно для крымских татар было сделано исключение.

Крымско-татарский народ продолжает оставаться в состоянии морального и физического угнетения, по отношению к нему допускаются циничные, бесчеловечные надругательства.

Гражданка Касаева сообщает, что 8 мая 1968 года милиция во главе с подполковником Косяковым оцепила группу татар, из них насильно составили спецпоезд «врагов советской власти, которые предавали и предадут» и в этом качестве везли среди кавказских народов. Чудовищная практика находит чудовищное воплощение в теоретических разглагольствованиях. Другой работник милиции подполковник Пазин заявил татарам: «Крым не для вас. Ваша родина — Турция». В Юбилейной информации сообщается о выдворении 5 тыс. человек из Крыма, хорошо известны общественности события в Чирчике, Симферополе, Москве — и таких примеров огромное множество. В «Информации по состоянию на 1 августа 1968 г.» сообщается, что в квартире героя крымского подполья Эмирсалиева,

которому власти отказали в прописке, живет человек, осужденный в свое время на 15 лет за измену родине. Татар не принимают на работу только за то, что они татары, в то время как, по свидетельству той же Касаевой, пустует более 10 тыс. домов и Крым задыхается от недостатка рабочих рук, а татары неоднократно заявляли о своей готовности жить и работать в любом уголке Крыма; постоянные массовые выселения сопровождаются издевательствами и избиениями — знание обо всем этом не могло не вызвать восхищения этим народом, сочувствия к нему, как не могло оставить меня безучастным.

Немного об информации № 77. Я не считаю себя ее автором, так как мое участие в ней ограничилось скромной стилистической правкой. Отказ от авторства не связан у меня со страхом нести ответственность за эту информацию. Все, что я сказал выше, должно убедить суд, что я рад хоть в малейшей степени разделить с татарским народом честь его мужественной и справедливой борьбы.

9

Несколько слов о Чехословакии, так как ряд документов — статья анонимного автора под названием «Логика танков», статья Комарова «Сентябрь 1969 г.», мои заметки «Еще и еще раз» и «Возле закрытых дверей» — прямо или косвенно откликаются¹ на события 21 августа 1968 года.

В том, что происходило в 1968 году до этой даты в Чехословакии, я видел светлую возможность доказать, что репрессии и несвобода, гибель Трайчо Костова, Ласло Райка или Сланского не вытекают из социальной системы Болгарии, Венгрии и Чехословакии, а связаны со злой волей бывших руководителей этих стран.

К акции пяти держав я относился и отношусь однозначно — как к интервенции и произволу сильных держав. Меня в то же время восхищало мужество и благоразумие, интеллигентность и высокое чувство достоинства, проявленные в эти и последующие дни

¹ Перечисленные документы инкриминировались Илье Габаю как клеветнические.

чехами и словаками. Считать такое отношение клеветой нет никаких оснований: это была точка зрения многих общественных деятелей мира, в том числе коммунистов, это была точка зрения руководства оккупированной страны и большинства ее народа.

Председатель Национального собрания Чехословакии говорил в те дни: «Государство и его суверенитет, свобода, развитие наших дел и безопасность, и существование каждого гражданина подверглось смертельной опасности... Мы должны были вести спор под тенью танков и самолетов, которые оккупировали нашу страну».

Я полагал и полагаю, что государственные деятели Чехословакии имели большее основание для квалификации своих внутренних дел, чем наши журналисты. Изменение в руководстве Чехословакии не может изменить моих взглядов, точно так же, как не влияют на мои убеждения перестановки в руководстве нашей страны. Поэтому я не собираюсь отказываться от своих заметок. Я разделяю также точку зрения и выводы Комарова в его статье «Сентябрь 1969 г.». Что касается статьи «Логика танков», то здесь я должен сделать несколько оговорок. Мне в какой-то степени чуждо сочетание резкого тона и анонимности, хотя я и допускаю, что у автора были серьезные основания не называть своей фамилии. Терминология автора, его стиль противоречат моим представлениям о корректности. Но если отбросить эти и другие частности, то автор по существу вопроса о Чехословакии занимает близкую мне позицию, и я не жалею, что несу ответственность за перепечатание его статьи.

10

Я должен, наконец, специально остановиться на своих заметках «Еще и еще раз»¹ и «Возле закрытых дверей»², которые с разных

¹ Единственный экземпляр этой статьи был взят в квартире Габая при обыске и находится в его «деле» в КГБ (прим. Галины Габай-Фикен, там же).

² Очерк, опубликованный под заглавием «У закрытых дверей открытого суда», рассказывает о том, что происходило 9 октября 1968 года перед зданием Пролетарского районного суда, где проходило заседание по делу К. Бабицкого, Л. Богораз, П. Литвинова и других участников известной демонстрации 25 августа 1968 года на Красной площади против вторжения советских войск в Чехословакию.

сторон затрагивают важный для меня вопрос о том, что такое общественное мнение. Обе заметки — отклики на арест, а потом и на осуждение группы демонстрантов. Эти люди, как написано в заметках, выступили против произвола сильной державы и убедили меня еще раз во мнении, что истина подтверждается не массовыми собраниями, что она не может быть выведена никаким организованным количественным подсчетом.

Я хочу, чтобы меня поняли правильно. Я не ставил своей целью противопоставить интеллигентов народу, культивировать глубоко чуждое мне высокомерие. Я просто писал о том, что действия семи людей, обладающих, с одной стороны, твердым знанием существа дела и, с другой, мужеством поступать в соответствии с этим знанием и убеждением, вытекающим из него, а не применительно к обстановке, выражают действительную позицию общественности.

Герцен в статье «Концы и начала» с горечью писал об интеллигентах, «независимых в своем кабинете и благоразумных на площади», и я мог гордиться своими согражданами, которые перешагнули через эту постыдную храбрость под сурдинку. Конечно, действия Бабицкого, Богораз и др. предполагают некоторую пустынность и обреченность, но это никогда не означало неправоту. За этим стоят убеждения многих людей, которые по тем или иным причинам не могли перешагнуть через «благоразумие на площади».

Когда в той же статье Герцен писал: «За эту чечевичную похлебку (имеется в виду известная степень комфорта и безопасности) мы уступаем долю человеческого достоинства, долю сострадания к ближнему», то эти слова, на мой взгляд, были скорее чем упреком проникнуты горечью бессилия. Я отлично понимал, что действия моих знакомых были близки к самозакланию, что гораздо более невинные поступки (например, письма в государственные организации) приводили их авторов к катастрофическим последствиям.

«Дорогой ценой приходится платить нашим согражданам за каждый шаг честной мысли», — писал я в одной из заметок, ссылаясь, в частности, на массовые увольнения людей за подписи. Приводимый с легкостью в действие известный механизм замены специалистов кантонистами прямо способствует фальсификации общественного

мнения. Репрессии принуждают к немоте, и тогда успешно срабатывает ставка на неосведомленность и готовность к скоропалительным, со шпаргалками выводам. А выводы эти частенько имеют далекие последствия. У меня долго хранилась газета 1936 года. Шел в это время процесс Смирнова, Эйсмонта и др., и рабочие ряда заводов требовали смертной казни этим, ныне полностью оправданным людям. Спекуляция на слове «рабочий», «народ» и т.д. развязывает в известных случаях темную стихию классового чванства. В более или менее безобидных случаях это выражается в том, что работница швейной фабрики в 1963 году учила поэтов писать стихи так, как это делает она (газета «Веч. Москва» предоставила ей трибуну). В менее безобидных — они выступают на процессе ленинградского поэта как глас народа и говорят буквально следующее: «Мы не читали стихов такого-то поэта, но требуем сурового наказания за их содержание». Откликаясь на лживую статью, пишут, в частности, в газету: «Мы прочитали вашу статью и возмущены тем, что таким-то преступникам вынесли слишком мягкий приговор». К дежурным речам и письмам, как правило, в таких случаях примешиваются действия из откровенных хулиганских побуждений. В частности, я сообщал, что избивание одного из участников демонстрации 25 августа сопровождалось антисемитскими выкриками, что письма к Литвинову включали в свое число и безграмотную мешанину грязных подзаборных ругательств с отборной черносотенной терминологией. Так как точка зрения этих людей совпадала с общепринятой, я имел право писать о патриотизме в лучших традициях дореволюционного черносотенства. Включение этих слов в обвинительное заключение без упоминания контекста выглядит прямой диффамацией.

Великий немецкий писатель Томас Манн писал: «Мы знаем, что обращаться к массе как к народу — это толкнуть ее на злое мракобесие». Истинность этих слов подтвердилась в дни судебного процесса Бабицкого и др., и этому посвящены заметки «Возле закрытых дверей», предвзято истолкованные в обвинительном заключении. Речь шла о бесчинствах людей, которые должны были своей массовостью разыграть общественное мнение. Эти бесчинства были организованы на наших глазах спецработниками, и это

Последнее слово Ильи Габая на процессе 19—20 января 1970 года...

не единственный пример не очень благородных и чистоплотных действий людей этой профессии,

Т. Манн писал далее в том же романе «Доктор Фаустус»: «Чего только не совершалось на наших глазах и не на наших глазах именем народа! Именем бога, именем человечества или права такое бы не свершилось». История нашей страны знает немало подтверждений этих выстраданных слов. Действия организованной толпы в те дни заставили меня вспомнить позабытое слово «чернь» и укрепило меня в мнении, что истинность убеждений не может проверяться их распространенностью, что убеждения масс часто бывают не только досадными заблуждениями, но и внушенными предубеждениями. В заметке приведены слова Чаадаева: «Здравый смысл народа вовсе не есть здравый смысл... не в людской толпе рождаются истины». Напомнив еще раз о своем разъяснении, какой смысл я вкладываю в этом случае в слово «народ», я хочу сказать следующее: эти слова относятся не только к документу «Возле закрытых дверей», а ко всему, о чем здесь говорилось и за что меня судят.

Сознание своей невинности и убежденность в своей правоте исключают для меня возможность просить о смягчении приговора. Я верю в конечное торжество справедливости и здравого смысла и уверен, что приговор рано или поздно будет отменен временем¹.

¹ 10 июля 1989 года на жалобу друзей Габая и адвоката С.В. Калистратовой был направлен ответ: «Сообщаю, что по Вашей жалобе в порядке надзора было изучено уголовное дело и внесен протест в президиум Верховного суда УзССР на предмет отмены обвинительного приговора Ташкентского городского суда республики от 16 марта 1970 года в отношении Габая Ильи Янкелевича, осужденного по ст. 190-1 УК РСФСР к лишению свободы на 3 года. Президиум постановлением от 30.06.89 г. удовлетворил протест и дело в отношении Габая И.Я. производством прекратил, ввиду отсутствия в его действиях состава преступления. Председатель Верховного суда Узбекской ССР Б.М. Маликов».

От составителя

В августе 1970 года Илья Габай был этапирован в Кемеровский лагерь общего режима (Кемерово 28, п/я 1612/40). Только теперь, через 15 месяцев после ареста, после суда, нового следствия, этапирования, он получает возможность написать родным и друзьям.

И тут нельзя сразу не отметить, что первое же письмо из лагеря жене — после двух-трех вступительных фраз («Вот я и дома — после долгого путешествия по этапам») — начинается с упоминания о книгах: «...Книги довел благополучно. Остается только сохранить их — это довольно трудно; во всяком случае, риск увидеть вырванные страницы висит над моей душой как первородный грех. Отсутствие любви к книге едва ли не врожденное качество; людей, которые рвут книги (скажем мягко — “на папилютки”), можно только пожалеть и пр. и пр. — но боюсь, что, если это случится, никакие евангелические правильности не спасут меня от удрученности. И все-таки очень хорошо, что я мужественно довел весь этот неподъемный книжный груз: на месте выяснилось, что существует ряд ограничений, крайне огорчительных для меня. В первую очередь, это ограничение не только количества, но и состава бандеролей. Нельзя, оказывается, посылать книг, письменных принадлежностей и т.д. — их можно только выписать без ограничения через посылторг <...> Впрочем, попробуй, постарайся, а то я захирую, опущусь, оторвусь от духовной жизни и стану разводить парниковые огурцы на продажу».

Это на самом деле можно считать особенностью публикуемой здесь переписки: с самыми разными друзьями Габай больше всего делится размышлениями о литературе, философии, пишет о книгах, статьях, которые прочел и которые хотел бы получить, просит всех рассказывать о своих впечатлениях, о спектаклях, выставках, которые они посмотрели и которые ему в лагере недоступны. Можно подумать, что основное его время здесь было занято серьезнейшим чтением — перед нами словно литературовед или критик высокого

уровня. А ведь надо иметь в виду, что в лагерных условиях на чтение можно было урывать от других занятий считанные часы, да еще после изматывающей физической работы. И читать (как и писать в день иной раз по несколько писем) по большей части можно было только при достаточном освещении, а солагерники зачастую не позволяли включать свет раньше или позже времени.

Конечно, в письмах нельзя было не оглядываться на лагерную цензуру, о многом приходилось умалчивать. По-настоящему рассказать о своей лагерной жизни Габай мог только во время свиданий жене. (И в письмах напоминал друзьям, что подробности они могут узнать от нее). Позволю себе сослаться здесь на свою дневниковую запись 6.12.70: «Поехал к Гале Габай, она вернулась из Кемерово, рассказывала о свидании с Ильей. Илья очень похудел и постарел, вид пожилого человека. Держится, как обычно, но не балагурит, не улыбается. Он работает на строительстве химзавода, дробит кувалдой какие-то цементные плиты. Не писал об этом, потому что не знал, о чем можно писать, боится, как бы не было нарушений. Норма практически невыполнима, и он ее не выполняет. В бригаде, где он был раньше, бригадир подбирал специалистов, и они хорошо зарабатывали, пользовались ларьком. А он не только ничего не зарабатывал, но даже задолжал государству. Теперь его перевели в другую бригаду. Кормят там плохо, конечно, три раза в день рыбная баланда, в обед с добавкой каши, перловой или овсяной. С собой ему не удалось унести ничего лишнего, хотя другие уносили; он долго не знал, как подступить к охраннику с этой просьбой, а когда подступил, тот отказал. Вообще Илья не позволяет себе связываться ни с вольными шоферами, которые иногда что-то провозят, ничего другого, что удаётся остальным. Народ там ужасный. Даже неплохие люди, попадая в такую обстановку, в эту голодуху, дичают; начинается воровство, отнимают друг у друга вещи. Его сразу же раздели. Сейчас он ходит в ватных брюках, в бушлатике, в валенках. Галя ему привезла телогрейку. Если он идет за посылкой, надо, чтобы с ним шел еще кто-то, иначе сразу отнимут. Говорит: “Я бы согласился на более строгий режим и на больший срок, лишь бы с другим народом”. Сейчас

у него появилась пара более-менее близких ему уголовников, они друг с другом держатся. Начальство разное, есть откровенные фашисты. Зам. начальника по режиму сравнительно приличный человек, это он разрешил ему лишний день без выхода на работу. Прошла амнистия, но 190-й она, конечно, не коснулась. Условно-досрочное освобождение для него также исключено, потому что для этого нужно раскаяние. Некоторых еще отпускают “на химию” до конца срока, без конвоя. Он об этом мечтает. Работают 8 часов, в воскресенье выходной».

А вот как сама Галина Габай рассказывала о своем свидании с мужем в интервью 1974 года на радио «Свобода»: «Первое свидание меня поразило. Оно было через три месяца после того, как я видела Илью в Лефортовской тюрьме. В Лефортовской тюрьме он еще не изменился, он был таким, каким я его привыкла видеть... Через три месяца он стал неузнаваем... Я зарылась ему в грудь и потому даже не сразу разглядела его. А потом... отстранилась и вдруг увидела, что обнимала чужого человека. Я его не узнала»¹.

Можно лишь удивляться, как при всем этом Габай находил в себе силы еще и работать здесь над стихами. В лагере, как уже было сказано, возникла его последняя поэма «Выбранные места». Заглавие отсылает читателя к знаменитому сочинению Гоголя — поэма в самом деле задумана как воображаемая переписка с реальными друзьями. Упоминание о ней можно встретить во многих публикуемых здесь письмах. Некоторые главы ему удалось переслать друзьям в письмах, записав стихи прозаической строкой — лагерная цензура, против ожиданий, их пропустила.

Среди адресатов Габая в книге наиболее полно представлены его соученики и друзья по Педагогическому институту (МГПИ им. Ленина): Л. Зиман, М. Харитонов, Ю. Ким, Е. Гилярова, Г. Эдельман и др. Илья вначале учился здесь на дефектологическом факультете, где познакомился со своей будущей женой Галиной, после первого курса он перешел на историко-филологический факультет.

¹ Цит. по книге: *Габай И.* Стихи. Публицистика. Письма. Воспоминания. Иерусалим, 1990. С. 239.

Последнее из известных нам писем Габая из лагеря адресовано в Тарусу известному правозащитнику А. Гинзбургу, поселившемуся там после окончания своего срока. В марте 1972 года переписка оборвалась: Габай был переведен в Москву, в Лефортово, на новое следствие.

Здесь воспроизведена, разумеется, лишь часть оказавшихся доступными нам писем, в том числе полученные от вдовы Ильи, Галины Габай-Фикен. В Москве собиранием их много лет занималась Галина Эдельман. Некоторые были получены в рукописях, некоторые были переданы нам в копиях. Первая небольшая подборка была опубликована в составленном ею, уже упомянутом здесь сборнике «Выбранные места» (М., 1994). В книге использованы также тексты, публиковавшиеся в сборниках «Стихи. Публицистика. Письма. Воспоминания» (Иерусалим, 1990. Составитель Г. Габай) и «...Горстка книг да дружества...» (Бостон, 2011. Составление и редакция Г. Габай-Фикен). В электронный формат значительную часть писем перевела Елена Гилярова.

Помимо обычных комментариев (имена, обстоятельства тогдашней жизни, личные отношения и т.п.), некоторые места в письмах потребовали особой расшифровки. Например, те, где окольно, иносказательно, чтобы обойти лагерную цензуру, упоминались романы Солженицына, Институт психиатрии им. Сербского и т.п.¹ Общеизвестные исторические события, имена, названия литературных произведений, имена персонажей и т.п., как правило, оставляются без комментариев.

Даты на своих письмах Илья Габай не всегда ставил, некоторые приходилось определять по штемпелю на конвертах или вообще приблизительно; в отдельных случаях получатели определяли их по ответам на свои письма.

Сокращения в текстах писем обозначены везде знаком <...>

¹ См. прим. 5 на с. 56.

Письма из лагеря

Благодарим издательство за готовность поместить в книге подборку фотографий. Хотелось представить на них не только самого И. Габая, но и некоторых его корреспондентов. Качество снимков любительское, авторы в большинстве случаев неизвестны, даты можно указать только предположительно.

Письма из лагеря

Галине Габай

18.8.1970

Добрый день!

Вот я и дома — после долгого путешествия по этапам. Не могу похвастаться изобилием путевых впечатлений, да и те немногие впечатления, которые осели в памяти, — несколько специфичны, для дам, а значит, и для тебя, моя дражайшая супруга Галя, не то что неинтересны, но инородны. Скажу только, что на этапах я постоянно терял обретенных приятелей-попутчиков и, тем не менее, книги довел благополучно. Остается только сохранить их — это довольно трудно; во всяком случае, риск увидеть вырванные страницы висит над моей душой как первородный грех. Отсутствие любви к книге едва ли не врожденное качество; людей, которые рвут книги (скажем мягко — «на папильотки»), можно только пожалеть и пр. и пр. — но боюсь, что, если это случится, никакие евангелические правильности не спасут меня от удрученности. И все-таки очень хорошо, что я мужественно довел весь этот неподъемный книжный груз: на месте выяснилось, что существует ряд ограничений, крайне огорчительных для меня. В первую очередь, это ограничение не только количества, но и состава бандеролей. Нельзя, оказывается, посылать книг, письменных принадлежностей и т.д. — их можно только выписать без ограничения через посылторг <...> Впрочем, попробуй постарайся, а то я захирею, опущусь, оторвусь от духовной жизни и стану разводить парниковые огурцы на продажу.

Что тебе сказать о впечатлении от лагеря? Пока трудно что-нибудь путное сказать. Труд обычный; я всегда мечтал о физическом труде, и он есть у меня. Говоря серьезно, думаю, что втянусь,

привыкну, скажется, может быть, школа Георгия Борисовича¹, и тогда я с гордостью смогу сказать о себе: да, ты сделал все по заветам своего любимого стихотворения: «только тех, кто любит труд, октябрятами зовут». Надо еще оглядеться, осмотреться, освоиться. Попадают и очень хорошие ребята: начитанные, пишущие (как пишущие, говорить не стану — меня в суждениях тянет на вкусовые отталкивания, в основе которых — между нами и — увы! — конечно же, нескромность).

Очень удручает меня повальное отсутствие бескорыстия, попрашайничество просто из жадности и из тщеславия «сделать дело». Слава богу, у меня мало что есть; книг, наверно, не попросят. Да и не жаль совсем барахла — скверно видеть людей, которые кланчат *просто так*, без нужды.

Сейчас у нас карантин. Как долго он продлится — бог весть, но в это время ты не сможешь мне прислать бандероль (килограмм табаку) и, к глубокому моему огорчению, — приехать на свидание (с ним, говорят, и без этого очень острые проблемы). Как только можно будет, опишу.

Чтобы покончить с делами, скажу сразу о том, что меня волнует. Насколько я выяснил, подписка здесь по полугодиям и на год. Стало быть, где-то в ноябре я смогу подписаться на январь и дальше.

И здесь возникают некоторые материальные разговоры. Деньги, которые я получу из тюрьмы, придут нескоро, а когда придут, их рационально использовать на ларек. Не исключено, что я более или менее длительное время не смогу на него заработать. Если я потрачу деньги на подписку в счет заработка, то, скорей всего, не смогу вообще рассчитаться. Поэтому самое лучшее, если бы ты смогла мне прислать к концу октября определенную сумму на подписку и включить туда еще дополнительные рублей 12 на сапоги. Это сняло бы все проклятые вопросы. Незачем и предупреждать тебя, что речь

¹Георгий Борисович Федоров (1917—1993) — археолог, писатель, доктор исторических наук. Руководил археологическими раскопками в Молдавии и Приднестровье, где И. Габай работал землекопом летом 1967 и 1968 годов.

о присылке денег может идти только в том случае, если это никак не скажется на вашем с Алешкой¹ житье-бытье <...>

Теперь о книгах. Я прочел все в журналах, которые были со мной. Очень понравились мне Мориак, Айтматов, [нрзб], статьи в «Новом мире» и «Воплях»². Я сначала жадно схватился за славянофильскую дискуссию, но потом она осточертела. Все цитировали и цитировали, а — умри, Денис! — лучше, чем в «Не наших» у Герцена, не скажешь. Вообще «Былое и думы» — умнейшая книга; мне очень жаль, что я ее со школьных времен перечел только сейчас. Зато перечел с упоением.

Со славянофилами вообще, кажется, трудно не впасть в одну из крайностей: или политграмоту, или в апологию всего русского. Уже есть примеры, как увлечение церквами почти исторгло из людской памяти существование, например, готики. Нечто подобное может случиться и сейчас. Станет пахнуть одной Русью, а такие запахи всегда не без последствий...

Но это между прочим.

А главное — я жду и жажду писем от всех <...> Скажи всем, чтобы писали мне побыстрее: иначе обязательно начну разводить парниковые огурцы. И пусть вкладывают в письма пустой конверт — иначе отвечать будет нечем <...>

Сердечный привет всем.

Целую Илья.

Алешке — особо.

Алеше Габаю

18.8.70

Приветик, сынок!

Сейчас я могу писать письма и получать их. Поэтому садись-ка, братец, за стол и пиши мне все о себе.

¹ Алеша — сын Илья Габая, в то время восьмилетний школьник.

² Журнал «Вопросы литературы».

Скоро новый учебный год — я тебя с ним поздравляю. Очень был бы рад, если бы ты хорошо учился бы во втором классе. Много знать — это совсем неплохо. И хорошо бы резвился. Пиши мне обо всем, что у тебя происходит, какие ты прочел книги, с кем поссорился и с кем собираешься поссориться. Ну а я тебе буду отвечать. И еще. Неплохо бы тебе научиться защищать себя. Ты молодец, что не любишь обижать ребят. Обижать — это гадко. Но и себя постарайся не давать в обиду <...>

Крепко целую тебя, Алешка.

Папа

Семье Зиман¹

18.8.1970

Дорогие бабушка и родители Анечки!

Сколько же можно не подавать о себе вестей? Я жду месяц, два, пять, десять, а вы не можете ни позвонить, ни приехать. Я еще понимаю Леню: у него все-таки министерские заботы, коллегия, план горит. Но вы-то, милые женщины, как вы-то можете так быстро и легкомысленно позабыть обо всем. Единственная моя надежда — Анька. Уж она, надеюсь, не подведет; уж она, уверен, все напишет.

Чем я занимался все эти месяцы? Тем же, чем любимые герои Лени из кинофильма «Ехали мы, ехали». Ехал и ехал, в перерыве читал (много, но не то, чего хотелось бы). И почему-то каждый раз вспоминал, как Леня после «8,5»² три раза с упоением смотрел «Ехали мы, ехали».

¹ Леонид Зиман — педагог, литературовед, переводчик, сокурсник Габая по Педагогическому институту. Одно время он работал в методическом кабинете при Министерстве нефтяной промышленности. У него, в коммуналке на Пушкинской улице, Илья, не имея собственной квартиры, жил несколько лет. Белла Исааковна Шлифштейн (1904—1986) — мать Л. Зимана, Алла — жена, Аня — его годовалая тогда дочка.

² Имеется в виду «8½» — кинофильм итальянского режиссера Федерико Феллини.

Я часто благодарно вспоминал вас всех и надеюсь, что вы не оставите меня своей дружбой. Но принципиально не буду вас ничего просить — все просьбы адресую только Аньке. Единственная моя просьба: будьте здоровыми, веселыми и молитесь за меня. Жду от вас письма и надеюсь, что небо ниспошлет мне легкое настроение ответить на него достойно. Обязательно отложите производственное совещание в министерстве, все заботы и хлопоты по дому и семье и напишите искренне любящему вас всех

Илье <...>

Дорогая Аннушка!

У меня к тебе есть большие просьбы:

1. Напиши мне сразу же большое письмо.
2. Если у тебя еще есть возможности и ты будешь покупать книги (например, Аннуя, Дюрренматта, первую серию «Всемирной литературы»), думай каждый раз: не забыла ли я адрес: Новолесная¹ и пр.
3. Оставь на этот же адрес открытки в магазинах Академии, на издания издательства «Искусство» (особенно на зарубежных драматургов).
4. Если ты встретишь своего товарища по 170-й школе В.Л., — отбери у него открытку на «Иудейскую войну» Флавия.
5. Главная просьба: пожалей бедного Берлиоза и не проливай подсолнечного масла.

Сделай все это, Аннушка, и я тебя полюблю еще сильнее, не смотря на твое претенциозное отчество.

Жду твоего письма и целую тебя. Илья.

В письмо обязательно вложи чистый конверт.

¹ На улице Новолесной в Москве жил И. Габай.

Галине Габай

28.8.1970

<...> Пишу тебе второе письмо. Я уже восьмой день в зоне, не много огляделся — но ни тяжелее, ни легче не стало. Оказалось, что за время тюремных бдений я совершенно отвык от кино (там казалось, что я жадно кинусь на любое зрелище). Библиотека здесь бедная, на мой вкус — никакая. Книг, привезенных мною, должно хватить надолго (читаю я от силы часа два: спасает несправная жизнь).

<...> В предыдущем письме я наврал, что напишу по всем адресам, которые имею. У меня не хватило ни сил, ни фантазии: как-то трудно начать. Передай, бога ради, всем, что я буду аккуратнейшим образом отвечать — пусть мне поскорее пишут. Без писем как-то грустновато, и, кажется, они в общем-то могут подвигнуть меня на какую-то работу. В черновики свои (тюремные) я еще так и не залез. А там, возможно, есть неплохие начала стихов. Боюсь, еще долго не сумею залезть — пока и читаю не без некоторого волевого усилия. Но читаю все-таки регулярно: это прямо-таки род приятной епитимьи. <...>

*Марку Харитонову*¹

2.9.70

Здравствуй, дорогой мой Марик!

¹ Марк Харитонов — друг Габая со времен МГПИ, писатель, эссеист, переводчик, в то время, не имея постоянного места службы, зарабатывал на жизнь переводами с немецкого и германистикой. (Был членом так называемого «группкома» — см. прим. 1 на стр. 105). Совместно с Габаем начинал сочинять роман; главы, написанные Габаем («Повесть временных лет»), опубликованы в сборнике «Выбранные места» (М.: Весть — Вимо, 1994). Воспоминания М. Харитонova о Габае «Участь» опубликованы в книге «Способ существования» (М.: Новое литературное обозрение, 1998) и в других изданиях.

И Галя¹, которая мне так и не написала.

Поезд шел в красноярском направлении (поезд, который вез меня сюда), и я почти до конца надеялся вновь попасть в те места, где я провел благословенные месяцы. (Я сейчас удивляюсь, что можно было в то красноярское лето не всегда чувствовать себя счастливым.)

Посмотреть «Иностранную литературу» мне, к сожалению, не удастся, поэтому твою оценку Гессе я могу воспринимать только на веру². Но ты мне все равно пиши об этом со всеми подробностями — все это меня как раз и интересует в первую очередь. Я, кажется, объяснил тебе свою любовь к Томасу Манну: по-моему, среди всех парадоксальных изысков литературы нового времени он в конце концов на новом качестве утвердил и классические истины, и классическую неторопливость, обстоятельность разговора о них. «Доктора Фаустуса» в Ташкенте мне удалось перечитать дважды. Я, конечно, так и не уразумел для себя систему Шенберга, но книга целиком забрала меня. Прекрасно, когда на места становятся в конце концов такие понятия, как человечность — это при всех условиях человечность, а «Молот ведьм» — это при всех условиях «молот ведьм». А то меня недавно от интереса к Средневековью вело к апологии его. Такое уж действие витающей над головой модной идеи.

Я осознал для себя и успех «Мастера и Маргариты», имея в виду мифологические места: они просто-напросто, опять же, на новом качестве, возвратили нас к трезвому взгляду на вещи глазами человека XIX века — к взгляду на Христа глазами Ренана или Флобера. Перечитай, если будет время, «Иродиаду» Флобера: Понтий у Булгакова, по-моему, слепок с флоберовского Ирода.

¹ Галина Эдельман, художница, педагог, училась на математическом факультете МГПИ, жена Марка Харитоновна. В 1964 году И. Габай провел с обоими часть лета в Красноярске. Г. Эдельман — составительница двух посмертных сборников Габая, «Посох» («Прометей», 1990) и «Выбранные места» (М.: Весть — Вимо, 1994).

² Статья М. Харитоновна «Привычные святыни покидая. О творчестве Г. Гессе» была опубликована в журнале «Иностранная литература» (1974. № 12).

Борхерта, выходявшего лет 8—9 назад маленькой книжкой, я читал. Я помню, что он мне очень был по сердцу. Но в памяти остался только рассказ «По длинной-длинной улице».

Марик, что говорить, я был бы счастлив тебя видеть. Но выяснить, кого пускают, кого не пускают, мне пока не удастся. Пиши мне почаще, дорогой мой, и пообстоятельнее. Ибо письма твои — бальзам.

Словом, будьте счастливы все и вспоминайте время от времени меня, многогрешного и любящего вас всех.

Илья.

Герцену Копылову¹

Ответ на письмо от 4.9.70²

Дорогой Гера!

Вот видишь, как плохо сомневаться, доктор. Твой технический (технократический) скепсис оказался беспочвенным: письмо дошло благополучно и быстро, и я буду очень рад, если ты продолжишь эту успешно начатую традицию.

Ты меня засыпал заманчивыми названиями и именами авторов, но боюсь, что в ближайшее время мне их никак не удастся прочесть. Остается только облизываться и сожалеть о невозможности сказать что-нибудь умное и афористичное для потомков («Эти штуки сильнее “Фауста” Гете», «Евтушенко был и остается...», «Но все-таки местами произведение омрачено глубокими наслоениями фрейдовского комплекса» и пр.).

Послать ты мне ничего не можешь: это строго регламентировано, и Галя³ тебе не уступит чести. Ничего, кроме писем,

¹ Герцен Копылов (1925—1976) — доктор физико-математических наук, поэт, публицист, известный в самиздате как Семен Телегин. Один из авторов сборника «Физики продолжают шутить». Работал в Дубне.

² Письмо самого И. Габая не датировано.

³ Галя — здесь и далее жена Габая.

которые — всерьез — будут для меня большой радостью: я научился их ценить. Сообщай побольше о себе. Если твоим успехам в физике я могу радоваться лишь заочно, то к хорошим стихам, которые ты, надеюсь, пишешь, я при всей профессиональной зависти могу отнестись с некоторым пониманием дела. Шли, что есть и что можешь.

Жизнь здесь течет потихоньку, несколько медленнее, чем в тюрьме. Из этого я делаю вывод, что скорость времени обратно пропорциональна охватываемому глазом пространству и прямо — количеству читаемых книг. Нельзя ли приспособить это наблюдение в какой-нибудь ваш реферативный журнал?

Читается мне здесь действительно немного, иногда с усилием, но я надеюсь войти в физический ритм, обрести второе дыхание и пр. Вот годы у меня, правда, уже большие. Но все это ничего. Вот меня насторожили последние строки твоего письма: «Не унывай, брат, (цитирую), держи хвост коромыслом, не бери с нас, грешных, пример». И Галя мне писала, что ты утомлен и грустен. Мне отсюда мало что понятно, бодрых слов у меня не получится, но я верю, что физики не разучились шутить. Надеюсь, что у тебя все не очень плохо? Во всяком случае, очень искренне желаю тебе этого. Не забывай моего дома: там тебе все рады. И не забывай меня — пиши иногда.

С тем я тебя обнимаю дружески.

Илья.

Кланяйся от меня всем, кто будет в поле твоей видимости. Сынишке твоему — приветик. Илья.

Марку Харитонову

15.9.70

Дорогой мой Марик!

Ты положительно даешь мне уроки сердечности и обязательности в переписке. И уроков я этих не забуду. Хотел бы поклясться

на чем-нибудь в том, что буду писать всегда, но решил не клясться всуе. Вот только жаль, что не могу всерьез поддержать твой разговор: я читал только «Новый мир» и «Вопросы литературы» за 1969 год, а все, что печаталось в 1970-м, безнадежно выпало из моего интеллектуального багажа. Журналы эти я держу в недосягаемом для меня месте — на складе, так как они прочитаны и все держать в спальне нельзя. То, что запомнилось: из прозы — «Белый пароход», Мориак, письма Цветаевой (я их раньше читал), из статей — Гулыга о мифотворчестве, рецензия на книгу Каждана о Византии, статья о Хайдеггере, статья Апта о языке «Иосифа...», Ахматова о Пушкине (последнее не очень интересно, по-моему; по крайней мере, в сравнении с «Моим Пушкиным»), дискуссия о славянофилах (неинтересная сразу же после Янова) и пр.

О Фалладе¹ ты пишешь очень грустные вещи. Я знаю об этом немного, кажется, из воспоминаний Федина. Я немножко попытался отрешиться от исторической дистанции (в свете которой Фаллада, конечно же, трагичен). Вот я и представил себе эту «трагедию» в свете кремационных печей или хотя бы судеб его собратьев — от «трагедии» остаются, естественно, самые обычные атрибуты на такой случай: запой, невозможность свободного творчества. Впрочем, я мало знаю Фалладу: «Маленького человека...», к которому равнодушен, и «Каждый умирает в одиночку» — любимую, но не перечитанную книгу моего детства. А «Волка среди волков», боюсь, я путаю с Апицем.

Очень хочется почитать Лема. Я не могу судить из такого далека, но никогда не ставил знак равенства между тенденцией (духовной) XX века и фашизмом. Леверкюна² ведь погубило отсутствие Девятой симфонии (в Германии 40-х годов, я полагаю, как раз процветала опошленная вариация Героической, так должно было быть, по

¹ Имеется в виду история романа Ганса Фаллады «Железный Густав», о котором в то время писал М. Харитонов. В 1938 году писатель под давлением нацистских властей переименовал концовку романа: привел любимого героя в нацистскую партию. После этого он надолго запыл, попал в психиатрическую лечебницу. Полноценное возвращение писателя в литературу ознаменовал его роман «Каждый умирает в одиночку» (1947).

² Леверкюн, Цейтблом — персонажи романа Т. Манна «Доктор Фаустус».

некоторым моим соображениям). Собственно, об этом ведь постоянно и говорит Цейтблом — молчок, пристанище, та порода людей, от которой я по суетливости своего характера отстал, но надеюсь прибиться. Это ведь теперь мой любимый положительный герой.

Когда я писал о XX веке (о его литературе), я имел в виду не тематику, а спекуляцию на парадоксе, эксплуатацию (воспользуюсь модным термином) мифа, отход в лучших своих проявлениях к исчерпанной линии Вольтера, Свифта и других. Этим отмечены не только Орвелл, Замятин, а и лучшие из лучших современников — Фриш, Дюрренматт, даже Камю, которого я как раз сейчас перечитываю.

Я не люблю Набокова: «Лолита» и «Защита Лужина», которых я знаю, и рассказы, с моей точки зрения, — претенциозная лит. провинция (очень мне запомнился его выпад в предисловии к «Лолите» против Т. Манна) <...>

Вообще, все точки над «и» расставлены, милый. Нам бы с тобой сохраниться и дружбу поберечь. Целую тебя, Галку, твоих чад <...>

Илья.

*Елене Семеке*¹

18.9.70

Дорогая Леночка!

<...> Когда ты пишешь о замирании «культурной» жизни, ты не совсем права: надо быть все-таки в некотором отдалении, чтобы понять, что в Москве и старых веяний и впечатлений хватит на всю жизнь. Мне сейчас кажется, что я находил бы массу времени, чтобы побегать к французам в Пушкинский, или к Врубелю, Нестерову, недавно (но при мне) появившимся бубно-валетцам. Но потом-то я понимаю, что это самые что ни на есть разманиловские мечты:

¹ Елена Семека — востоковед-буддолог, в то время научный сотрудник Института стран Азии и Африки.

обязательно что-нибудь помешает. Не сокрушайся и по поводу тех, кто зачитывается Шевцовым, не стоят они сокрушения. По мне, тут куда горше низкопоклонство все читавших и все понимающих людей. Мне вот пишут о том, как один из моих товарищей (близких когда-то) ругает любимого им писателя. Судя по цитатам, он писал и смеялся. И грустно очень, что у нас часто смещается терминология: нам бы сказать просто — холопство, подлость, а мы скажем, что у них обстоятельства, «среда заела». Словом, настоящая интеллигенция не компрометирует себя обычной порядочностью (профессиональной), считает нормой сосуществование двух образов мыслей: для своих и для всеобщего обозрения — и это, по-моему, чрезвычайно скажется в конце концов на общем потоке нашего научного, литературного и пр. багажа. Не может же быть, мне кажется, «теплая» (не холодная и не горячая) литература, наука.

У нас с тобой совпало отношение к чтиву. Я тоже сейчас с большей охотой читаю книги по истории, эстетике, философии, а не художественные. Но здесь, наверно, есть что-то ненормальное, во всяком случае, пугающее меня. Я уже жаловался одному из своих корреспондентов — пожалуюсь и тебе. Кажется, чтение книг умных и отвлеченных (если — и только) отучает от сокровенных реакций: удивления, даже, если угодно, восторга, умиления. Я себя поймал на том, что соскучился по этим не очень-то глубоким качествам, когда перечитывал в Лефортово Диккенса. Но все равно, в состоянии не очень усталом мне даже в «толстом» журнале приятнее читать статью, нежели беллетристику. В тюрьме в этом смысле благодать, но там не всегда есть хорошие книги. Вот в том же Лефортово я почитал книги, за которыми давно охотился: Винкельмана, Дворника о средневековом искусстве, Муратова «Образы Италии» — многое. А в отношении беллетристики у меня как-то «все возвращается на круги своя»: я снова, после долгих крушений и сомнений, возлюбил XIX век, и в нашем искусстве — его традиции (особенно Т. Манна), а не XVIII, XVII, и их продолжателей наших дней — с опорой на эффективную, но не всегда глубокую и, главное, не всегда человеческую притчу. Законченное на днях перечитывание Камю (самое интересное, по-моему, в этом роде — а не Ионеско или Фриш) как-то еще больше

скорректировало все это. Впрочем, я умничаю без особых на то моральных оснований: знаю я все ведь только в переводах <...>

Целую тебя. Илья.

Герцену Копылову

Ответ на письмо от 20.9.70

Дорогой Гера!

Ты шутливо описываешь свою болезнь, а дело, наверно, не очень-то шуточное? Как ты сейчас? Полагаюсь на твою бодрость, тягу к работе — и надеюсь, что это письмо ты прочтешь, находясь в полном здравии.

Воннегута я, конечно, вновь не читал и не скоро прочту. В Москве я с симпатией относился к антиутопиям; как я восприму их сейчас, глотнув с избытком здорового реализма, — бог весть.

Что касается твоей теории, то тут ты мне поставил, признаюсь, сложную задачку. То ли это ваша ученая склонность к мистификации, и я окажусь в смешном положении, когда подыму ввысь палец и начну серьезно рассуждать, то ли это вполне серьезно, и я совершу бестактность, впав в этакий легкомысленный тон затейника. Полагаю, что это все-таки серьезно. И, право, я плохо понимаю социологию, хоть и с интересом читаю статьи по этой отрасли: здесь все-таки много от точных наук, перед которыми я — пас. Сходная проблема, по-моему, в одном из рассказов Бредбери (в фантастическом варианте, конечно). Ты, должно быть, помнишь: человек отправился в прошлое, наступил, кажись, на какую-то травинку — и начались наши вселенские горести: фашизм и пр. Я думаю, что задача невыполнимая, потому что предусмотреть все условия просто невозможно и потому еще, что никакого корректива этой свободы, кроме закона-запрета (ненадежного корректива, как показала история) не существует. А потом (тут я вхожу в гуманитарные соображения), буде достигнута возможность такого прогноза, — не принесет ли оно несчастья:

начиная от неинтереса жить — кончая политическими играми, жестокой недобросовестностью и пр. Здесь, в другом ключе, но таится, по-моему, возможность таких же моральных проблем, как тайна (?) атома, операция на сердце. Изобретатели волшебств не то, что добрые или злые — просто никакие, нейтральные, — а уж пользуются волшебной палочкой обязательно злые волшебники.

Про «парадокс Эдипа» я ничего не слышал, про таковой комплекс слышал, но, судя по твоему объяснению, это почти одно и то же — с одной отправной точкой.

Меня угнетает невозможность писать. Я писал уже тебе, кажется, что вывез из Ташкента рифмованные записки, над которыми надо еще поработать. Боюсь, что они морально стареют. В том смысле, что мне уж придется над ними р а б о т а т ь, а не изливать, т.к. кое от чего я отошел в сторону.

Из полухудожественной литературы читаю сейчас Плутарха. Камера-одиночка все-таки в этом смысле место более удобное, чем большое общежитие (более удобное — для серьезного чтения).

Жду от тебя писем, на которые обещаюсь отвечать мгновенно — в день-два.

Твой Илья.

Марку Харитонову

29.9.70

Дорогой Марик!

Это письмо пишется вовремя, но так как нынче пятница, уйдет оно только в понедельник. Стало быть, я прошу помнить, что задержка произойдет не по вине Вашего кемеровского корреспондента.

Переслать твои статьи тебе никак не удастся, как и твой новый роман, о котором ты пишешь глухо и загадочно. Я, конечно, наверстаю все по приезду, но тебе тогда уже, поди, неинтересна будет реакция на давние вещи. Долгонько мы с тобой не увидимся, и, правду сказать, я не всегда стойко (внутренне) переносу мысль

о своем отлучении. Но стараюсь настраивать себя на маленькие радости, а письма — это уже радость большая. Ничего-то я не читал и уж не прочту из того, о чем ты пишешь. Приходится верить тебе на слово и грустить по поводу новомирских пертурбаций. «Новый мир» — это и «Новые вехи»? Я ведь этот журнал в обновленном виде совсем не знаю.

Западногерманская литература должна быть очень интересна. Я сейчас, кроме названных тобой Белля и Грасса, вспоминаю несколько переведенных имен — Шаллюка, Рихтера, Вейса (или он швейцарец?), Энценбергера «Не убий» я читал в Ташкенте с год назад; воспринимается он сейчас как давно известное и пережеванное, как вариант «Мертвые остаются молодыми» (облагороженный вариант). Впрочем, так же я воспринял и Ремарка, которого перечел. Не думаю, что мы были очень уж ограничены, когда восхищались им, — надо пройти через отрочество (читательское), — но сейчас это, по-моему, явная второсортность. Если Вейс все-таки западный немец, то по мне — это кто угодно, но не писатель. «Макинтош» или как его там меня в свое время просто удручил <...>

Ну, а здесь ваш корреспондент, обнимая вас всех, прекращает дозволенные речи. Живите, дай вам бог успехов в ваших делах и не очень острых материальных бедствий.

Илья.

Нине Валентиновне и Алине Ким¹

Сентябрь 1970

Нина Валентиновна!

Алина Черсановна!

Ради бога, милостивые и любимые государыни мои, что означает в ваших устах (сахарных, разумеется) загадочное слово «дельфин».

¹ Алина Ким (1933—2008) — врач-фтизиатр, сестра Юлия Кима. Нина Валентиновна Всевьятская — их мать, педагог, отбыла ссылку как ЧСИР. Марат Ким — сын Алины, тогда школьник.

Неужели, Алина, ты перешла от нелегкой работы с легкими человеком к опытам над этими безобидными и парнокопытными (кажется) друзьями людей? Ничего не понимаю, просто декадентство какое-то — неожиданное в вас, мои милые и сердечные люди! Уж не оставьте меня в неведении, все расскажите.

Рад, что ваши эмпиреи все-таки благополучны и в основном светлы. И очень счастливо, что вы мне прислали письма одно вслед за другим: это дает мне возможность сэкономить конвертик. Конвертик-с, знаете ли, пустячок-с. А так вот, глядишь, и накопил состояние. И в Ротшильды-с вышел. Обнакновенное-с дело.

Алинка, видит бог, как мне не хватает работы в твоём клубе нудистов. В качестве референта, на худой конец — в качестве внуха. Ну, на нет и суда нет, и не надо. А говоря всерьез, я рад, что вы там загораете и по возможности резвитесь. Вот только года идут. Маратик — и пятый класс! Это так же уму непостижимо, как и превращение вашего переулка в Б. Марьинскую. Я ведь знал его вот таким — . А сейчас, поди, фу-ты, ну-ты, не подступись, в десять лет учителей научит. Напишите мне — напишу и я ему. Принцип-с, знаете ли (пустячок, конечно. Но принцип к принципу, глядишь — и мировоззренице-с. Обнакновенное дело). Честность требует, чтобы вы ему сказали, чтоб он не питал иллюзий на мой счет. Разъясните, пожалуйста, ему, что я и к обедне не ходил, и от исповеди, бывало, уклонялся, что вообще многогрешный. И пусть он вылепит меня верхом на четырехгорбом верблюде в пустыне. И обнимите его, если к нему только подступись, и пусть он мне напишет.

Сейчас пришел почтальон и огорчил меня: нет мне эпистол, хоть плачь. Вчера были, и позавчера были, — а сегодня хоть плачь. Кстати, Петя, Валя и Ира мне не написали (я всем на это жалуюсь). Наверно, они таким образом предоставляют мне возможность для развития воображения. Воображай что хочешь — и все.

Алинька! Фотографий у меня нет и не будет. То есть, может, они и есть на моем личном деле, но это для вас, надо думать, малоутешительно. Хочешь словесный портрет по системе Ломброзо? Лысый обнаженный череп, выдвинутая вперед челюсть, насупленный взгляд из-под густых свирепых бровей — и прочая. А вы мне пришлите

фотографии (нет ли хоть одной из нудистского периода Алинькиной жизни?). И в том числе — фотографию Маратика, этого, по чисто-сердечному признанию его бабушки, дамского угодника (помните нашу с Вами юность, Нина Валентиновна? Ведь мы ни о чем таком не думали — только о своевременной уплате членских взносов в Осоавиахим!).

Приятно мне было услышать об Алешке-верхолазе, в «кошках» и с песней «Если парень в горах не ах» в зубах. Только, я думаю, это Вы все, Нина Валентиновна, придумали мне в утешение. И в на-зидание тоже.

Я написал много писем, а получил мало. То есть немного больше, чем написал, но все же маловато. Не поступайте же дурно, любимые мои женщины, пишите мне. Целую вас и вашего внука и сына. Пусть Дантоныч вылепит меня верхом на зебре в косую клетку. Простите меня за разухабистый тон: это потому, что мне грустно из-за отсутствия писем. Сердечно приветствую Галину Сергеевну и всех, кто меня помнит.

Ваш Илья.

*Елене Гиляровой*¹

Октябрь 1970

Дорогая Леночка!

Я мало верю в недомогание Валеры: поди, просто лодырничает. А ведь мог бы и написать пару строк: труд небольшой, а я бы здесь порадовался.

Отворчавшись всласть, я очень и очень благодарю тебя, дружок почти детства, и за письмо, и за память обо мне. Я ведь добивался твоего с Валерием адреса, Марк может подтвердить.

¹ Елена Гилярова — поэт, прозаик, педагог, друг Ильи с институтских времен. Валерьян Эдельман — ее муж, физик, тогда кандидат, в дальнейшем доктор физико-математических наук.

Слушай, или тебе так везет на житье в местах с патриархальными названиями? Коньково-Деревлево — это ведь звучит как Старая пустынь, Новый Афон и Старый Иерусалим. Но все-таки поначалу все равно будет ближе к людям и цивилизации, верно? А к моему приезду район ваш, должно быть, станет комфортабельным и транспортным, и я, как только пошью себе визитку, так и заеду к тебе и мужу твоему. Я даже всякие там маниловские прожекты конструирую. Главным образом, как мы с тобой славно поговорим. Ведь к моему приезду срок нашего с тобой знакомства будет исчисляться — ни много ни мало — 15 годами. Как подумаешь про воду, которая все течет. Это твоя-то 14-летняя Ирка¹ — солидная дама. Она мне приснилась нынче со всеми воображаемыми атрибутами солидности: шляпа со страусовыми перьями и в кольцах узкая рука.

Книга о переводах, которую ты описываешь, и в пересказе очень интересна! Жаль, что мне ее по существующим законам никак не получить сейчас. Ты не помнишь, кто сравнивает переводы 66-го сонета Пастернака и Маршака? Не Толя ли Якобсон²? У него, говорят, прекрасная статья по этому поводу. Вообще, если ты с ним не знакома или мало знакома, — настоятельно советую наверстать упущенное. Это человек прекрасный, умный, да и практически он тебе поможет: и советом, и книгами по технике перевода. Позвони Пете, Юре Дикову или Тане, и вы встретитесь с Толей. А я здесь порадуюсь, что заочно познакомил двух хороших людей.

У тебя в письме есть фраза, из которой я никак не мог понять, кем ты собираешься заняться: Шекспиром, Отелло или Катковым? Если последним, то и по поверхностному моему знанию, — вряд ли это интересно. Ты же помнишь, что и Каверину никак не удалось взять под защиту О. Сенковского. А в случае с Катковым — еще более вопиющий случай, кажется, откровенного и разнузданного сервизма. Я Герцену и Щедрина в этих случаях доверяю: они оба

¹ Ирина Гилярова — младшая сестра Елены, переводчица.

² Анатолий Якобсон (1935—1978) — переводчик, литературовед, активист правозащитного движения. Упомянутые ниже Петр Якир, Юрий Диков, Татьяна Баева — общие друзья. Подробные комментарии о них см. дальше.

не любили просто ругаться; Герцен вообще тонок и умен, я жалею, что раньше недостаточно понимал и ценил его.

Пушкинская эпоха, которой ты собираешься заниматься, — это то, что мне бы сейчас очень подошло. Эта эпоха, по-моему, самая не фанатичная (даже в радикальных случаях), лишена неистовства и ненавистничества. Но я опять же сужу поверхностно, по тем случайным материалам, которые отложились в голове.

Ты, наверно, знаешь, что я привез с собой кучу книг — особенно по философии. Вот потихоньку я их и усваиваю. Постиг уже в отрывках, что такое брахман-атман, восьмеричный путь спасения и даосизм и кто такой пурушу. Не могу сказать, чтобы при имеющихся у меня условиях чтение шло легко и продуктивно, но меня увлекает и сам процесс неглупого чтения, ну и сознание участия в этом процессе — тоже.

Чтобы не забыть. Читала ли ты в 1-м номере «Вопросов литературы» статью Апта о его работе над переводом «Иосифа»? Это, собственно, последнее из того, что я могу тебе порекомендовать: больше я ничего не читал и уповаю теперь только на 71-й год, на который я подписал множество журналов.

Писем я получил немало. Но и немного, если принять во внимание их ценность в теперешних условиях. Тут, кроме всего прочего, срывает и моя мнительность. Начинаешь думать примерно так: не пишет такой-то — стало быть, отпал; ну и начинаешь копать в воспоминаниях — не по моей ли вине. Это я к тому, что ты хоть пиши мне по возможности чаще. Мне кажется, что и медленные, не приметные разрывы старых друзей как-нибудь да скажутся когда-то. Нам с тобой, Лена, забывать друг друга негоже.

Шли мне стихи, переводы и рассказы о себе и об окружающих. В ожидании (нетерпеливом) всего этого я сердечно приветствую тебя, Валерку (авось в технократе проснется какая-нибудь совесть) и твоих, славных в описании, клопов. Еще я приветствую твою посолондешную сестренку, Лукиных и всех общих приятелей и знакомых.

Твой Илья.

*Юлию Киму*¹

Октябрь 1970

Драгоценный педагог!

Ты все настаиваешь: скажи да скажи, кем ты работаешь. Не скажу. А будешь приставать, отвечу по-брюсовски: «Эй, не мешай нам. Мы заняты делом...»² и пр.

Кстати, о педагогике, с которой я начал письмо. Ты по ней совсем не скучаешь? Я вот не могу истребить в себе привязанность к школьной стихии. Вчера вечер сел с нашими пятиклассниками решать их гигантские примеры, но без триумфа, без триумфа, честно скажу.

Как жив-здоров Женя Гайдуков³, с которым у нас начались было очень добрые отношения? У тебя ли он все или съехал? Привет ему.

Что-то Наташа⁴ и Володя Гершуни надолго задержались в Сербии⁵. Или ты по своей географической неграмотности всю Восточную Европу причислил к этому разряду?

Юлик, пришли мне возможные тексты и ноты своих песен. С нотами я не шучу; у нас есть духовой оркестр, и кто-нибудь да напоеет мне песню. Каково тебе работать с Юткевичем? Я говорю, то есть спрашиваю «каково» в сравнении с П. Фоменко, которым, помнится, ты упивался.

Тебе, судя по письму, не очень много доводится читать. Это не удручает? Меня так невозможность много и плодотворно читать приводит в уныние, но, правду сказать, я боюсь, что это не из каких-то высоких

¹ Юлий Ким — бард, поэт, драматург, правозащитник, друг Габая со времен МГПИ.

² Намек на стихотворение В. Брюсова «Каменщик»: «Каменщик, каменщик в фартуке белом, Что ты там строишь? кому? — Эй, не мешай нам, мы заняты делом, Строим мы, строим тюрьму». Можно предположить, что какое-то время Габай в лагере был занят на строительстве тюремного корпуса.

³ Женя Гайдуков — математик, учитель в математическом интернате при МГУ. Был уволен с работы за то, что вступился за Ю. Кима, учителя литературы в том же интернате, уволенного в 1968 году за правозащитную деятельность (прим. В. Гершовича).

⁴ Наташа — Н.Е. Горбаневская (1936—2013).

⁵ В Институте психиатрии им. Сербского проводились судебно-медицинские экспертизы, после которых многие правозащитники направлялись в психиатрические больницы. Габай иносказательно называет «Сербией» систему этих заведений.

духовных потребностей, а из обычной жадности и любопытства. Мне все пишут: то-то печатали и то-то печатали, — ну я и облизываюсь. Галя меня подписала и я подписался на кучу всяких журналов, и вот теперь с нетерпением жду Нового года. Кстати, и меньше останется.

Ты, пожалуйста, не вбивай себе в голову никакие комплексы. Упаси бог тебе или еще кому-нибудь оказаться в не столь отдаленных местах: мне это было бы чрезвычайно горько. В Ташкенте¹ мы с тобой виделись мимолетно (хотел добавить: не потолковали, не поспорили — потом опомнился). Но ты наверстывай письмами, меня ведь все интересуется: и житье-бытье, и космические мысли. Я здесь тем и живу, что жду письма. А отвечаю только по 1—2 в день: на большее не хватает ни сил, ни фантазии. Но писем приходит немало, так что я за неделю со всем справляюсь.

Приветствую всех. Целую тебя.

Илья.

Марьяне Рошаль²

Октябрь (?) 1970

Дорогая знакомая по археологической экспедиции!

Вы мне писали. Не отрекайтесь, Марьяна Григорьевна. И с тем же энтузиазмом, с которым мы с Вами в былые теплые (молдавские) времена раскопали славянский ареопаг сарматского периода древней истории эпохи неопалеолита, я бросаюсь в писание ответа. Вы должны оценить этот мой энтузиазм: я окружен десятком телеграмм и 5-ю письмами, на которые пока не ответил. Это потому (отбрасывая прочь всякие неуклюжие шуточки), что давно, очень давно ждал каких-нибудь весточек из Вашего, любимого мной, дома.

¹ Юлий Ким присутствовал на суде И. Габая, где по его поводу было вынесено частное определение. Друзья по совету Д.И. Каминской, адвоката И. Габая, настояли на его немедленном отъезде из Ташкента, чтобы избежать ареста. (Сообщено Г. Габай.)

² Марьяна Григорьевна Рошаль, кинорежиссер, участвовала вместе с И. Габаем в археологической экспедиции, которую проводил в Молдавии в 1968 году ее муж Г.Б. Федоров.

Я вполне разделяю Вашу гордость по поводу большого и самостоятельного раскопа. Между нами: я так до сих пор не понимаю, когда нужно продолжать копать, а когда бросить, и что такое материк. Вы гораздо способнее меня в этом отношении. А вот обилие найденных Вами вещей меня огорчает: как вспомню, что их надо мыть в воде, кислоте, нумеровать, описывать и натуралистически зарисовывать — так и начинаю даже радоваться, что я не был в этом году в экспедиции <...>

Про мою жизнь Вы, должно быть, хорошо осведомлены. Течет себе в эмпиреях, только и всего. Могу сообщить массу фильмов, которые я не видел: «Преступление и наказание», «Чайковский», «Андрей Рублев». И огромное количество книг, которые я не прочел. Но все это ничто по сравнению с тем, что я не был на вернисаже художника М.Г. Федорова¹ (можно я его буду звать просто «Мишка?»). Но мой портрет его кисти я представляю. Я даже стихи по этому поводу сочинил: «Себя, как в зеркале, я вижу...» и пр. Впрочем, не я сочинил, а поэт Орест Кипренский² <...>

Всегда Ваш Илья.

Елене Гиляровой

Октябрь 1970

Лена да Валерик!

Спасибо на письме: очень ревностно ждал его, часто выходил на дорогу в старомодном ветхом шушуне³. Ну и, понятное дело, очень обрадовался, когда дождался.

¹ Рoshаль-Федоров Михаил Георгиевич (1956—2009) — сын М.Г. Рoshаль и Г.Б. Федорова, художник, в то время школьник.

² И. Габай ошибается: на самом деле это стихи А. Пушкина по поводу его портрета, написанного О. Кипренским.

³ Намек на стихотворение С. Есенина «Ты еще жива, моя старушка» («...что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне»).

Заниматься обычной житейской болтовней, Леночка, никак не кощунственно: мне про вас всех все интересно. Получая письма, постигаешь, что надо бы и там (то есть для вас — здесь) упорядочивать свое время и больше находить путей для непрерывного человеческого контакта. У нас ведь как все получилось: вроде бы везде были вместе, а потом вдруг — провал и каждый закрутился своей собственной жизнью. Я не сетую, говорят, это закономерно, да, может стать, я-то более вас повинен во всем таком. Но вы часто пишете — как можно чаще — и как получится: коротко, длинно, весело, грустно — и тогда не будет томительных пауз в разговорах при встрече.

Приеду — и поеду в ваш Иерусалим непременно. Наберу книжек и бумаги — и поеду. Как раз будет летнее время. Я ведь все-таки и бывал там у вас с ночевкой (первый раз, по-моему, когда Ира чуть ли не была в возрасте Ольки), но не очень толково.

Насчет моего безъязычия ты, Валера, конечно, кругом прав. Это существеннейший пробел в моей жизни, но боюсь, что и невосполнимый. Так чтобы вы реально себе представляли, — у меня часа 2—3 возможности для занятий вообще, и это часы все-таки после натруженного дня (35 — это возраст, чувствительный к переменам климата и изменениям обстановки), так что дай мне бог пока силы и терпения для нужного мне чтения на русском языке. Его бы отрегулировать; а там уж походим и без сапог.

Писать (поэзы) хочется, но в такой обстановке не очень-то это реально. У меня есть громадные тексты (из тюрьмы привез) и, наверно, получилось бы что-нибудь и путное, если бы я по своей всегдашней мания грандиозе не замахнулся бы чуть ли не на мильтоновские замыслы. Тем не менее есть с чего начать, если через год только не буду уже думать совершенно иначе (и так бывает).

Статью Каверина я не читал и не прочту, как и «Сто лет одиночества». То есть пока, в ближайшие 19 месяцев, не прочту. Конечно же, Лена, последний том «Былого и дум» — щемительная, горькая книга. Да и вообще весь ее заграничный отдел — с рассуждениями о Прудоне — человеке и теоретике, об Энгельсоне (кажется, так?), все это кружение старых революционеров, счеты, дразги, Гарибальди среди

них — все это забирает целиком и полностью. «Вехи» после этого (а я было незадолго до отъезда из Москвы увлекся ими) — вторичны и, главное, совсем не выстраданы лично.

Очерк Чуковского о Дружинине я помню смутновато. Вот у него есть блестящий очерк о Николае Успенском, он произвел на меня когда-то сильное впечатление. Это о ренегатстве с другой стороны, с «народной почвы» (которая в откровенном проявлении всегда ведь оборачивается как чистое черносотенство). Меня немного при жизни К. Чуковского огорчал что ли, раздражал его академизм, такая безоблачность общего тона, — словно и не было современных невзгод и недоумений. Сейчас я соображаю, что и это все должно быть, и очень ценно; тем более, что К.Ч. не поступился, в отличие от многих сверстников, порядочностью, не писал ничего и отдаленно похожего на низкопробность.

Из присланных тобой, Леночка, стихов мне очень понравился второй. У меня, правда, есть ощущение, что я его когда-то читал; но может быть, ложное ощущение? Во всяком случае, каюсь, не знаю автора. Это не очень невежественно?

Из художественной литературы почти ничего не читаю. Имеющегося у меня Фолкнера и «Иосифа» держу для перечитывания на черный день. Вот газеты литературные — обе — я стал читать в этом месяце. Там был отрывок из предполагаемого в печати романа Хемингуэя и рассказы Шукшина. И то и другое мне показалось слабее авторского уровня; но по отрывку судить трудно, а вот у Шукшина (у которого большие возможности) в данном случае только мелодраматические притчи с моралью.

Читая ваши письма, я составил себе впечатление, что вы при всех неурядицах, что называется, счастливы. Чего вы вполне заслуживаете и чего я вам всем сердцем желаю. А остальное все — приобщение к интересам (обычным) и бытовая налаженность — приложится, без всякого сомнения.

Сердечно приветствую вас и чадушек ваших, мир вам.

Илья.

Семье Зиман

2.10.70

Дорогие пушкинцы!¹

Я, кажется, нашел магическое слово: достаточно крепко выругать Леню и Аллу — и на следующий день приходит от вас письмо. Я так и сделал: в письме к Юре Зиману ругался самыми непотребными словами (по-моему, эти строчки — лучшее произведение нецензурной печати), и письмо тут как тут.

Ох, Белла Исааковна! Пусть уж никто не боится завалить меня письмами. Это ведь почти единственное, чем я здесь греюсь и освежаюсь. Так что пусть пишут и меня пушай приучают к новому жанру — своевременному ответу. Торплюсь поздравить Аллочку с прошедшим и Аннушку — с предстоящим тезоименитством. Да будет всегда с вами счастье, милые женщины!

Белла Исааковна, если мои нахальные просьбы о книгах доставляют Вам хлопоты, — ради бога, поберегите себя и плюньте на них. И уж никак не надо грабить свою библиотеку. Вот я приеду и сам это сделаю — но тактично, чтобы Вы не чувствовали боли от расставания с Ануем. Я не знаю, кто перевел имеющегося у меня Бокаччио. Думаю, что Любимов тож, поэтому не хлопочите. А иметь я хочу из книг немногое: все, что появляется интересного. Я ведь очень скромнен в своих желаниях.

Леня пишет очень темно (хоть и не вяло) об Аллочкиной учебе. Наберитесь мужества и напишите мне все поподробнее.

А новостей-то, а новостей! Единственное, что меня утешает, — это то, что волей моей жены я с нового года подписан на два экземпляра журнала «Театр». Надеюсь по-кутейкински: не в одном, так в другом будет что-нибудь интересное.

Последний «Новый мир» я не видал. И не увижу, Леня, увы! Надеюсь, что увижу первые — уже в новом году.

¹ Семейство Зиман жило на Пушкинской улице (теперь Б. Дмитровка). Как уже было сказано, Габай, не имея собственной квартиры, по многу месяцев у них жил.

Запрячь Серко мне пока не удастся, но будем надеяться, что жизнь все-таки пойдет на коне любимого стихотворения Лениного детства:

Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла...

(Какой был урок в парфеновской школе¹, Аллочка, если бы ты только знала! Леня был вдохновенен и искренен, не то что сейчас, когда он врет мне в утешение, что «Преступление и наказание» — плохой фильм.) <...>

Ну вот и все. Аннушка пусть отдохнет от моих писем, а вас я обнимаю и прошу любить меня и писать мне, Ваших благородий покорному слуге

Илье.

Геorgию Борисовичу Федорову

Конец октября — начало ноября 1970

Дорогой профессор!

Наконец-то я услышал и Ваш голос и очень мне от этого стало тепло и весело <...> Очень и очень я рад Вашим научным успехам. Вот так всегда: стоит мне разок-другой не поехать с Вами в экспедицию — и у Вас сразу же поток открытий и находок. Я себя прямо-таки чувствую чем-то вроде черной кошки или женщины на корабле.

Кстати, о женщинах. Место, где Вы так вкусно описываете сарматку III века, поглотило все мои помыслы. Красота и богатство этой юной варварки (вот что значит в течение месяца усердно штудировать эллинов) вызывает у меня всякие оригинальные (!)

¹ Парфеново — деревня на Алтае, где Зиман работал в школе после распределения по соседству с Габаем (тот работал в деревне Зеленая Роща).

мысли о бренности красоты. Но я все равно рвусь предложить ей руку и сердце.

Георгий Борисович! Что ж Вы ни слова прямо-таки не пишете о наших общих знакомых — о Ваших учениках и знакомых? Хотел бы почитать Вашу повесть, но до выхода в свет это, наверно, недостижимо. Может, Вы как-нибудь перепечатаете отрывочек, который для Вас принципиален и интересен?

О том, как я живу, рассказывать очень трудно. Все бы ничего, если бы всякий пустяк не выбивал бы меня из колеи. Это все объясняется слабостью моего характера («Слабые духом ахейки мы — не ахейцы») и некоторой усталостью. Очень я Вас прошу, успокойте Галю, скажите, что я вполне здоров, что жду ее 28 ноября на личное свидание. С нетерпением жду.

Хотел бы я отвести немного душу в Вашем милom мне и святом семействе, но ничего, доктор, перетерпим <...> Я тороплюсь закончить пока свое писание — иссякает мое время, и я прекращаю дозволенные речи. Нечего, наверно, и говорить, сколько добра я желаю всем вам. Берегите сердце, Георгий Борисович, не забывайте меня, любящего Вас, хоть и не очень путевого, друга. Целую Вас и всех больших и малых Вашего дома.

Ваш Илья.

Герцену Копылову

После 9.10.70

Дорогой Гера!

Из-за капризов почты я поздно вато получил твое поздравительное письмецо. Главное, получил, не так давно написав тебе, — боюсь, сейчас не о чем особенно будет писать. Тем более на меня свалился недуг — он называется карбункул. Эта драгоценность водрузилась на самом неудобном месте — на сгибе шеи, и во время своих работ я испытывал танталовы муки. Призываю в помощь все свои школьные познания по физике: механическое движение — трение — словом,

сам понимаешь: и смешно, и невесело. Вчера меня мучили с ним в санчасти, а сегодня дали на день освобождение.

Спасибо за ваши добрые слова. Если и жалеть о возрасте, так только о непропорционально большой части потерянного всуе времени. Но не в том, так в другом, — а все не до конца мудры, да это и необратимо. Судя по письмам, 9 октября¹ в нашем доме было опять людно. Ты это все очень смешно расписываешь, но не мне хлопотать и мыть тарелки — Гале, так что с такого далекого расстояния меня такое многолюдье греет и трогает: как свидетельство непрекращающихся связей с людьми, да и как многое чего, что и без слов понятно.

Основное событие официальной литературы дошло до меня сразу же и очень порадовало. Я не имею возможности сейчас пристально следить за прессой, но, судя по всему, особенно бурной реакции нет? Это умно.

Что тебя и Генку² подвигло в этом году изменить археологии? Разочарование в результатах? Отсутствие математических методов копания? Или иные летние планы и заботы? Во всяком случае, ты довольно вкусно описываешь, чего не нашли при тебе и что обнаружилось в первый же год, как ты не поехал в экспедицию.

Названных тобой рассказов Шукшина я не читал, но читал два его рассказа в последнем номере «Литературной России». Он очень много, по-моему, пишет. Это хорошо, но это делает многие его рассказы средними: нельзя же так много видеть глубинных вещей.

Я думаю, что с переменной Кочетова на Бондарева два враждующих стана протянут друг другу руки, и во всей нашей словесности воцарится общий средний уровень. Смотрел ли ты, кстати, многосерийный фильм с участием Бондарева-сценариста? Каков там Генералиссимус? А на твои охальные намеки по поводу фильма «Чайковский» я затыкаю уши. Кстати, здесь этих [нрзб] страстей достаточно. Пропала ли совсем из вида влюбленная в тебя гимназистка Людочка? Пиши.

Обнимаю, Илья.

¹ 9 октября, в день рождения Ильи Габая, друзья по традиции собирались у него дома.

² Геннадий Копылов (1956—2006) — сын Герцена Копылова. Оба вместе с Габаем участвовали в археологических экспедициях под руководством Г.Б. Федорова.

Марку Харитонову

Получено 12.10.70

Дорогой Марик!

Спасибо за добрые пожелания. Я желаю себе одного: морально сохраниться, то бишь, не стать хуже. Постараюсь.

Я так понимаю, дружище, что твое письмецо — никак не ответ на мое обширное послание. Меня очень и очень греют теплые и грустноватые слова твоего письмеца, и я хочу сказать тебе вот что: для меня составляет особую драгоценность нерасторжимая ни суеютой, ни превратностями судьбы связь с тобой, Галей Гладковой¹, Леночкой Гиляровой (с которой наладилась переписка), с твоей супругой, упорно игнорирующей меня, грешного. Я, конечно же, не чужд, как тебе известно, некоторых сентиментальных черт, но здесь я остро и трогательно воспринимал свои воспоминания о днях минувших. Если бы только можно было вернуть время, я пожелал бы себе большей цельности, трудоспособности и порядочности в отношениях с женщинами — а все остальное оставить бы так.

Слов нет, то, что ты пишешь об отношении ко мне людей, греет меня чрезвычайно и кстати. Тем ощутимее незаслуженность этого, которую не исчерпать жизнью. Ты-то и сам это знаешь, просто прилепились мы друг к другу давно и неразрывно, — вот ты и снисходителен.

Я жду от тебя большого письма, потому и сам лапидарен до крайности. В прошлом письме я тебе отчитался во всем, что помню о немецкой литературе, но, кажется, не написал о мелькнувшем у меня в Лефортове сравнении чеховской «Моей жизни» и «Глазами клоуна» Белля. Я отлично понимаю, что концепции из этого не высосать: я это к тому, что все-таки возвращаются на круги своя болевые ощущения XIX века.

Нежно обнимаю тебя и упорно продолжаю приветствовать Галку. Успеха тебе, дружище!

В ожидании не скорой, но неминуемой встречи — твой Илья.

¹ Галина Гладкова — поэт, редактор, друг Габая со времен МГПИ.

Алине Ким

Без даты, видимо, ноябрь 1970

Здравствуй, дорогая Алинька!

От Марата получить письмо я уже отчаялся. Махнул я на него рукой, как и на все новое поколение, на которое неустанно ворчу. Ох уж эти цветочки жизни! И твой Алинькин цветочек, увы, не составляет исключения. А вот Нина Валентиновна-то, Нина Валентиновна! Поистине нет границ моему разочарованию!

Алинька, пишу тебе перед работой и бог весть, допишу ли. Утро началось со скандала по поводу света — зажигать его или нет? Это одно из самых сильных противоречий нашей жизни. У многих тенденция поздно зажигать и рано гасить свет, и это меня угнетает, особенно в предчувствии зимы, когда нельзя никак будет почитать в подъезде, тем паче — на улице. Скандал сбил у меня настроение, но, надеюсь, не настолько, чтобы не дописать тебе письма.

Макса Волошина ты можешь взять у меня, коли есть охота перепечатать. У меня есть сборник, кроме того, чтец-декламатор с его стихами, да еще переписанные вирши. Очень может быть, что мы оба не вчитались просто, хотя вряд ли — было бы глубоко, хотя бы почувствовал бы значительность.

Рублевский музей ты открыла для себя поздновато. Я там бывал неоднократно, даже детей водил туда. Для многих это была не столько священная, сколько принудительная обязанность. Помню, мои девицы из педучилища замучили экскурсовода, они переспрашивали его каждую минуту и заносили в тетрадки все, вплоть до слов-паразитов. Когда он спросил, чего они так тщательно записывают, одна из них пожаловалась: Требуется, — и укоризненно ткнула в меня перстом.

А к русскому зодчеству, к которому я воспыал несколько лет назад интересом и любовью, я несколько охладел. По ряду причин. Во-первых, я уже в последнее время прочитал несколько книг по европейскому Средневековью. Это ничуть не менее интересно,

нежели наше зодчество. А у нас в последнее время пишут о русских церквях так, будто не существует готики. Во-вторых, у нас преувеличена несколько самостоятельность русских церквей и икон. Вот и Галя мне пишет, что на выставке византийских икон их никак не отличить от русских. А все эти преувеличения, — за всеми за ними, мне кажется, стоят квасные симптомчики.

Впрочем, сами церкви и иконы, Нерль и Рублев никак не в ответе за изыски Солоухина и Чалмаева.

Алинька, я прерывался несколько раз — на работу, ужин, чтение писем — и мое письмо получилось неважноецкое. Не погрей, прочти. У нас впереди (к сожалению) — вечность, 1,5 года с гаком, авось напишу и что-нибудь толковое. Я очень обрадовался письму от Вити Красина¹. Я целую тебя, твоего необязательного сыночка и твою непедагогичную мать (которых очень люблю). Безболезненна ли операция С.Л.? Впрочем, я им напишу. Всем, всем сердечный привет.

Илья.

Харитоновым

22.10.70

Дорогие Марик и Галка.

Я получил Ваши и еще ряд писем с двухнедельным опозданием. Это и объясняет мою задержку с ответом.

А второе мое извинение — за то, что пишу вам оптом. Это потому, что мне из-за этой задержки приходится сейчас торопливо писать ответы очень многим людям. Да я думаю, что вы уже настолько одна сатана, что никаких таких секретов у вас и в заведении не имеется. В крайнем случае будете закрывать друг от друга строки, слишком уж интимные.

¹ Виктор Красин — активист правозащитного движения, политзаключенный.

Теперь о самом главном. Галочка, я, конечно, очень рад еще раз породниться с тобой. Но, во-первых, закон о многоженстве. Во-вторых, разница в 34 года очень ощутительная. Представляешь, к ее совершеннолетию мне уже будет 52 года. Нет уж, как хочешь, но мы будем с твоей дочерью просто друзьями.

А насчет гравюр (не 14, а 18) ты уж не хитри, пожалуйста: найдется им место, потесним суперы и иконы.

Я, Галка, все очень хорошо помню, частенько вспоминаю. Помнишь еще, как мы с тобой на ВДНХ обворожили официантку, и она говорила, что мы — лучшая пара. И пресловутого почтальона¹. И щучек в томате твоего приготовления — я все это и многое другое тепло вспоминаю. У нас ведь с тобой тоже связи древние и прочные, так что постарайся во всей своей карусели находить время от времени силы для пары строк своему верному другу. Но что такое детишки, и работа с подготовкой, и все ваши заботы — я это серьезно чувствую.

Поэтому, Марик, меня обескуражило, что ты принял мои слова о ваших материальных бедствиях за иронию. Я не помню их, разумеется, в контексте, но ручаюсь, что они были писаны всерьез. Ты

¹ Поскольку этот почтальон упоминается еще в нескольких письмах Габая, стоит привести тут эпизод из воспоминаний М. Харитонов: «Однажды на квартире, где мы собрались встречать Новый год, две наши девушки поболтали у порога с почтальоном, принесшим поздравительную телеграмму, пригласили приходить — так, между прочим, среди формул любезности, которые не воспринимаешь всерьез: кто ждет, что на вопрос “как поживаете” вам в самом деле начнут рассказывать! А почтальон возьми да и приди под самую полночь. Сидел за столом, красноносенький, бледный, напряженный, неизвестно кто и откуда взявшийся, в лоснящемся галстуке и с перхотным воротником. Это можно было еще обернуть занятым и даже веселым недоразумением, но Илья был вне себя.

— Что за барство! — выговаривал он в коридоре виновицам. — Пригласить человека, чтобы он чувствовал себя неловко. А он молодец. Молодец. Я на его месте нарочно бы так сделал. Пригласили — так вот и буду сидеть.

Потом напряжение немного спало. Илья отошел. По радио уже начиналось новогоднее поздравление.

— Ну, тише вы, — шумел Габай. — Я опять ничего не расслышал. “Слава советскому”... кому советскому? Ничего не слышно. Вперед к победе... чего? На самом интересном месте вы начинаете кричать. Я так и не пойму, к победе чего?..

Начинался новый, 1964 год» (Харитонов М. Способ существования. М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 228—229).

же помнишь, что я тоже всю почти жизнь крутился в поисках хлеба насущного (отчасти по своей великой безалаберности), и почему я вам должен желать того же — это при двух-то малышах — ума не приложу. И вряд ли уместен в наших с тобой отношениях подсчет степеней пережитого. Упаси бог когда-нибудь заняться этим. Если я когда-нибудь это и сделаю, то в подлую, пьяную и похабную минутку. Посему еще раз настойчиво желаю вам всем не ощущать слишком острых материальных бедствий.

Интересует меня все: и информация, и мнение. С Нового года, глядишь, пойдет веселее: в связи с подпиской можно будет кое о чем говорить на равных. А пока ставь меня в известность, как ты и делаешь, не забываясь ни о каких несуразностях, настоятельно тебя прошу. Я уверен, что ты справишься со статьей Белля. Она ведь для тебя не столько кусок хлеба, сколько нужная работа, верно? Ну, а то, что ты попал в лабиринтную ситуацию с ней — это ведь бывает не только с иноязычными текстами. Не пробовал ли ты обращаться к Ц.И. Кин¹? Я ее, правда, знал недолго, но помню о ней светло — как об очень доброжелательном человеке, во всяком случае. Ну, а к Мише²?

То, что ты пишешь о западных немцах и их сетованиях о зажившем пролетариате (как я уловил по твоему письму — опять же без контекста), по-моему, не так уж смешно. Весь Запад прошел через «Хлеб ранних лет» и неореализм к изображению современного благополучного кризиса совести. Об этом ведь и фильмы Феллини, Джерми — что хочешь. Это одна из путанейших ситуаций. Во времена диккенсовские, например, для честного человека была ясна исходная точка: неприемлемость сосуществования (скажем условно, плакатно) дворцов и трущоб. Ну, а сейчас куда сложнее. Буржуазность — это ведь не преходящее — жирноватое, цивилизованное, но в основе купеческое качество, — и когда это становится обликом не класса, а общества, моралью, правосознанием, — ясное дело, люди вопят. И здесь невозможно без крена, разумеется. Его

¹ Ц.И. Кин (1905—1992) — переводчица с итальянского.

² Имеется в виду Михаил Ландор, литературовед, переводчик, сын Т.Л. Мотылевой.

объяснил лет 6 назад в средненьком романе то ли Пратолини, то ли Пазолини, — помнишь роман о молодом рабочем-коммунисте, с объяснением увлеченностью капитализмом. И китайское увлечение бунтарей-студентов тоже, поди, этим объясняется: надоела сейчас буржуазность. А разрушь — будут ее возводить снова, ведь невозможно же и материально прозябать. Вот кружись. Ты помнишь финнок на Усачевке¹? Они были влюблены в наши общежитийские отношения: как я сейчас понимаю, при всей их праздности и атмосфере русского трепа, в них не было все той же буржуазности. Словом, я сел на своего конька, а м.б. западные немцы совсем не о том пишут.

Отвечу тебе еще на один вопрос, Марик: трезво говоря, может быть, и раз в полгода не сможем увидеться. Мне же надо будет где-то жить и работать, в Москве это будет трудно. Но друг друга мы не потеряем, друзья мои, в этом я уверен. С тем и прощаюсь и нежно обнимаю все ваше обширное семейство.

Илья.

Галине Габай

30.10.70

<...> Я вообще отношусь как к сказочному счастью к знакомству со своими друзьями. Несколько специфический, но все же немалый опыт этих полутора лет подтвердил, что за пределами нашего микромира не существует не только культуры — обыкновенной доброты и порядочности в отношениях².

¹ Имеется в виду общежитие МГПИ на улице Усачева.

² Сокращения в этом письме, как и во многих других письмах к ней, сделаны самой Галиной Габай.

Белле Исааковне Шлифштейн

22.10.70

Дорогая Белла Исааковна!

Вы, конечно же, пунктуальны, верны и точны. Ваше письмо пришло позавчера, и если бы на следующий день не пришли письма от Лени и Аллочки, — не миновать бы какому-нибудь антипедагогическому выпадку с моей стороны.

«Аннушка, — написал бы я, например, — я твоих родителей, можно сказать, на руках таскал (ты себе можешь представить, Аннушка, каков подвиг: таскать на руках твоего папу. Видит бог, что он всегда был скорее Санчо и Ламме Гудзак, чем наоборот). Я их поставил на ноги (ты себе можешь представить, Аннушка, что это такое — ставить на ноги людей, вечно спотыкающихся в простейших вопросах синтенбалтонколобомонтороноронтетики). И вот — черная неблагодарность. Самая черная. Как бархат у Станиславского. Уж лучше бы, Аннушка, ты была не Леонидовной, а кем-нибудь еще. И какое лицемерие говорить после этого о Феллини, потоке сознания и премьере Детского театра. Какое ханжество! И эти люди смеют трепать светлые имена Шатобриана и Розова!»

Так я себя настроил, Белла Исааковна, и знаете, на следующий день, получив письмо от Ваших детей, испытал даже легкое разочарование: кого я буду теперь бранить в сердце своем? (Это, по-моему, звучит так же патетически, как «Кому повем печаль свою?») О чем я буду теперь писать Анне? (Интимных писем я ей больше писать не стану: Вы их все равно прочитываете.)

Ну, а говоря всерьез, я очень рад был прочесть Ваши письма. А посему, здравствуйте также и Леня с Аллочкой и не сердитесь на меня за всю гиль, вышеизложенную во первых строках моего письма.

Белла Исааковна! Скорей бы прошли эти 21 месяц. Пригубим мы с Вами по старой привычке рюмку-другую-третью-четвертую (останавливаюсь: я еще не научился считать до десяти тысяч двухсот двадцати трех), вспомним славные годы второй пятилетки,

строительные леса, к которым я всегда чувствовал и чувствую гораздо большее влечение, чем, скажем, к сосновым, поговорим о последнем выступлении Маяковского — все будет хорошо, все будет о-очень хорошо, только Вы не болейте и не грустите.

К Лене я просто боюсь подступиться: итальянские курсы кройки и шитья — это как раз и есть не взятая мною в бою высота¹. Я застрелял где-то на болгарских азах, и то дальше болгарского креста не пошел.

Что касается Аллочки, то она не права в вопросе об ударе на слове «судно». Может быть, неизвестный мне поэт вкладывал совсем другой смысл? Впрочем, я и в этом (особом) случае в ударе не уверен.

Каковы перемещения в Министерстве — а, Леня? Кто бы мог подумать? Впрочем, Тодор и его карьера от меня так же далеки (мысленно), как проблемы существования Атлантиды.

Главное, чтобы все были здоровы и благополучны и регулярно помнили меня. Регулярно — это значит часто посылать на кемеровский адрес исходящую почту, не очень обращая внимание на входящую. Ведь, хотя мыслители прошлого от Л. Толстого до А. Толстого и убедили меня в благости физического труда, они не отучили меня от элементарного утомления время от времени.

А кроме писем, я занят изучением отрывков из «Вед» и надеждой воплотить когда-нибудь в жизнь стиховые наброски Ташкента². Но и то и другое через силу (пока) — надо войти в колею («Надо трудиться», — как говорил Тузенбах).

Я дочел трудную (в таких — сжатых по времени — условиях) книгу Данэли «Еретики и герои». Сквозная идея ее — такая же, как у давнего и приснопамятного стих<отворения> «Посвящается»³. Значит, стихотворение было не ахти: идея-то плыла на поверхности.

А вопрос, брошенный когда-то Леной Зиманом человечеству: «Похож ли, товарищи, Соленый на Лермонтова?» — так и остался

¹ Л. Зиман тогда изучал итальянский язык.

² Имеется в виду поэма «Выбранные места», которая публикуется в этом сборнике.

³ Стихотворение Ильи Габая. Публиковалась в его упоминавшихся здесь посмертных сборниках.

неразрешенным. Как и вопрос о том, были ли свифтовские огурцы солеными.

Нежно с вами со всеми прощаюсь. Надеюсь, что вам будет хорошо житься, читаться, работаться (а Аллочке — и учиться?), а моей любимице — Мадонне с колготками — растеть-матереть.

Целую вас всех, приветствую всех друзей вашего гостеприимного дома (который я ношу в сердце своем).

Ваш Илья.

Герцену Копылову

7.11.70

Добрый день, Гера!

Я подзадержался несколько дней с ответом, а сейчас праздничные дни — так что письмо ты получишь не скоро. Очень тебя прошу: не бери ты с меня пример и пиши всегда, когда пишется. У тебя все-таки не все дни заняты службой и, по-моему разумению, лучший отдых между формулами — сделать доброе дело: написать письмо.

Надо бы, в подражание тебе, поговорить о погоде, но она у нас здесь всякая, капризная, и главное — впереди. Почитал в последней Литературке интервью с Андреем Тарковским, как он снимает «Солярис», и чувствую, к «Началу» и «В огне брода нет», о которых мне пишут буквально все, скоро прибавится еще один не увиденный мной интересный фильм. Кстати, читал ли ты публицистическую книгу Лема? Я ее в свое время пропустил (как и его статью о докторе Фаустусе) и очень об этом сожалею.

В том же номере Шукшин пишет о том, как он будет снимать «Разина». Кажется, это будет опять что-то почвенное и традиционное — то есть при всем таланте малопродуктивное. В Лефортово мне попала забавная книга голландского путешественника XVII века Яна Стройса; он пишет о Разине (которого видел) с ужасом и содроганием; даже как персидскую княжну бросали в набежавшую волну, он видел самолично. Это уже другая сторона медали, другая крайность.

Первое стихотворение Д. Самойлова мне понравилось (хотя оно немного «построенное» и с открытой моралью), а второе что-то совсем уж не пленило. Буду рад, если ты и в будущем время от времени станешь присылать мне понравившиеся стихи.

Как успешен твой реванш в собственно физике и твое углубление в геологические проблемы? Есть ли у тебя новые книжки и рукописи? Пиши, пожалуйста, о себе пощедрее и старайся не очень грустить (советик пошленький, но что я могу; да это и не совет — пожелание). Я сейчас живу ожиданием свидания с Галей, которое должно иметь место 28 ноября.

Желаю тебе жизнерадостности и радостей жизни. Жму руку.
Твой Илья.

Юлию Киму

10.11.70

Ну, наконец-то и твой голос, Юлий Алексеич¹, дошел досюдова. Долгонько ты раскачивался, старина, или время так тянулось? У моего любимого Т. Манна есть пространные объяснения по поводу временных измерений, но их так просто не выскажешь. Я вот в свое время высказал твоей жене всякие мудрости по поводу христианства — и наказан за апломб. Письмо, как я понял, пока не дошло; а ведь там еще и записка Тане Хромовой.

Что тебе ответить на твои пытливые вопросы, друг мой? Снегато, известное дело, есть, и будут поютее; но ведь мы и раньше гадаливались, что здесь не субтропики, и изменить чего-нибудь никак не можем.

Вы за меня не беспокойтесь — хотя бы потому, что помочь ничем не можете, да и не надо, только расстраиваетесь и воображаете лишнее. Позаботься, Юлик, о тех, кому можно помочь: о себе, о близких

¹ Юлий Черсанович Ким в ту пору иногда представлялся публике как Юлий Алексеевич. По цензурным соображениям он пользовался тогда псевдонимом Михайлов.

своя, о Вите¹ и Наде, по поводу которых душа у меня ноет маленько, о Пете² (если бы его решение было твердое!), — о всех.

Я не очень уловил связь Красиных со Средиземным морем. И каких Красиных — тоже.

Надеюсь во всяком случае, что это не симптом предстоящей вечной разлуки. Я получил недавно от них письмо, и там ничто не дышит этим.

Юлик, ты бы прислал мне тексты своих песен. Хочется как-то хоть издалека войти в атмосферу. Правду сказать, настроеньице у меня так себе; не из-за снегов — снега я, как тебе уже докладывал, вполне ожидал, здесь можно утешить себя тем, что 120—130 дней — не вечность же, папанинцам да челюскинцам было хуже, не говоря уж о Зиганшине³. Просто полоса мрачноватого состояния души; это ведь бывает и на воле тоже.

Люди мне пишут, и к стыду твоему могу тебе сообщить московские новости: Марк работает в переводах и западноевропейской критике; уверен, что хорошо работает: он умен и ответственен, совестлив. Леня изучает итальянский язык, уверен, что хорошо изучает: он прилежен, добросовестен и способен. Словом, всюду жизнь, и это — совершенно по правде — и хорошо. Хоть маленькая информация о житье-бытье людей — это и есть преимущество ИТУ⁴ перед тюрьмой: там время сгущенно и кажется: свистни в соседнюю камеру — отзовется кто-то из близких. Также такие мысли не располагают к игривым шуткам. Стало быть, у меня и наказ такой: живите, братцы, по возможности беспечальнее, так всем лучше. А в совести вашей и конечной правильности всех шагов — кто же усомнится?

¹ Виктор Красин — экономист, правозащитник, политзаключенный.

² Петр Якир (1923—1982) — сын репрессированного командарма И.Э. Якира, историк, политзаключенный, правозащитник, тесть Юлия Кима.

³ Асхат Зиганшин — один из четырех советских военнослужащих, унесенных в 1960 году бурей на барже в Тихий океан и голодавших в течение 49 дней. Были спасены американскими моряками. История сразу стала всемирно известной.

⁴ ИТУ — исправительно-трудовое учреждение, лагерь.

Я надеюсь, что все не пишущие мне вообще или давно благополучны: что Сарра Лазаревна¹ вышла из госпиталя, что у Пети нет кризов, что вполне здоровы Валя², Нина Валентиновна³, а Алина успешно дошла до диссертации.

Вот еще Ирке учиться бы — и на мои полоумные нервы пролилась бы пинта живительной воды. Пиши мне, не очень считаясь с ответами: я исправен, во-первых, а во-вторых, если по совести, то и времени у тебя чуть поболее. Пиши, что и сколько пишется: мы всем будем оченно довольны, — и обрати внимание на то, что я теперь в бригаде № 45.

Целую тебя и жену твою, и всех твоих родных по всем линиям.
Илья.

Елене Гиляровой

Ноябрь 1970

Здравствуйте, Леночка и Валерий!

Это у тебя, Лена, прекрасная мысль: стать, как ты выражаешься, моим «неотвязным корреспондентом». Дай-то бог, чтобы ты воплотила свои добрые намерения в жизнь. Это, я понимаю, нелегко и при достаточном лимите времени, а при твоём многодетстве очень трудно. Но ты уж расстарайся, пожалуйста, напряги все свои запасы благородства и душевных сил — и сделаешь очень даже доброе и великодушное дело.

По секрету: «Винни-Пуха» я сам прочитал и, кажется, с бóльшим упоением, чем мой невзрослый тогда еще отрок. А вот «Алису в стране чудес» я почти не понял. Как ее дети понимают — ума не приложу.

¹ Сарра Лазаревна Якир (1900—1971) — вдова командарма Ионы Якира, мать Петра Якира.

² Валя (В.И. Савенкова, 1924—1982) — жена Петра Якира.

³ Нина Валентиновна Всесвятская (1907—1974) — педагог, мать Юлия Кима.

Что касается твоего предложения сделаться полиглотами, то где уж мне. Вот подучусь русскому языку как следует — и то слава богу. Я заказал всякие немецкие книги, но очень даже боюсь, что сил не хватит — не каких-то там внутренних и прочих — обыкновенных. Я ведь не из Гераклов.

Кстати, о греках. Сейчас я домучиваю Плутарха: осталось две, довольно известные, биографии — Александра и Цезаря (третьего-то томика у меня нетути). Слово «домучиваю» я выбрал не случайно. Начал-то я читать с интересом, а потом интерес притупился, и вот почему. Прежде всего, биографии, по-моему, очень уж похожие: сплошные военные забавы с обилием поверженных, казненных, предсказаний, затмений, подкупов, измен, — словом, как раз той части человеческой жизни, которая меня всегда интересовала меньше всего (после разве что физико-технических наук). Банально, но я в первом чтении «Войны и мира» пропустил все, что относится к Шенграбену, Аустерлицу и Бородину. Кроме того, прославленная психологичность Плутарха показалась мне довольно ограниченной: очень небольшой набор психологических типов с моралью, уместающейся в кодекс чести эвпатрида (патриция). Да и греки, тем более римляне у него разочаровывают: много у них восточных церемоний, детской погони за триумфами и трофеями. То, что я читаю параллельно: куски греческих философов — никак не отражено у Плутарха. Жизнеописание Сократа (личности с действительно нравственными страстями) у него и невозможно. Вообще, я, кажется, подхожу к мысли, что Перикловы Афины, очень может быть, и не греческое явление. Даже войны, политика с чувством общегреческого, а не локального патриотизма. А уж об интеллигенции этого времени я в этом смысле и не говорю. Эврипид или тот же Сократ, по-моему, такие же негреки, как Бах или Шиллер — немцы. Греки, в конечном счете, так же тяготели к спартанскому идиотизму, как немцы к Мольтке, Бисмарку, а потом уж и к деятелям 3-го рейха.

Но надо и кончать рассуждения, которые, возможно, через пару лет самому мне покажутся вздорными. Никак не могу избавиться от того, чтобы в размышления о прочитанном не вносить с большой претензией сиюминутное настроение.

Стихи мы с вами непременно почитаем, если будем живы и малость благополучны. Если бы мне такая возможность представилась бы сейчас, я прочитал бы то, что сейчас люблю больше всего: пушкинские «Подражания Корану» и тютчевские «Два голоса». Вот сами посудите по отрывкам: «Мужайся ж, презирай обман, Стезю правды бодро следуй, Люби сирот и мой Коран Дрожащей твари проповедуй». Вот тебе и вся этика, уложенная в такие щемящие и обычные слова. Это, — простота, с которой можно исчерпать «смысл философии всей», — наверно, так же утрачена, как секреты рукоделья и ремесел. «Август», «Гамлет», «Гефсиманский сад», «Реквием» (кусками) — какие-то неожиданности в этом плане.

А у Тютчева вот сразу же какие строки: «Мужайтесь, о други! Боритесь прилежно, Хоть бой и упорен, Борьба безнадежна. Над вами светила молчат в вышине, Под вами могилы — молчат и оне...» Пронзительно (извини за неточное слово: не нашел). Может быть, я, по обыкновению, и наврал что-нибудь, цитируя, а может стать, это все далеко и от тебя, Лена, и от тебя, Валерий, сейчас. Мне это близко, хоть и не дотянуться, как до десяти заповедей. Я бы прочитал это сейчас, но, по совести, хоть бы свидеться нам в свое время нормально, несуетливо, с отдохнувшей душой. В ожидании всего этого я с вами прощаюсь и желаю счастья и бодрости вам, детишкам, всем, кого вы увидите из людей из общих — ваших и моих — воспоминаний.

Ваш Илья.

Марку Харитонову

11.11.70

Дорогой Марик!

Наверное, действительно, зимняя пора и погода нелетная: письма получаю сейчас нерегулярно и грущу по этому поводу. Не знаю даже, знает ли Галя о свидании 26 ноября. Она мне написала отчаянное письмо, ты уж потрудись, позвони ей, пожалуйста, и успокой: очень уж она нервна и измучена, я просто боюсь за нее.

Снега не только в Красноярске — и у нас хватает. Но главное — по зиме впереди прибавятся, конечно, некоторые физические преграды, — но ничего, переживем.

На «Иностр<анную> литературу» я с нового года подписан. Будет все благополучно — надеюсь, хорошо мы с тобой поговорим, поспорим даже, хотя я Белля помню и люблю в абрисе, надо бы, если спорить по совести, перечитать. А в ожидании периодики я пока завершил Плутарха и взялся за перечитывание «Иосифа и его братьев». О своем отношении к Плутарху я подробно отписал Леночке Гиляровой, но очень боюсь, что с претензией, без достаточно глубоких оснований — под общим моим теперешним гуманитарным состоянием. Параллельно с Плутархом я читал греческих философов по Расселу и антологии, но сейчас параллель поломалась: Плутарха кончил, а по философии остановился на аристотелевской «Метафизике». Впрочем, сколько я помню, Т. Манн и не нуждается в параллельном чтении — так он подробно рассказывает сам о религиях и философиях древности.

О тех же ребятах¹. Из твоих последних двух писем я только уяснил, что тебе не нравится. Но ведь, как я могу понять, рядом с мотоциклетными цепями есть и выступления в той же ФРГ и против НДП? А в США — против вьетнамской истерии и в защиту негров. Факты, которые я привожу здесь, очень понимаю, наивные: газетные. Но, по серьезному размышлению, они действительно острые и ребятам их гражданское чувство делает высокую честь. Как видишь, разговор о поколениях, как всегда, оказывается слишком обобщенным: большей части молодежи, я думаю, ничего не надо, а меньшая колобродит, у кого поведение штурмовика, у кого Гамлета. И применительно к тем же США Пазолини не очень-то прав. Сказать, вы беситесь от жира и молодости, потом остепенитесь, — можно во все времена безошибочно; но факт остается фактом, что белому студенту, даже школьнику (?) больше дела хотя бы до негра, чем белому рабочему. Но тут я опять с апломбом начинаю говорить о вещах, которые знаю приблизительно, — потому замолкаю.

¹ Речь, видимо, идет об участниках молодежных выступлений 1968—1969 годов.

Илья Габай

О посещении вас Галка Гладкова мне писала очень тепло и радостно. Как-то трудно поверить, что еще несколько лет назад ничего нас не связывало и мы виделись так часто. Теперь подождем старости: дети вырастут, внуки пойдут, — ну, мы и наговоримся всласть.

О моих стихах написал бы ты поподробнее: я их начинаю забывать, и это худо, так как у меня могло бы сейчас что-то и написаться, было бы чуть больше времени, спокойствия, да и участия, пожалуй.

Обнимаю тебя, твое семейство и жду писем. Не считайся, дорогой: я ведь стараюсь быть добросовестным.

Живи с успехом. Твой Илья.

Алеше Габаю

16.11.1970

Алешка!

Я приеду через полтора года. Ты будь мужчиной и ничего не придумывай, а терпи.

Я очень рад, что ты интересно проводишь время, слушаешь хорошую музыку, читаешь правильные книжки. Это поможет тебе подождать меня.

Ты, конечно, человек самостоятельный, но знаешь, мне бы очень хотелось, чтобы ты был вот каким:

Начитанным; интересующимся; любопытным.

Чтобы у тебя было много товарищей.

Чтобы наш щенок любил тебя больше всех в доме.

Вот тогда я приеду — и нас с тобой водой не разольешь. Жди меня, а пока умней. Целую тебя.

Папа.

Елене Гиляровой

17.11.70

Леночка, здравствуй!

Как всегда, очень рад твоему письму, но ответу на сей раз, кажется, немногим: у меня по режиму дня осталось не более 10 минут. Начну с вопроса. Будут ли у тебя еще встречи с Рыжиками¹? Если да, то скажи им, то есть Володе главным образом: пусть не вбивает себе в голову глупости (мне о них доложила в свое время Татка²) и еще раз узнает, что уж я никак не намерен пробрасываться старым товариществом. Вашему прутковскому вечеру я тепло позавидовал: это связано с воспоминаниями об аналогичных вечерах в доме у Рыжих. Я любил в свое время Пруткова или был уверен, что люблю его: сейчас это трудно проверить за отсутствием нужного душевного состояния.

Гера присылал мне пару стихов Д. Самойлова, одно из них — о чувстве света у слепых — мне понравилось, но очень может быть, что я уже об этом писал. — Склероз! — Я сейчас пытаюсь вспомнить стихи, которые я у него запомнил. Их немало, но все как-то были событиями, особенно «Пестель, Анна и поэт» и «Баллада о маленьком цензоре» (так, кажется?). Хорошо бы, если б он и человеком был хорошим, но так это и должно быть, судя по стихам.

Жалко, что ты не досмотрела «Начало»: мне его хвалили люди с большим вкусом, а игру Чуриковой они вообще считают явлением чуда: очередное восьмое чудо света.

Ты все хорошо объяснила про греков и про Восток. Но дело в том, что там (на Ближнем Востоке и в Индии в первую очередь) и наметилось русско-немецкое явление высокой и совестливой интеллигенции, не приемлющей современные нормы. Вспомни всех подряд библейских пророков, особенно Исайю, Иеремию, Наума. Вспомни и Будду и сопоставь их с утопией Платона или этическими теориями Аристотеля. У последних, конечно же, интеллектуальное

¹ Владимир Лебедев (1938—2010) и его жена Елена (1940—2002), прозванные друзьями «Рыжие» — товарищи Габая по МГПИ.

² Татьяна Баева.

преимущество, но это опять же как раз случай, отмеченный в «Докторе Фаустусе», — случай интеллектуального высокомерия.

Перечитываю сейчас «Иосифа» (второй раз). Дочитаю и поболтаю с тобой непременно. Может, это все и претенциозно, но мне, по чести, важнее наметить какие-то мысли по этим вопросам, чем отчитаться в неважной и имеющей быть долго неважной погоде. Кроме того, никакую погоду я изменить не в силах, даже пробовать не стану.

Стихотворение Твардовского хорошее: точнее, человек, стоящий за этим стихотворением, очень хороший, искренний. Он редко в стихах открывает для меня новую точку зрения (как это было со стихами из романа Пастернака) и новый мир, но и совпадение взглядов, хорошо сформулированное, уже немало.

Послезавтра половина назначенного мне судом срока. Зима, весна, лето, зима, весна — глядишь, и встретимся. Как-то она произойдет, наша встреча. Какова будет степень респектабельности Валерия Самсоновича, Ольги Валерияновны и Николая Валерия Публия¹. Уверен, что они будут здоровы, благополучны и более или менее довольны ходом своих дел. Чего я им и тебе желаю, дружески разлучаясь с тобой в этом письме.

Твой Илья.

Георгию Борисовичу Федорову

18.11.70

Доктору так отвечает очкастый и хилый курильщик:

Низкий поклон Вам, сарматкунашедший профессор!
Ваше письмо лучезарней улыбки Киприды!
Только почто мне не пишут лилейнораменная Ваша супруга
С мудрою дочерью, постигшей все Фебовы тайны?

¹ Муж и дети Е. Гиляровой.

Кстати, Георгий Борисович. Что такое лилейные? Лиловые? Неужели эллины считали красивыми лиловые плечи? Ну и ну!

Очень рад Вашему сообщению о Твардовском, но боюсь, что это временно. В свое время меня осведомляли о ходе болезни Казакевича (в таком я был кругу), и все его облегчения оказывались иллюзорными. Дай-то бог, чтобы история в этом случае не повторилась.

Мне одна приятельница переписала из его сборника очень умное, по мне, стихотворение. Там речь идет о том, что ничто и никто не в силах сладить со стихами: «За каким-то минувшим сроком — И у времени с языка Вдруг срывается ненароком Из того же стишка строка». Так-то оно так, проверено это, и точно и в перспективе весьма утешительно. Только я, по своей въедливости, перевожу всегда такие проекции на житейские разряды, и в этом случае нестерпима становится мысль о многих прекрасных талантах, которых неизменно ставили перед выбором Иоанна Предтечи или Галилея. Но это невеселая тема, тем более, что строки все же всплывают действительно <...>

Крепко целую Вас и Ваше семейство и сердечно приветствую наших общих знакомых.

До свидания. Илья.

Марку Харитонову

25.11.70

Здравствуй, дорогой мой!

Хотел назвать тебя (по привычке к литературным пошлостям) «моим дорогим Зоилом», но вовремя удержался. Чем и горжусь.

Живу я сейчас под знаком предстоящего через три дня свидания с Галей. Из всех информации, которые я ожидаю, меня, пожалуй, более всего волнует история с Юрой Диковым¹. Галя пишет об этом хоть и взволнованно, но глухо и темно. Надеюсь, что дело не дойдет

¹ Ю.П. Диков, доктор геолого-минералогических наук.

опять до самоубийств и долгих болезней. Тебе бы надо как-то вырваться из своих очень серьезных (не сочти за иронию, я говорю об этом уважительно) занятий и пригреть его: это ему может очень помочь. Передай ему и слова моей неизменной нежности: по-моему, у нас были искренние и доверительные отношения, и эти слова ему не будут неприятны.

Понимаю твое ощущение по поводу теологических споров. Он чудесный и умный парень, но его религиозность мне тоже всегда казалась внушенной и надрывной и вызывала в данном конкретном случае большую досаду. Иное дело А.Э. Левитин¹. Знаешь ли ты его? Мы с ним обменялись несколькими небольшими письмами на теологические темы, и боюсь, что из моей жадности умничать (по-моему, жадности в теперешнем моем состоянии более или менее объяснимой) я наговорил кучу бестактностей <...>

Насчет моего поумнения ты заблуждаешься уж точно. Книги я читаю, пожалуй, по инерции и для поддержки внутреннего духа. Не думаю, что КПД слишком ощутителен; вот тут я жалею об институтских временах: сдать бы экзамены и проверить самого себя. В философии я застрял где-то на Платоне, а в будничные дни перечитал новыми несколько глазами «Иосифа»². Перечитал я с удивительным восторгом и приподнятостью, впору начинать в третий раз сначала, но повременю 3—4 месяца. Между прочим, едва ли не самое его высокое качество — уважение к читателю, его трудоспособности и желанию вникнуть. Он-то должен был помнить (да еще в те годы), что и тысячная часть читателей Германии не осилит ни его мыслей, ни его роли гида на обширной территории — сфера — земля — колодец, ни его иронии, ни стиля. Это я не для сравнения, пойми правильно: для принципа. Что касается моих небрежностей, ты кругом прав, дорогой мой зоил (ввернул все же). Только не в конкретном случае: камень — подаянье — это у Лермонтова частный случай, а вообще-то — устойчивая фразеология от заповедных, едва ли не библейских времен. Мой Иов

¹ А.Э. Краснов-Левитин (1915—1991) — церковный писатель, диссидент.

² Имеется в виду роман Т. Манна «Иосиф и его братья».

должен был просить не куска хлеба, и взор его являл бы живую муку по иному поводу совсем. Впрочем, пустое это дело обсуждать строки, списанные мной, канувшие давно по разряду «забытое и неопубликованное» (по счастью). А в остальном ты кругом прав, только не в принципе. Потому что «горы пусть рисует мой друг»¹ — это неумелый, но все-таки протест по поводу повсеместной сейчас имитации художнической и вообще духовной жизни. Говоря опять же высокими сравнениями — что перевешивает: явление Непомука-Эхо — или «треугольная груша»². Впрочем, большой разговор непременно сбивается на совершенную приблизительность — потому я и умолкаю. Благодарю тебя — очень и искренно. И обнимаю тебя, Галку, детей.

Твой Илья.

Герцену Копылову

26.11.70

<...> Погода здесь переменчива (это я подхватываю предложенный тобой светский разговор), то кажется, что ты стал совсем аборигеном и все тебе нипочем, то, что ан нет.

Получил я недавно письмо от Людочки Дегтяревой из Молдавии. У нее такой щебет; кажется, она рада своему замужнему состоянию, хотя и очень старается представить, что все как раз наоборот. Не могу удержаться от сплетни. Тем более что я уверен, что ты будешь польщен, хотя тоже постараешься представить, что все как раз наоборот. Ну так вот, она очень и очень вжилась в роль пушкинской Марии (ты, стало быть, его же Мазепа). С грустной улыбкой смирения с судьбой пишет она о своих несбыточных и несбывшихся надеждах, о том светлом ощущении, которые рождает в душе ее одна только мысль о тебе. Ну, я ее стал урезонивать. Подумай, — сказал

¹ См. прим. 1 на стр. 91.

² Непомук (Эхо) — персонаж романа Т. Манна «Доктор Фаустус», маленький мальчик, смерть которого потрясла героя. «Треугольная груша» — название поэмы А. Вознесенского.

я, — подумай, кто ты и кто он? Что ты понимаешь в измерениях разностей времен продолжительностью 0,0000....0!сек? Сможешь ли ты прочесть хотя бы одну строчку из работ А. Эйнштейна? Ну и все в том же роде. Так что, думаю, ты можешь быть спокоен: она не сбежит после моего выговора от своего мужа и не потащит тебя к венцу.

Георгий Борисович писал мне о Твардовском успокоительно, но я и сам догадывался, что все это при раке иллюзорно. Грустно будет без него: я уж не говорю о нем как человеку-редактору, но и поэт он по особой (не моей) линии хороший и правильный.

В Москве много выставок как раз сейчас, так что рекомендую тебе оторваться все же от своего сельского синхрофазотрона и капитально побывать в Москве. Мне нечего, наверно, и говорить, что мне было бы приятно и здесь, если бы ты сделал своей резиденцией нашу квартиру.

Послезавтра встреча с Галей¹. Все мои мысли связаны с этим, кроме тех, которые не связаны. Прямо не верится, что смогу лицезреть свежемосковского человека. Скучаю я по столице — по ее людям и музеям, даже по обрыдшей когда-то кутерьме. Но все это обратимо, только в новом качестве. Потому что мы все-таки играем в древние исконные игры, видоизменяя их, конечно, но неизменно так или иначе возвращаемся на круги своя. Так, во всяком случае, заверяет роман о Иосифе, который ты, к стыду своему, не читал. И с этим упреком под занавес я прощаюсь с тобой, уповая на твое серьезное отношение к обязанностям писать мне. Обнимаю тебя.

Илья.

¹ 28—29 ноября 1970 года состоялось первое лагерное свидание И. Габая с женой.

Юлию Киму

5.12.1970

Радостно тебя приветствую, друг мой Юлик!

Преждевременно или с опозданием (как сработает почта — бог весть), но поздравляю тебя с тезоименитством. Для нас это как-то всегда было событием, и очень жаль, что я во второй раз не могу захватить к тебе по этому поводу, и в третий раз не смогу. Но ты сам понимаешь — чего я тебе могу желать: успехов, братец, успехов во всем — в песнях, стихах, семейной жизни. Тексты твоих песен почитал с упоением, тут же сел музицировать, но от посылки нот воздерживаюсь: по причине известной тебе моей склонности к музыке, моего изощренного слуха и знания муз. грамоты все это может тебя разве потешить. Но все равно — музицирую — и хоть брось.

Галя, я думаю, подробнейшим образом проинформировала вас всех о нашем randevu. Ну, я себя и чувствую после всего этого русским человеком на randevu. Все было счастливо, но, как водится, о многом забыл порасспросить и многое не сумел рассказать <...>

То, что ты пишешь о Вите Красине, со всех сторон грустно. Во-первых, что ему, человеку из нас наиболее русскому, делать в Израиле, — ума не приложу. А во-вторых, безумно жаль Надю. Она человек сильный, и письма у нее бодрые, но состояние ее, стало быть, не из веселых. Так и получается у всех нас, самых лучших из нашего брата даже, что всякие наши беды и проблемы ложатся на бабьи плечи. Ну, бог даст, как-нибудь все образуется. На лучшее, чем как-нибудь, рассчитывать в этих случаях трудновато.

Галя должна была более или менее рассказать о моей жизни. Может, она станет там сокрушаться по поводу моего внешнего вида и прочего, — так ты не очень принимай это близко к сердцу: она в этом случае человек пристрастный. Отвечаю на твои вопросы: перевод в другую бригаду связан с внутренними реорганизациями и отсутствием у меня рабочей специальности. Бригада похуже в общежитейском смысле, но терпимо. В секции живет целиком бригада: как любил говаривать Агриколянский, — п о р я д к о м

40 человек. Народ как всякий не очень духовно близкий народ, но притерпеться, особенно если неуклонно проводить свободные часы в своих целях, вполне можно. Амнистия есть, совсем не пышная вообще, а на мою статью просто не распространяется. Но я и не возлагал никаких надежд.

Поблагодари за меня тестя и Валю за записки, я скоро им напишу и заодно Сарру Лазаревну поздравлю с днем рождения.

Еще раз: всего тебе, Ирке (стало быть, снова тебе) всего доброго. Крепко тебя целую.

Илья.

Нине Валентиновне и Алине Ким

5.12.70

Нина Валентиновна, Алинька, милые человеки!

Не сердитесь на меня, пожалуйста, особенно Вы, Нина Валентиновна, за некоторую задержку с ответом. Понимаете, какое дело: свиданьице у меня было. Личное. Трепетное и интимное. Ну, и отодвинулись все мои государственные обязанности, так как личное в коей раз потеснило общественное. Таков мой организм.

Спешу поздравить Вас, Нина Валентиновна, с сыном и тебя, Алинька, с братцем. Очень это вы в свое время здорово придумали породить Юлика. Всем очень даже приятно, мне особенно. Я поэтому и ворчать на ваши письма не стану: потому как обязан Вам в некотором роде другом сердечным.

Прочитал я Ваше, Нина Валентиновна, вкусно написанное письмо и начал сокрушаться. Все мне, значит, судьба дала: путь славный, имя громкое народного защитника и прочая, — а ведь, в сущности, призвание мое — быть пенсионером. Ваше письмо убедило меня в этом неопровержимо. Эх, ежели бы я родился пенсионером! Уж я бы, Нина Валентиновна, и не подумал бы кормить какого-то там Марата — пушай [нрзб] в гимназии, а только бы и делал, что читал переводные французские романы. Сю — очень неплохо,

о Дюма-фисе я и не говорю, ну а для серьезного чтения настоятельно рекомендую Поль де Кока. В свет я выезжал бы очень редко (кстати, и выезд бы сохранился бы во всем великолепии), а принимал бы у себя по пятницам. Был бы у меня какой-нибудь оригинальный раут. Марат прислуживал бы в ливрее пижамного колера, разнося дорогим гостям бокалы с бургундским и бутерброды с килькой. Светские обязанности выполняла бы Алинька, а я хранил бы важное молчание, только вставлял бы какие-нибудь фразы. Например: «Может быть, вы и правы, но, помилуйте, а как же быть с эдиповым комплексом?» Заманчиво все это, и я коплю черную зависть в отношении всех пенсионеров без исключения.

Кстати, уж я бы не позволил никаких Алиных ночных дежурств. Знаю я эти дежурства, тоже был молодым. Хочется дежурить — изволь: есть дома пенсионер. Я бы безотказно рассказывал бы о своих колитах и коликах, и моему домашнему врачу было бы интересно и пользительно.

А всерьез: если бы я мог быть к вам в надлежащей близости, я отдал бы свои бронхи науке и Алинькиной диссертации. Знай себе изучай, каковы они у курящих, и строчи свой научный труд.

Не в упрек, но хочу я вам всем сказать еще вот что: будете лениться, я пойду к вам в секретари — сам себе буду строчить письма от вашего имени.

Что это за «Оливер» такой? Мюзикл или просто фильм по Диккенсу? Картины Нади Рушевой я видел в свое время в очень ограниченном количестве: была какая-то небольшая выставка в «Юности» этой девочки. Талантлива она и тонка, художественна безмерно, очень жаль, что она так рано умерла. Не думаю, Алинька, что ты права: кто знает, в чем миссия человека, — может, просто жить и приносить этим радость десятку людей, — да и вряд ли в 17—18 лет исчерпывается творчество.

Галя привезла мне несколько «Новых миров», я сразу же проглотил «Бойню № 5». Ну и укрепился в давнишнем своем убеждении, о котором вам уже писал: изощренность формы в конечном счете создает впечатление не очень уж серьезного переживания, снимает болевые впечатления такой больной темы. Там же я еще почитал

поэму Евтушенко о Казанском университете, но об этом как-то даже и говорить неприлично. А больше я ничего примечательного в последнюю неделю не прочитал, но с нового года надеюсь, так как подписан на много чего. Но это не освобождает меня от обязанности два-три раза в месяц отвечать на ваши письма (тончайший намек!).

С тем я вас всех приветствую, целую и желаю неизбывно добра.

Ваш Илья.

Марку Харитонову

9.12.70

Здравствуй, друг мой!

Из журнала «Знание — сила», который привезла мне Галя и в котором напечатан перевод Володи Тельникова¹, я узнал, что ты причастен и к неведомой мне науке — паремиологии² (не вру названия?). Фамилию твоего рецензируемого я слышал и раньше в восторженном пересказе Бори Парникеля³ его статьи, которая должна была пойти в «Азию и Африку». Думаю, что ты и редакция правы, но все-таки жалею, что ты не догадался прислать с Галей журналы с твоими статьями. Статью твою о иронии я помню плохо, и твой публицистический стиль, логика твоих суждений для меня в тумане (письма не в счет). Буду теперь ждать первого номера «Иностранной литературы», на который Галя меня подписала.

Воннегут на меня глубокого впечатления не произвел (я имею в виду, разумеется, «Бойню № 5»). Вряд ли стоит объяснять тебе,

¹ В переводе В. Тельникова (см. прим. 3 на стр. 100). вышел роман У. Голдинга «Повелитель мух».

² Паремиология — раздел филологии, посвященный изучению паремий: пословиц, пословичных выражений и других изречений. В журнале «Знание — сила» (1969. № 10) была напечатана рецензия М. Харитонову на книгу Г.Л. Пермякова «Избранные пословицы и поговорки народов Востока ("Менделеевская таблица пословиц")».

³ Борис Парникель (1934—2004) — востоковед-малаист.

почему: мое теперешнее литературное кредо более или менее объяснено в первых еще письмах к тебе из лагеря. Коротко говоря, обилие ходов и придумок заставляют сомневаться в том, что автор болезненно чувствует свою тему — скорее, он весь в профессиональных заботах, а тема ему просто более знакома. А фашизм, война, ее жертвы — совсем, по-моему, не предмет для литературных забав. Что, с одной стороны, Петер Вейс, что, с другой, Воннегут — все как-то удачные слова, слова, слова и только.

Мне очень трудно объяснить эти самые пресловутые «горы»¹. Стихи эти, безусловно, плохие, но вопрос поставлен для меня очень важный. Только как начнешь в нем разбираться, обязательно наслаиваются все про и контра, и запутываешься. В те времена, когда я его писал, очень свежи были у меня воспоминания о разговорах с Юрой К. Человек он очень блестящий, но, как я вспоминаю и как думаю, совершенно не горячий и не холодный, равнодушный ко всему на свете, в том числе и к искусству, если не считать его некоторых формальных принципов. Между тем в мире все-таки существуют и утраты, и невежество, и победное шествие хамства и зла, и наше недостойное поведение. Здесь может быть безусловное, органичное явление Фета в «Дневниках» Достоевского перед лицом Лиссабонского землетрясения — кто же вправе упрекнуть человека, что он живет в своем мире. «Горы» — это все-таки не свой внутренний мир, а равнодушное, хотя и искусное, особенно на неискушенный взгляд, проектирование его. Это — прекрасная почва для пилатства. Один мой знакомый, который в основном занимался хождением в гости, говаривал, что его удерживают от поступков интересы нации, которой будет трудно без него. Не думаю, что твой пример с «Волшебной горой» удачен. Высокая человеческая проблема — человек с глубоким внутренним миром перед лицом вселенской катастрофы, — невозможность «волшебной горы», покоя, отрешенности — и гора «по»: по Пикассо, скажем, или попробовать по Кандинскому. Что и говорить, когда, собственно, «Фаустус», которого я тогда еще не

¹ «Мой друг рисует горы» — начало известной песни Ады Якушевой. И. Габай использует эту строку в качестве эпиграфа к главе «Отступление по поводу святого искусства» (в «Книге Иова»), которая заканчивается словами: «А горы пусть рисует мой друг».

прочитал, ответил на этот вопрос, по-моему, только грандиозно: полный крах гения именно из-за невозможности любви, детской привязанности и пр.

Жаль, еще раз повторяю, что так поспешно ведется разговор на серьезную тему из-за малоудачных моих стихов. Да и положение у меня в этой связи весьма сомнительное: будто я защищаю свои стихи. А я ведь защищаю только свою точку зрения.

Сделаны ли у тебя хотя бы наброски, составлен хотя бы план статьи «Достоевский и Т. Манн»? Прислал бы мне тогда, дружище, основные свои соображения. Это ведь как раз и есть для меня предмет первоочередных интересов. Извини меня за бестолковое письмо: толково-то можно написать разве что статью по всем вопросам, основательно и скрупулезно их проработав <...>

Обнимаю тебя. Илья.

Елене Гиляровой

9.12.70

Добрый день, Леночка! <...>

Среди книг, которые привезла мне Галя, был и сборничек Ахмадулиной. Ну я и вспомнил ту хамскую выходку с ней во Дворце спорта. Я тогда тебя единственный раз видел плачущей; меня тоже тогда всего перевернуло. Я, по-моему, тогда впервые почувствовал в такой степени незащищенность таланта и интеллигентности перед толпой; еще раз, в другом качестве остроты это сказалось у здания суда, где шел процесс Павла и других¹. Сборник Ахмадулиной называется «Уроки музыки», и ты его, конечно же, читала. (Кстати, сохранила ли ты былую связь с Книжной палатой? Спрашиваю небескорыстно.) Она, конечно, завидно классична; в ней есть гармония, отсутствие клочковатости, характерное, например, для моих и иже

¹ Известный процесс по поводу августовской демонстрации 1968 года на Красной площади. Габай писал о нем в статье «У закрытых дверей открытого суда».

со мной стихов. Совершенно особняком — очень высоки — на мой взгляд, все та же поэма о дожде и поэма об антикварном магазине. С какого-то места сборник стал угнетать меня одинаковостью риторических приемов, строфики, размеров, хотя я и отдаю себе отчет, что для одного временного цикла это вполне объяснимо. А Тарковский произвел на меня впечатление глубокое, более сильное, чем Ахмадулина, даже более сильное, чем стихи Самойлова. Хотя и здесь (это не в упрек) очень интересно в любом сборнике вырисовывается ограниченность, вернее, привязанность к теме, способу размышления и чувствования, неизбежная вариация отстраненного словаря. Это у всех поэтов, у Пушкина не меньше, чем у Тарковского; никому из больших поэтов не удастся, а может, и не хочется этого прятать.

О фильме «Начало» я опять тебе ничего не могу сказать: не видел, не знаю. Думаю, что ты непохоже на себя неправа в двух вещах: в том, что очень строго судишь по части только увиденного (подозреваю, что это не без помощи очень понятной мне ненависти к общему, людному, мнению), и, кроме того, в том, что безоговорочно исключаешь просто быт, даже мелодраму из сферы киноискусства. Они ведь могут еще и поражать, если качественно новы и свежи. Не знаю, как некрасива Чурикова. Я помню, лет 12 назад прошли два-три испано-американских фильма (один, помню, назывался «Главная улица»). Там все строилось на конфликте некрасивой женщины, и мне было и горько, и гадко. Тема некрасивой женщины, по-моему, слишком большая и трепетная, особенно в родах искусства, связанных со зрительным восприятием (вот у Заболоцкого это получилось и высоко, и тактично). В природе есть величественное уродство, для меня это прочно ассоциируется с верблюдом; я встречал великодушное (?) уродство мужчин. А вот у женщин, когда тебя тычут в то, что ее некрасивость — причина несчастья, переносить это так же, наверно, трудно, как глухоту Бетховена.

Воспоминания Ив. Панаева я читал; его супруги тоже, и последние в то время были более интересны. Я, конечно, теперь уже мало что помню, но с оценкой самого Панаева безоговорочно соглашаюсь.

Как тебе съездилось в Ленинград? Давненько мы там с тобой не бывали. Когда это мы с тобой встретились в Казанском? Кажись, в 59-м или 60-м. Охо-хо. Я с той поры был там еще раза три, и все зимой. Город для меня чисто экскурсионный, в сплошном потоке впечатлений, из которых, пожалуй, наиболее глубокие «Блудный сын» в Эрмитаже и Пушкинский дом на Мойке. И еще «Горе от ума» у Товстоногова. Ты молодец, что купила пластинки с «Идиотом». У Юлика они есть, и я их у него пару раз слушал. Но сам покупать не стал: не представлял, чтобы мне захотелось дома целый вечер слушать не музыку.

Гера Копылов (знаешь ли ты его?) прислал мне чудесные стихи совершенно мне не известного поэта Владислава Ходакова. После свидания я получил десять писем от друзей и близких — тем и греюсь.

Не обращай внимания на задержки с почтой и все равно старайся писать. Время зимнее, самолеты плохо ходят, то-се. И письмишко твое, как ты выражаешься, вовсе нескучное. Жду ответа, что говорится, как соловей (и я, грешный, тоже) лета. Сердечный привет Валерию, детишкам, Ире, всем.

Всегда твой Илья.

Марку Харитонову

20.12.70

Так и не дождавшись вашего обстоятельного письма, почтенный Сергеич, спешу все-таки поздравить тебя, Галю, заодно и детишек твоя с наступающим годиком. Да и ниспошлет тебе провидение удовлетворения в своих делах, успехов, радостей и малости свободного времени тебе и Галочке. Прости за общий и проходной тон поздравления: все-таки это не очень-то мой жанр. С Иосифом мне здесь никак не постязаться.

О том, что Валера и Лена в Ленинграде, я знаю из их писем. Жаль, что у нас нет с тобой общих ленинградских воспоминаний, — с Леночкой

они есть. Но зато хватает многих других, и славно все-таки, что помимо всего прочего связывает нас с тобой в сей юдоли и общая земная теплота. И — аминь: на этом кончаю с полуюродивым тоном объяснений.

Из всяких там моих читательских впечатлений последнего времени — наиболее сильное ст<атья> Бурсова о личности Достоевского в двенадцатой книжке «Звезды» за 1969 год. Интересно, появилась ли за это время вторая часть этой статьи? Мне показалось, что автор немного перехватывает в своих стремлениях к постоянной диалектичности. То есть он (вослед Достоевскому самому) все пытается опровергать самого себя, и в какой-то момент, на мой взгляд, это становится малость навязчивым. Еще у меня одно занудное, ни на чем не основанное ощущение, что для своих поворотов темы Бурсов все-таки производит строгий отбор писем. Благо, широкому читателю (мне в том числе) это никак не проверить — где уж, не до таких специальных и кропотливых архивных изысканий. Но в принципе работа для нашего литературоведения не очень-то обычная, метод и выводы не набили еще оскомины, и прочел я все это с упоенным интересом. По-моему еще, Бурсов совершенно прав (как и Чуковский в свое время) в оценке уровня литературоведческих сил и принципов Мережковского (и Льва Шестова, и раннего Бердяева, и иже с ними). Я, конечно, отбрасываю слово «декадент» как ругательство (надо бы и поругаться, да по существующим условиям это все-таки еще подловато; вот и печальный пример — статьи Лифшица, который, я уверен, никак не подловат, но ругаться затеял не ко времени), и все-таки та же статья Мережковского о Толстом и Достоевском — она в иные, лучшие немного, времена, была предметом нашего разговора — грешит некоторой легковесностью и безапелляционностью наоборот (то есть набором прописных истин, которые только по прошествии долгого времени кажутся не прописными, а свежими).

А вообще, голубчик, я все-таки становлюсь ретроградом. Вот и Лифшиц, уже упомянутый, при неприемлемости его вкуса для меня, все-таки в чем-то крепко мне симпатичен. Не помню, писал ли я тебе, что меня остановила его работа ранних лет — вступительная

статья к Винкельману. Среди прочего у него есть одна очень меткая фраза. Смысл ее таков: «Главная особенность современного мещанина в стремлении к оригинальности». (Я это изложил коряво, у него как-то хлестче и точнее — да не помню как.) Фраза по адресу — и по моему в том числе.

Еще я доперечитываю Фолкнера — осталось совсем немного.

Есть, дорогой мой, и некоторые поводы для житейских огорчений — но в предвидении нового, не високосного года это все побоку. Еще раз: всех благ тебе и твоим, с тем я тебя и обнимаю.

Илья.

Семье Зиман

20.12.70

Приветик, ребятки!

В ответ на ваши предерзостные упрёки в молчании отвечаю: упрёки не по адресу. Я ответил своевременно и пространно; видимо, помешали снежные заносы от Кемерово до Москвы или почтовый самолет подвергся гнусному нападению и был угнан в Турцию.

Галя прислала мне фотографию вашей Анютки. С черепахой. И я с великой грустью почувствовал себя тем самым Ахиллесом, который так никогда и не догонит черепахи. То есть я хочу сказать, что увяданьем тра-та-та охвачен, я уже не буду молодым. Словом, меня охватило упоение пошлостью, потому я и почтительно умолкаю.

Как-то себя чувствует сейчас Белла Исааковна? Вы уж меня, други мои, простите, но, поздравляя вас с новеньким годиком (сейчас я это делаю), я прежде всего именно это и хочу пожелать: здоровья Белле Исааковне. Ну, а уж потом, Аллочка Александровна, чтобы ты знала алфавит, как я, например, «Отче наш». И уж совсем, совсем потом — чтобы Леня наконец добился вождяленного места нашего полпреда в Италии и Абиссинии.

Как же так ничего интересного в кино? А Юлик мне написал про новый фильм Феллини — «Сатирикон». Ты, конечно, скажешь, что

ты не любишь Петрония, но все-таки фильм-то есть. Мне вообще кажется, что это вы, жалея меня, все пишете: ничего хорошего нет, в журналах печатают одни объявления о косметике, в кино идут одни надоевшие нам фильмы о Бонде, так что не завидуй. А то из самого прозаического подхалимажа: ты, мол, уехал — и заглохла без тебя столичная культурная жизнь, затюрилась, затоварилась.

Как же так, Леня, — к лучшему, что ты не занимаешься итальянской педагогикой. Это же, наконец, просто не патриотично. Ты же знаешь, что страна буквально задыхается от нехватки песталлоццистов. Правда, коменсковедов¹ сейчас пока хватает, и то слава богу. Но с другой стороны, я знаю твою увлеченность и боюсь, как бы это не дало крен. Вдруг да в научно-педагогическом наследии начальника отдела сектора методических внушений и наставлений Министерства нефтяной промышленности окажется засилье веяний романских. По-прежнему ли, кстати, увлекается Аллочка романсами?

Пишите мне почаще. И да уподобится ваше ко мне отношение возрасту Аннушкиной черепахи. И да не уподобится ваше рвение скорости оной черепахи.

Всяких вам — новогодних и вечных — счастливых.

Целую крепко. Илья.

Пост, как говорится, скрипту:

..... — Это у меня нет слов, чтобы ответить на Аллочкину приписку (читай: отписку). И.

Алине Ким

20.12.70

Чего это ты не получаешь мои письма, дорогая Алинька? Я ответил тебе и Нине Валентиновне (оптом) где-то в самых первых

¹ Имеются в виду Иоганн Генрих Песталоцци, Ян Амос Коменский — классики педагогики.

числах декабря, ты уже давно должна была получить ответ этот. Нехорошо.

А вот что прислала фотографию — это хорошо. Сейчас уж я буду знать, с кем это я так усердно стремлюсь поддерживать связи. Согласись, что когда говоришь: «Я переписываюсь с диссертантом», — и только — это звучит хоть и почтительно, но недостаточно. А тут хоть живой человек, имею ее «неподвижную личность», и сразу же начинаешь верить, что такому человеку дороже туберкулеза и он не прекратит время от времени напоминать о себе. Меня уже и так многие подзабросили (слезу пускаю), еще немного — и я совсем потеряю «гордое терпенье».

Погодка у нас пока милостивая. Правда, впереди еще большой кусок декабря, январь, февраль, март — пальцев не хватает, чтобы считать зиму. Пробьемся.

Еще я читаю. Не могу сказать, чтобы много, но старательно. Галья мне привезла стихи, из которых наиболее мне по сердцу сборник Арс. Тарковского (он еще, тем более, с автографом), журналы, я их проглотил, а сейчас доперечитываю трилогию Фолкнера. Сижу я здесь уже пятый месяц, приличные вполне люди обнаружили, хоть очень близких нету, да и вряд ли может быть. Вообще, здесь, можно сказать, большинство людей были бы порядочными, но что-то им мешало, а тут и подавно мешает, потому что приходится в чем-то отказывать себе, и существенно отказывать, а это требует некоторого благородства, жертвенности — непривычных, словом, вещей.

А не хочешь ли ты перейти в институт к Пиотровскому, ну, когда защитишься хотя бы. Или это по каким-либо научным да этическим соображениям неудобно?

Люди пишут мне: а в Москве-то выставки, кина всякие заграничные — а ты, поди, сидишь взаперти и пишешь вводную часть своего труда?

Вот и годик отшлепал. Еще столько же — годик, то есть, — да почти полстолька — и встретимся мы за рюмкой водки. Подорожала она, говорят, сильно? Ничего, придется скидываться на пятерых. Я тебя с этим, Новым, годом, очень и очень поздравляю. И Нину Валентиновну, и Марата, и всех Автозаводских и Рязанских — и всех.

Да быть тебе в нем, Новом году, кандидатом, и во всех остальных областях жизни не иметь повода для грусти и озабоченности. Крепко тебя целую.

Илья.

Герцену Копылову

22.12.70

Дорогой Гера!

<...> Я поздравляю тебя и твоих домашних с Новым годом. Это все-таки какой-то просветленный праздник, и поздравляю я с ним без малейшего душевного напряжения. Я, пожалуй, вот что хочу тебе пожелать: поменьше сокрушения, которое, на мой взгляд, угадывается между строк. Без печали, наверно, не обойтись; ну да будет она у тебя светлая — по-пушкински, по-эллински. И, разумеется, всех тебе научных и литературных успехов. Только мне вот кажется — да ты и сам как-то даешь это временами понять — что у тебя научные «запои» как-то буквализируются, то есть и в самом деле частично вроде благородного эрзаца алкоголя. Или я здесь неверно или неточно понял? Или, может стать, это как раз и есть случай «светлой» печали и ее благодатных последствий.

Я тебе с неделю назад не ответил на твое письмо, потому что только-только писал тогда тебе, ну и истощился. Ходасевич, а не Ходаков — это существенно меняет дело, — Ходасевича я более или менее знаю, это поэт крупный и очень талантливый; у меня среди книг должны быть и его стихи, «Европейская ночь», во всяком случае, абсолютно точно. А вот в эмигрантских статьях и воспоминаниях он какой-то очень похожий на Бунина в этом плане: злой, несправедливо придирчивый, даже склонен к сплетням и не очень-то красивой — газетной — терминологии. Одни его воспоминания о сотрудничестве в 1918 году с каким-то из отделов Наркомпроса очень интересны по материалу, но местами просто невыносимы по тону. Вячеслава Иванова я тоже читал, но этих стихов не помню. Он

переводчик очень интересный (насколько я могу судить, во всяком случае, поэт-переводчик очень интересный).

В последней из прочитанных мною «Литературок» был отчет о каком-то поэтическом заседании правления писателей. Я обратил внимание на то, что почти во всех выступлениях говорится об основоположнической роли Ал. Блока. Очень любопытно, как с годами расширяется сфера идеологического мира. Несколько лет назад к Горькому и Маяковскому прибавился Есенин, сейчас — Блок; кто на очереди?

Не знаю, чего уж там порассказала Галя. Все хорошо, кроме, пожалуй, морозиков. Они было отпустили на время, а вот сегодня стукнуло градусов 35. Говорят, может быть и больше. Масштабы для меня все-таки несколько грандиозные.

Я еще раз, Гера, желаю тебе года подобрей, потеплей и с удачами. С этим я обнимаю тебя и прощаюсь с тобой.

Илья.

Галине Гладковой

22.12.70

<...> Вот и мы с тобой в семидесятых¹, Гладкова! Хотелось бы мне, как бывало, провести этот праздник в компании с почтальоном² — уж тут бы я непременно попридержал бы занудные струны своей души. Сколько это мы с тобой повстречали Новых годов — общежитских и позже? Наверно, десять, не меньше? <...>

Я с большим удовольствием почитал перевод Володи³. Хотя и фантастика — жанр для меня чужеватый, и Воннегут даже романом не пленил меня, — все равно я испытал радостное чувство. Прежде всего, сам факт появления Володиного имени в октябре

¹ Начало стихотворения Габая 1961 г.

² См. прим. 1 на стр. 68.

³ Владимир Тельников (1937—1998) — муж Г. Гладковой, переводчик, журналист, политзаключенный.

этого года. Во-вторых, очень меня впечатлила стилистическая чистота и словесная точность — думаю, что это целиком переводческая заслуга. Ну, и сама мысль Воннегута традиционным как раз гуманизмом близка мне. Передай все это Володе с самыми моими теплыми словами и пожеланиями.

Я только что написал Гере об этом, но из-за скудости информации приходится повторяться. Я обратил внимание с отчета о заседании Правления ССП на тему гражданственности поэзии, что почти все выступающие, начиная с С. Михалкова (!), говорили о Блоке как об основоположнике, знаменосце, вечном примере. В наступающем году юбилей Б. Пастернака. Кто знает, кто знает? С одной стороны, каждое снятое табу радует, с другой — определенные лица как-то уж очень умело профанируют все, до чего они касаются; а главное, что без жертв они все равно не обойдутся: найдут кого-нибудь живого, попьют его кровушки, а лет через 20—40 после его смерти найдут для него благоговейные и умиленные слова.

Прощаюсь с тобой, Галка. Надеюсь, что для следующего письма ко мне ты найдешь силы «вложить его в конверт», «послунывить аккуратно и заклеить» и пр. и пр.

Пиши мне почаще, и бог с тобой!

Всего тебе и семейству твоему доброго. Крепко и нежно тебя целую.

Илья.

*Виктору Тимачеву*¹

22.12.70

Чего ж это ты, геологический бродяга?! В кои веки сподобился написать мне пару слов (бодягу — как ты считаешь, по-моему, нет), и из этой пары слов по крайней мере 1,9 — ругань! И водку я пью не так, и говорю не то.

¹ Виктор Тимачев (1935—1995) — геолог.

Насчет водки — не очень-то разопьешься, как я слышал. Овес-то нынче дорог! А что я мало пил в последние месяцы моей жизни — это ты врешь: не мало, а умеренно. Это, наверно, у меня такое предчувствие было, что скоро и довольно долго пить не придется, ну, я и забоялся резкой перемены климата <...>

Елене Семеке

28.12.70

Дорогая Леночка! <...>

То, что ты пишешь, для меня никак не очевидно, хотя думано-передумано об этом предостаточно, да вот и сейчас думается. У меня okazия как раз: я затеял поэму (будь она проклята, потому что никак не знаешь, получится ли и как получится: жанр такой) и там, что ни глава, приходится опровергать самого себя. Я там придумал довольно беспомощный ход: придумал персонажа (хотя он по структуре никак не положен — никакой персонаж), который со мной во всем спорит и с которым я вынужден буду во многом согласиться. Вот, например, лезет веховская мысль о том, что человеку противопоставлено бороться и только. Надо еще и жить — и сразу чувствуешь, что есть и обратная сторона, которую необходимо высказать. Или написал филиппику в адрес элиты (есть ведь в этом явлении некое душевное и интеллектуальное высокомерие, оборачивающееся на поверку не-Христом или не-Буддой), а потом вспоминаешь, ибо в элите и [нрзб] разгул хамства за ее пределами. Сказал о хамстве — и опять идет сцепление проблем и выводов. Барахтаешься, словом, и, кажется, каждый раз получается доктринерство. Вот и ты, например, радуешься множеству оттенков, восприятию красочности. Я и сам вспоминаю, какой дубоватостью оборачивается это пристрастие к графическим цветам (дубоватостью непреодоленной; мною, между прочим, тоже). Но ведь еще это восприятие многообразия может обернуться позицией созерцательности — и только, поклонением чистой прихоти (об этом я уже, как мог, написал в начале

своей поэмы). И в какой-то болевой ситуации должно же человека не радовать, что травка зеленеет и солнышко блестит, должен же он себя ограничивать, хотя бы и в ущерб тонкой истине, с риском той же дубоватости, черным и белым цветом, то есть пониманием: это ближе к добру, а это ближе к злу. Что не должно помешать, говоря словами давно любимого мной Фолкнера, что люди все-таки, эти сукины сыны, не злы — они просто невежественны.

Я, наверно, заморочил тебе голову — мигрени тебе и так, кажется, хватает — но ты сама виновата: подбросила горячее, вот я и разболтался.

Очень мне хочется, чтобы предстоящий год прошел у вас всех там под знаком трепетного дружества. Я б хотел как-то, чтобы все мои друзья, какими бы разными и противоречивыми они ни были, нашли бы нотку взаимной терпимости и сердечности. Но, понимая всю маниловскую изнанку этой воображаемой мной ситуации, надеюсь только, что все они научатся щадить друг друга — тем самым и меня. Ты, конечно, понимаешь, что я не влезаю этим ни в чьи личные дела <...>

Очень тебя целую. Илья.

Марку Харитонову

29.12.70

Здравствуй, дорогой мой Сергеич!

Так, наверное, будет и впредь — разминка с письмами. Но огорчаться по этому поводу нам, по-моему, все же не след: есть же нам при всех обстоятельствах что сказать друг другу.

Не знаю, известно ли тебе, что я тоже мимолетно знаком с Кавериним. Он, конечно, об этом, наверно, совсем не подозревает. Мы в конце 1966 года с Петей и Н (?) заходили к нему по сугубо деловым поводам. Интересно, как изменяется человек за десятилетия. В одном из номеров «Вопросов литературы», помнится, Каверин настойчиво порицал увлечение своей молодости — Гофмана, которого

он, по его словам, с той поры и не перечитывал, вообще немецкий фантастизм. Интересно, как мы-то сами изменились? Текуче это как-то и совсем неуловимо. Но вот что я не могу понять, — это, как же он так легко согласился с самовлюбленными (во всяком случае, в твоей передаче) словами молодого человека. Его-то самого, по-моему, как раз и сблизает с Тарковским верность себе, неспособность к фальши. Ну, а у Тарковского еще плюс к тому много высших достоинств, которые меня, в отличие от молодого человека, никак не подвигают стыдиться современной русской словесности.

Ты упомянул Белова. Стыдно, но я совершенно не помню его произведений, кроме каких-то циклов рассказов о деревенском балагуре. Там для жанра этого балагурства придумано или взято из местной жизни какое-то особое словечко, но я безнадежно утерял это словцо. Прямо скажу, что это меня никак не пленило. Может, там и выведен народный характер, ну, так я к этому расейскому колабрюньонству всегда был предельно безразличен. Матрена у А.И. — это народный характер, потому что международный: библейский, разве что с русскими приметам. А более талантливое или менее талантливое щукарство — то же шукарство, разве что лубочное. Ладно.

Я сейчас, друг мой, мучаюсь очередной поэмой и в очередной раз; должно быть, не доведу ее до конца. Там, конечно, попытки углубления вечных (для меня) тем, спора с самим собой, но боюсь, что каждый раз теза и антитеза будет слишком категорична — потому и схематична. Избежать этого трудно. Написал 7 главков, как всегда у меня, без малейшей эпики, то есть отдельные стихи, которым жанр поэмы позволяет быть в контексте, а не законченными. Попытаюсь в ней посерьезнее — хотя бы пояснее — ответить и на вопрос о пресловутых «горах».

Галя расскажет, какие журналы я получаю. Все я получать не могу, и было бы великодушно с вашей стороны, с твоей в частности, если бы вы в марте передали с ней интересные номера не получаемых мной журналов. Нечего и говорить, что особенно мне интересны номера с твоими публикациями. Не раздаривай просто все до конца, оставляя экземпляр на мою долю.

Кажется, я тебе уже желал все, что мог пожелать по новогодней okazji. Но еще раз: самого лучшего тебе и любимому мною твоему семейству. Крепко тебя обнимаю и жду твоих весточек.

Илья.

Юлию Киму

Декабрь 1970

Драгоценнейший группкомыч¹!

Письмо твое — самая что ни на есть ложка к обеду. Я просто счастлив той частью мозга и сердца, которая отведена тебе (часть немалая, поверь мне), что у тебя, по крайней мере, если не все неплохо, то хотя бы не все плохо. Нероскошная жизнь (пользуюсь твоим эвфемизмом) — это все-таки грустно и утомительно, наверно. Но, кажется, последние 30 лет никто из нас не купался в злате-серебре, а самое главное, что ты при моральных и отчасти материальных стимулах дела, дорогого для многих и для меня, твоего непутового друга, в одну из первых очередей.

Работы в Красном Кресте (если я правильно понимаю характер этой работы)² — предостаточно. Оставь силы для песен. Ну, я хотел бы, чтобы не только песен, — но уж тут — как пишется; я не указчик.

Облизываюсь, читая перечисление твоих работ: наверно, это и мудро и красиво. Ну ладно, утешь меня обещанием бенефиса в мою честь сразу же по возвращении.

«Сов. России» я, понятное дело, не читал и не прочту в перспективе³. Если есть под рукой — пришли в письме вырезку.

¹ Имеется в виду членство Ю. Кима в профессиональном комитете литераторов (группоме). Для лиц, не имеющих постоянной работы и не являющихся членами творческих союзов, надо было числиться в одном из таких комитетов, чтобы милиция не обвинила их в тунеядстве. После увольнения из школы в 1968 году за правозащитную деятельность Ким постоянной работы не имел.

² Имеется в виду помощь семьям правозащитников.

³ В газете «Советская Россия» 18 ноября 1969 года была напечатана статья «Человек с двойным дном» о Ю. Киме.

Ты ничего не пишешь об «Как вам это понравится». Есть ли надежды? Как приняли «Недоросль»? Убей меня, я мало верю, что в спектакле есть еще что-нибудь, кроме твоих песен: уж очень пьеса-то скучна, мне кажется.

Я, когда у меня бывает свободное времечко и чистая голова, читаю философов. Беда, что и времени в обрез и сил, с отвычки, немного. Но бог даст, все образуется. Очень хочется сесть и написать много чего: я из Ташкента привез кучу [нрзб] стихов, из которой можно, поди, добыть жемчужное (оно же рациональное) зерно. Вот и надо сесть — я и надеюсь, как только стану уставать поменьше.

Напиши мне обо всех — об Эрике Красновском, который по-настоящему чудесный человек, о делах Димы¹. Передай твоим маме и сестричке, что я им напишу завтра: уже поздновато и темновато. А вот жена твоя и тесть² удручают меня своим гандизмом (я имею в виду их молчание). Уж лучше бы по-нашему, по-толстовски они «не могли бы молчать» и написали бы мне, ежели я чего не так сказал и не то сделал.

Не подражай им, ради бога, и дай тебе счастье быть довольным своим творчеством. Остаюсь в ожидании выпрошенного бенефиса и писем твоим верным и крепко обнимающим тебя другом.

Илья.

Герцену Копылову

2.1.71

Здравствуй, Гера!

Пишу я тебе уже в Новом году, очень трудно привыкаю к новой дате. Годик такой — промежуточный на этом этапе; не знаю, чего от него и ждать.

¹ Эрнст Красновский (1936—2008) — соученик по МГПИ, педагог. Дмитрий Рачков (1934—2003) — филолог, педагог, мемуарист, институтский друг Габая, был исключен из Сахалинского пединститута за «антисоветскую деятельность».

² Жена Ю. Кима — Ирина Якир (1948—1999) и ее отец Петр Якир.

Судя по программе, которую ты мне прислал, вашему городу прославленных физиков нужен элементарно грамотный корректор. Но при всем при том — программа завидная, а твое объяснение хоть и не написанное нотными знаками, но все-таки чуть-чуть придвинуло меня к концерту, имевшему быть в Дубне 20 дек<абря> 1970 г. Я уж не претендую на какую-то техническую музграмотность, но твоя программа просто убедила меня в основательном невежестве по части имен музгениев. Ну, я знаю, конечно, Стравинского, был на концерте А. Волконского — его «Мадригала», есть у меня прекрасная пластинка с Шютцем. Очень хотел последние годы услышать что-нибудь Шенберга, но не довелось. Так что знакомство с его музыкой у меня только теоретическое: с ее принципами, изложенными, как говорят, в «Докторе Фаустусе» <...>

Галя пишет мне о какой-то глубокой размолвке с Петром Якиром. Причины, о которых она сообщает, так придуманы и незначительны, что можно было бы обратить все в шутку, если б это так сильно не изводило и не трепало им нервы. Я знаю, что помочь ты здесь мало чем можешь, просто делюсь с тобой своей озабоченностью.

О польских событиях судить никак не берусь: узнал о них уже постфактум, как, очевидно, и большая часть населения нашей страны. Хорошо только, что по традиции польские истории не перекинулись в соседние страны. Там концы всегда драматичнее, чем на родине Мицкевича.

Мы, очевидно, разминулись письмами. В предыдущем письме я тебе уже писал, что читал некоторые статьи Ходасевича и впечатление у нас с тобой о них вполне совпало. Если в статье о Петрограде 1919 года рассказывается о Луначарском, жене Каменева, Ив. Руквишникове и пр., то мы говорим об одной и той же статье.

«Казанский университет» я прочитал с месяц назад: Галя привезла мне этот журнал с Евтушенко. Впечатление удручающее: набор более или менее известных житий с некоторым, хотя и современным подтекстом. Некоторые главы все-таки как-то лично затрагивают: напоминают знакомых людей и знакомые проблемы. Но плюс к этому все еще стирается очень убогим языком.

Впрочем, всем этим я, кажется, мучаюсь сейчас и сам, приступив к поэмке, которая идет с большим скрипом, туго. А Вознесенский, по моему, как-то очень быстро разоблачился. Оказалось, что у человека есть хорошие способности к видению или иногда к придумыванию видений, но ничего нет за душой, может, и самой души нет. Я перечитал недавно стихи Б. Ахмадулиной, ему посвященные. Она там очень сердечно говорит о чувстве дружбы вообще, но, при всем старании, о самом Вознесенском, по-моему, сердечно написать не смогла. Да и что за сердечность, когда она примерно так спорит с его автохарактеристикой: ты неправ, когда сравниваешь себя с аэропортом, нет, ты напоминаешь мне автопробег и пр. И в самом деле было бы это что-то из дружеских излиятий нежности, если бы, повторяюсь, о самой нужде в друзьях Ахмадулина не написала бы так искренне и верно.

У меня есть и некоторое огорчение: подписка моя запоздала, начну получать только с февраля. Это, при моем теперешнем книжном настрое, очень огорчительно. Буду надеяться, что хоть то, что мне выписали из дома, все-таки станут приносить в январе. Впрочем, в любом случае это ненадолго — а уж потом все будет в порядке.

Надеюсь, что и у тебя тоже. Более или менее, как у каждого. Во всяком случае, я тебе именно этого всею душой желаю.

Всего доброго. Твой Илья.

Елене Гиляровой

2.1.71

Здравствуй, Леночка!

Долгонько же ты молчала. Я, по правде говоря, полагаясь на твое обязательное и чуткое сердце, ждал, что ты напишешь пару слов еще из Ленинграда. Но понимаю, что могло быть совсем и не до этого — поэтому и прими первые строки моего письма не за упрек, а за нетерпение разбалованного тобой человека.

Материнские чувства — дело очень почтенное, но я очень рад за тебя: что ты на время отвлеклась от них и встряхнулась Ленинградом.

Я в Ленинграде, хоть и был несколько зимних раз, но, как оказалось, поверхностнее тебя: почти совсем не бродил — кроме Невского, улицы Росси, ну и случайных улиц проживания. Все больше ходил по картинным галереям да по театрам. Истоком этого была, как я сейчас понимаю, не такая уж всеядность, а какая-то внушенная и ставшая почти органичной о б я з а н н о с т ь. Ну, а потом залы становились знакомыми, кое-что любимым, и я просто уже не мог отвлекаться в отпущенное мне короткое ленинградское время. В Русском музее, например, было тогда много бубнововалетцев, которых совсем не было в Третьяковке, Альтман, из старых почему-то любимые мною «Гефсиманский сад» Ге и «Христос и грешница» Поленова, об Эрмитаже вообще говорить нечего, — словом, отличить спортивные истоки моих хождений от искренней привязанности сейчас и невозможно. А на Мойке меня ошеломил просто первый этаж, с бюллетенями о здоровье Пушкина в его последние дни. Это еще как-то и от документов у Вересаева, и от «Последних дней» Булгакова воспринималось всегда как главное трагическое событие эпохи, а здесь это приблизилось. Комнат я сейчас совсем не помню; только помню, что тоже повосхищался библиотекой, и ее планировка — несбыточная мечта. Помнишь, наверно: один стеллаж перпендикулярно пересекает комнату, межит ее, а под ним диванчик, столик — очень уютно и деловито. Петропавловку же мы, по-моему, тогда видели с тобой вместе; я что-то не склонен был тогда ужасаться слишком глубоко, хотя и воспринял все должным образом — и больше там не бывал.

Ты маленько сгустила краски: дней я, конечно, не считаю, — сам понимаю, что нельзя распускаться. Они как-то всеми подсчитаны здесь, мимоходом. Что касается планов, то тут я просто не знаю, о чем речь; да и какие у меня планы, мне никак не известно самому. Галя так что просто передала какую-нибудь обмолвку, предположение, мечту-с.

Картуш или картушь? То есть мужского или женского рода? Уточни мне, пожалуйста. Это мне нужно для осуществления моего «мильтоновского» замысла, о котором я тебе говорил когда-то. Я к нему вернулся, но получается убого — трудно, по крайней мере. Хочу не отступить; с одной стороны, сама работа греет, с другой, — хочется

написать позначительней и получше прежнего, и тяжело, что не на ком корректировать <...>

С чтением у меня сейчас слегка застопорилось: прочел всю бывшую у меня художественную литературу, а прочая вдруг стала не идти (она и до этого во многом шла от чувства долга перед ней). Еще это связано с тем, что я часочек-другой 2—3 раза в неделю пытаюсь, как я тебе доложил выше, писать.

Недавно раскачался и сходил наконец на фильм. Ее хвалили, может, ты видела — «Обвиняется в убийстве». И сценарист опытный: Агранович. Хвалить там по серьезному счету нечего: много морализаторства и вообще такой поднадоевший дух бытовых статей «Известий». Но все же я смотрел фильм в чем-то изнутри, о чем еще будет, я думаю, возможность и повод поговорить поподробнее <...>

Всего тебе доброго. Будь счастлива. Илья.

Виктору Тимачеву

5.1.71

Приветик!

Надеюсь, что ты еще не скоро, Витя, уедешь в дальние степи или на разведку в тайгу, — хоть это письмо тебя застанет. Я почему говорю «хоть» — потому что сразу же тебе ответил, и ты 100 лет назад должен был бы прочитать этот шедевр нецензурной печати. Так вот и получается обидно: объяснялся Машке в любви, куртуазничал с ней напропалую — она письма не получила, бранился с тобой — тот же эффект.

Галя мне написала, что произошла у нее какая-то передряга с Петей и ты в этом принял участие. Я отсюда мало что могу понять, только знаю: мне бы такие заботы. Тебе бы — еще добавлю — фуй плешивый, как сказал бы в свое время нобелевец, утихомиривать бы страсти, а ты, наоборот, как-то все время уходишь в них с все той же плешивой башкой. Ну, это побоку, потому что все в конце концов прояснится к лучшему. Жизнь прояснит, я надеюсь.

Я здесь в первые дни Нового года маленько загрустил без писем — одни открыточки да телеграммы, которым я тоже, ясное дело, рад, и очень, но которые обширных писем никак не заменяют, да и писали уже в прошлом году. Думаю еще, между прочим, что отсчет мой следует вести все-таки не с 19 мая, а с 1 января — так легче.

Писали мне очень огорчительные новости про житье-бытье Володи Дремлюги¹. Я пока не иду по его стопам, потому что никаких принципиальных поводов у меня не было, а по непринципиальным получается только свара. Тратить на это нервы и силы мне совсем неохота <...>

Не ответил еще и Саша Канаев, а я, среди прочего, хлопотал у него за одного своего здешнего парня, — чтобы можно было ему после апреля поехать в экспедицию. Он, между прочим, радист; может, вам и такие специалисты нужны?

Ну, живи и здравствуй. Кланяйся от меня всем, кому мои поклоны по сердцу.

Обнимаю тебя. Илья.

Нине Валентиновне Ким

8.1.71

Милая Нина Валентиновна!

Получив сегодня могучую кучку поздравительных открыток и писем, я справился в табеле о рангах своих сердечных влечений, и Вам — Вам, милостивая государыня моя! — отвечаю первой, после чего смею надеяться, что я как-то, но выберусь из своего предложения.

Только недавно отправил я письмо Вашей дочери, так что теперь и не знаю, что еще рассказать о себе. Разве что только то, что стал я теперь на недельку постарше. Но не помудрел, кажется. Отнюдь. О чем свидетельствует хотя бы тот факт, что я чуть ли не порадовался

¹ Владимир Дремлюга, один из семи участников демонстрации 25 августа 1968 г. на Красной площади, отбывал срок в лагере; был заключен в помещение камерного типа (ПКТ) за «нарушение режима».

выходу Маратика из отличников. Мы-то с Вами, дорогой мой коллега, блестяще знаем цену этого звания «отличник». Хотя, что говорить, этот негодник Марат подвел, конечно, своего классного руководителя снижением процента отличников и хорошистов в 5-м «Я» классе. Но переживет, я думаю, как и мы с Вами, бывалоча, выходили из этих неприятностей вполне живыми.

Завтра — суббота, и я надеюсь, что привезут фильм, мне совсем не интересный. Можно будет заняться тем временем чем-нибудь таким — для души.

Вы уже, конечно, очень давно приехали из Малоярославца, города, который мне неведом, но о котором я вполне наслышан и из-за которого имел в свое время некоторые неприятности. Не помню, рассказывал ли я Вам об этом. Дело было так. Проживал в оные времена в стольном городе Москва некий Яков Рославец, преподававший у нас в МГПИ русский язык (без литературы), Юлик его должен помнить. И вот вызвал он меня как-то писать на доске имена существительные. И написал я тогда вот чего: «Хороший малый Я. Рославец». Сейчас, по прошествии многого времени, я и не помню, сочинил ли я эту историю красного словца ради или что-нибудь в этом роде действительно имело место. Много с той поры воды утекло, было много молодого и веселого, а вот кое-что (кое-кто) остались же на всю жизнь. И среди них, дорогая Нина Валентиновна, — Ваше прекрасное чадо и мой друг — Юлик, от которого сегодня тоже имело быть письмецо. А еще, к очень приятному для меня изумлению, пришла открытка от Валерия Агриколянского¹. Я нимало не иронизирую, когда пишу, что к очень приятному. Это ведь лишнее подтверждение того, что я иногда по запальчивости забывал, но что всегда, наверно, хоть и сознавая того, исповедовал: что люди, если их не очень дергать и не очень мучить, — славные и хорошие существа. Но об этом и о многом о чем еще мы с Вами еще успеем поговорить, как только я выйду в 1972

¹ В.С. Агриколянский (1935—1981) — товарищ Габая с институтских времен, литературовед, специалист по польской литературе, кандидат наук, преподавал в Сахалинском пединституте, откуда был исключен за «антисоветскую деятельность». Недостовверные слухи о его поведении на допросах привели к разрыву со многими, что вместе с фактическим запретом на профессию вызвало тяжелую депрессию и раннюю смерть.

году на пенсию. Возьмем мы с Вами спицы или вышивание, сядем на солнышке и поперемоем косточки ближним своим — по нашей с Вами неисконной привычке. Если, конечно, не вовлекут меня в какое-нибудь этакое пенсионное общество по озеленению южнотайландских джунглей или по доставке песка в Сахару.

На том я и прекращаю милую моему сердцу, но не бесконечную же болтовню. И в ожидании писем крепко Вас целую, а всем близким и знакомым — бью челом.

Всегда Ваш

Илья.

Юлию Киму

Январь 1971

Дорогой Юлик!

Я не успел еще отправить сего письма, как получил от тебя обещанное длинное письмо. Свинство какое-то, что я не стараюсь писать разборчиво; этакая, подумаешь, поэтическая вольность. Обязательно впредь постараюсь стараться.

Ничем ты, дружище, материально мне помочь не можешь, да и нужды особой нету: кроме потребности в куреве, ни в чем таком я особенно не нуждаюсь. Да и с этим как-то удавалось крутиться.

С Витей Красиным произошло вот какое недоразумение. Пару недель назад получил я от него письмо и сразу же по достохвальной моей привычке ответил. И вот сегодня мой ответ пришел обратно — и поделом: адрес был «на деревню дедушке»: Красноярский край, ул. Мичурина и пр. — словом, без поселка. Простить себе не могу такой дурости, тем более сегодня пришла от него же недоуменная открытка. Завтра отошлю то же письмо, но с объяснениями. А тебе — не обессудь — уж послезавтра: не хочу загружать цензора более чем тремя письмами в день.

За что сидит Дремлюга в ПКТ? Что-нибудь из лагерных нарушений — или принципы? Первое я от себя решительно стараюсь уклонить где возможно: и именно потому, что оне — суть не принципы.

Я сейчас сам жалею, что ты не слушал моего последнего слова: тебе оно было бы понятно. Но очень уж я боялся тогда какого-нибудь писаренковского¹ фокуса-покуса, riskовать никак нельзя было <...>

Илья.

Марку Харитонову

10.1.71

Дорогой мой Марик!

Письмо твое от 23 декабря не прилетело на крыльях. Отнюдь: раз уж я получил его только вчера. Но это и немудрено в большом потоке новогодних корреспонденций на этот адрес. Между прочим, я тоже получил довольно много открыток и телеграмм, приуроченных к празднику, а, в ряду с прочим, очень меня согрела открытка от Валерия Агриколянского. То есть не сама открытка, а факт ее написания. Стало быть, как я и подозревал, мотивы его поступков якобы «страха ради иудейска» и только — значительно преувеличивались. Пишет он пока, понятное дело, малость заторможенно, но факта его порядочности и добрых намерений это никак не отменяет.

Твое изложение будущей работы я проглотил с огромным интересом. Но было бы самой высокой безответственностью, если бы, несмотря на большую или меньшую начитанность и заинтересованность в теме, я бы сейчас сунулся с полемикой или оценкой по существу. Я только попытаюсь выделить у тебя некоторые неясности по вопросу.

1) Не преувеличиваешь ли ты ироническое отношение к Сеттебрини и Нафте², их диалогу? То есть не смещаешь ли ты акценты этой иронии. Может быть, она порождена не ироническим отношением к концепции вообще, а просто, забегая вперед, автор подчеркивает

¹ Писаренко — судья на процессе в Ташкенте.

² Здесь и далее — персонажи романов Т. Манна «Волшебная гора» и «Доктор Фаустус».

бесплезность такого спора перед лицом макрокатастрофы — войны и микрокатастрофы — судьбы Касторпа?

2) Почему тебе хочется сделать упор именно на статье «Достоевский, но в меру»? Ведь при всем своеобразии личности Манна, основная мысль этой статьи, как я могу понять, в чем-то близка педагогически-горьковским воззрениям на «жестокий талант».

3) Очень соблазнительна эта идея немецкой, но не русской «середины». Но какая же нравственная «середица» у Ницше и его адептов? Чем отличается Достоевский от Ницше, в общем-то понятно: отношением к праицшеанству (Раскольников, Ставрогин, Ив. Карамазов), еще, может быть, пониманием неизбежности смердяковщины — Ницше такого фарсового варианта трагически не предвидел. Но, как это ни мракобесно звучит в моих устах (на фоне воспоминаний об отечественном литературоведении 40-х гг.), что-то их и сблизает, хотя бы возможность предположить это «все позволено», его альтернатива.

4) Цитирую тебя: «Его все-таки всю жизнь влекло (интерес к этому роднит его с Д.) к неким безднам, темным сторонам человеческого природы, к болезни и смерти». Но почему именно с Д.? Не с Г. (Гоголем), не с Т. (Толстым — «Три смерти», «Смерть Ивана Ильича»)? Не могу вспомнить и многих подтверждений — только «Доктор Фаустус», где это делается глазами любящего, но врача, а не изнутри. О «Волшебной горе» здесь и говорить нельзя: там же как раз случай не болезни, — бегства в болезнь.

5) Попутное замечание. Оно у меня бродит, и если ты найдешь в нем что-то, может, сумеешь развить. Не играет ли Серенус Цейтблом такую же роль, как рассказчик «Бесов» — обитатель Скотопригоньевска? Не нужен ли и тому и другому писателю такой в общем-то человеческий, но дюжинный взгляд на происходящее. Я хочу сказать о силе того и другого, когда речь идет о бесспорных человеческих оценках (у Д. — бесов, у М. — хотя бы охоты за ведьмами в историческом и современном аспектах). Но когда нужно оценить изнутри явление, не поддающееся простой градации, и Манн, и Д. прибегают к письмам и дневникам Леверкюна и Ставрогина (последнее, понятно, в редакции). Но здесь я увлекся

и полез с советами, на которые, повторяю, совсем не считаю себя сейчас готовым.

б) Пожалуй, последнее. Не могу предельно уяснить себе «сближение католицизма и социализма у Достоевского» (твои слова). Сближение их самих как антиподов Д.? Или Д. приближается к ним, хотя и клянет их всяко? Тогда в чем же? В идее соборности, вселенской церкви, что ли? Боюсь, что ты здесь просто темновато сформулировал свой тезис, и я не могу уловить мысль.

Читаю я сейчас сборник статей Дороша об искусстве. По-моему, я это делаю зря — читаю статьи человека, фактографический материал которого лучше и глубже следует усваивать в специальных изданиях (научных), а из оценок которого (чисто новомировских) малость вырос. Но захотелось нетрудного чтения — вот я и читаю.

Не будешь ли ты в марте в Сибири, чтобы постараться попасть на общее свидание без специальных затрат? Думаю, впрочем, что это безнадежно. Скорее всего, отложим встречу на конец мая 1972 года.

А пока я тебя и твоих домашних очень сердечно обнимаю — и жду писем.

Илья.

Марку Харитонову

Январь 1971

Дорогой мой Марик!

Я не отослал еще этого письма (не успели, т.с., обсохнуть чернила), как пришло еще одно твое — от 1.01.71. Прежде всего, жаль мне, что я не предупредил Каверина, не первым прочел твой роман. Постарайся именно к 19 мая завершить еще что-нибудь: это подогреет мое тщеславие, хорошее, разумеется.

Фокус-покус в том, что и я Мережковского прочел с интересом. Надо было войти в круг большого чтения того времени — «Вехи», несколько «Аполлонов», «Весов», сборник Бердяева и пр., чтобы

понять, что это легковесные общие места (от терминов до методологии) далекой эпохи. О непривычной исходной точке Бурсова я тебе тоже писал; что ее примут в штыки, легко можно было предвидеть.

Не понимаю, чего это ты бросился защищать Дымшица от Лифшица. Тут уж последний был кругом прав и последователен заведомо: сначала Разумный, потом Дымшиц — одного поля ягоды. А по существу я тебе же и писал, что вкусов его не разделяю. Но вот его прекрасная мысль: не примешивайте к чисто эстетическим оценкам этические. От того, что Пикассо — коммунист, а Дали, скажем, нет, этическая сущность не меняется. И когда это Дымшиц был действительно лежачим — не пойму. Я наверно писал неясно: Кафка, Хемингуэй или Камю никак не перестали быть для меня значительными явлениями.

В прошлогодней «Литературке» я читал отрывок из этого же романа Хемингуэя и, помнится, впечатление совпало с твоим. Пусть Галя привезет мне в марте эти номера, и Фриша (хотя бы на время), и обе статьи Лема и другого — о «Фаустусе». Фриша я читал вот что: «Хомо Фабер», «Андорру», «Биндермана», — и по тому, как взхлеб читал и как сейчас мало что помню, сужу, как ты прав. Я вот и из Саган («Любите ли вы Брамса») ни эпизода не помню, а вот читал же ведь.

Пора и мне прощаться с тобой. До скорых встреч, на бумаге пока.

Твой Илья.

Юлию Киму

11.1.71

Дорогой Юлик!

В ряду обширной, но припоздавшей малость новогодней корреспонденции пришло и твое письмецо, которому я неизменно рад.

Сначала (изячно говоря) антрону: я буду рад и спокоен, если Петя действительно отдохнет от опасных дел, пощадит и свое здоровье, и свою свободу. Не говоря уж о чисто пугающих последствиях (это в первую очередь меня заботит), в большом рвении, в ощущении себя обязанным есть благородство, но неизбежны часто и неглубина, и даже неверные шаги. Нечего и говорить, наверно, что я в данном случае действительно настаиваю на антрону и надеюсь на твою скромность. Сам понимаешь: ложно могу быть оценен и я сам, и мое отношение к «делу» и к Петру. А я ведь, глядя на себя со стороны, существенно не изменился ни в том, ни в другом, ни в третьем.

Всем общим знакомым я сообщаю о получении открытки от Валерия Агриколянского. Я и вправду воспринимаю этот не очень-то и большой факт как событие: приятно убедиться в конечной и исходной порядочности своего давнего товарища. Хотя, поверь мне, я никогда не мерил порядочность фактом «пишет — не пишет», но здесь особслучай.

Я тебя очень хочу предупредить вот о чем. В затеянной мной сейчас поэмке есть главка, заведомо слабая, но нужная мне как трамплин к следующей главе. Там такая пустяковая идея: нашего Беранже и меня застает Новый век; мы слишком были привязаны к страстям своего времени, и новые люди уже читают нас разве что с комментариями. И, конечно, не бог весть какая идея: «Забудутся песни — останется доброе имя». Я это пишу тебе вот зачем: если поэма состоится и в ней останется глава, не воспринимай это никак на свой счет. Мне нужна постановка вопроса (идеи Аввакума или Радищева, которых неспециалисты вздох не читают сейчас) и только. И связанные с этим мысли.

Как здоровьице Иришки? Меня чего-то все молодые женщины позабросили, и я на сей счет предаюсь кокетливым сокрушениям. А главное: здорова ли она сейчас и бодра ли?

Жду твоего письма обо всем и крепко тебя целую.

Илья.

Георгию Борисовичу Федорову

11.1.71

Мой дорогой Георгий Борисович!

Наконец-то и от Вас пришло письмо — да еще какое! Какое именно, я не буду писать, а то у нас все письма станут сплошным объяснением во взаимной любви. Хотя чего же плохого в таком объяснении — ежели это правда и почувствовать на расстоянии трудновато. Получили ли мои письма женщины Вашего семейства? Если да, то что же их удерживает от незамедлительного ответа?

Я получил после Нового года много писем, точнее открыток. В том числе и от людей мало знакомых и от тех старых товарищей, на которых внутренне уже махнул рукой. Как хотите, но в моей ситуации есть и человековедческое поучение. Главный урок его — в увеличившемся и углубившемся ощущении человеческой ценности. Я уже писал одной из своих корреспонденток, но не боюсь повториться. Главный вывод вот какой: как ни иронизируй над словом «интеллигент» — в нем, даже в неважные времена, воз человечности и совестливости. Словом, если нашего брата не замучить и не задержать до конца, он обязательно проявит все: и доброту, и порядочность, и гражданственность.

Я вот пишу и боюсь, что мне как-то придется варьировать в стихах многие строки своих писем, но тут ничего не поделаешь, раз уж это именно моя тема.

Эсхатологию я всегда понимал как раздел церковной науки — как учение о конце мира именно, а не истории. Это тоже было интересно узнавать из вторых рук, как, например, и о немецких местечках или Фоме — но, каюсь, не столько для душевного преломления, сколько для пополнения скудного образования. Ваше пояснение существенно меняет дело. Из одного из выступлений Померанца я запомнил его изложение доктрин, опровергающих исторический прогресс. То есть не научный, технический и пр., а эстетический. Тогда это мне показалось ошеломляющим. Вот и ключ, скажем, к объяснению фашизма: [нрзб] — а человеку дали возможность доказать, что

нравственность у него дикарская, законы и возмездия не сдерживали его — он проявил. Сейчас я понимаю так, что никакого прогресса нравственного, в сущности, и быть не должно. Есть 10 или 20 заповедей, к которым большинство народов, разделенных пространством и временем, пришли самостоятельно — и они, видимо, должны быть неизменны. Там уж уточняются только детали, шлифуются. У меня и ключик к этому — через поэзию, через любимые мною сейчас «Подражания Корану». Там все ясно. Скажем, «Торгуя совестью пред бледной нищетой» — это из категории вечных заповедей, «презирай обман, стезею правды бодро следуй, люби сирот...» <...>

Вторая половина Вашего письма — готовый рассказ¹, в котором, по мне, и изменять ничего не надо. Я и так храню все письма, но, если хотите, это пришлю Вам обратно, чтобы не писать заново. Вот я все время хотел Вас спросить, свойственно ли Вам такое же органическое ощущение природы, как, скажем, у Багрицкого? Или, в другом качестве, у Пастернака? Ваш рассказ кое-что прояснил, но не до конца. Мне, вот, кажется, кроме простого созерцания, ощущения «красиво — некрасиво», растроганности от животных, особенно маленьких, — совершенно это не свойственно. Если бы я взялся описывать природу, это была бы очень холодная литературщина. Говорят, что это как раз в природе иудаистической наследственности, ну тогда это единственно сильное проявление моего гена. Только как же тогда тот же Багрицкий, Пастернак или (не осмеет ли меня Ваша Вера² — но я его люблю) Левитан? <...>

Пишите мне почаще и подвигайте на это своих домочадцев.

Крепко Вас целую; запасайтесь сметами для меня с зимы 1971/72 года.

Ваш Илья.

¹ Упомянутый здесь фрагмент письма Г.Б. Федорова (о встрече с поэтом Багрицким) был напечатан в журнале «Наука и жизнь» (1971. № 6) под названием «Письмо другу».

² Дочь Г.Б. Федорова.

Герцену Копылову

11.1.71

Дорогой Гера!

Надеюсь, что твои телесные недуги уже позади, и письмо мое застанет тебя в полном здравии.

Как ты вообще оценил роман о Костоглотове¹? По мне, это слабее более ранних и изданных большим тиражом произведений. Там есть некоторая заданность отрицательных героев — в первую очередь Русанова и его дочери. Вообще, случай у этого писателя в литературе редкий, у него «отрицательные» герои слабее «положительных». Обычно бывает как раз наоборот. Наверно, очень уж страстен он в своей ненависти, это и сказывается, если романы, особенно не сатирические, не гротесковые, а продолжают добротную линию русской классики. Но в этом романе есть кусок недостижимой совершенно прозы, законченный и щемящий: сцена в зоопарке, и еще неудавшийся визит к врачу. Мне очень жалко, что он не стал рефреном — хотя бы в начале и в конце — что все повествование не дается в сокращенном и более умиротворенном виде сквозь призму этого хождения по зоопарку. Только интересно, по какому это праву я могу хотя бы только внутренне предъявлять какие-то требования т а к о м у писателю.

Я высмеивал твою книжку? Не помню, не помню. Но если даже и было что-то похожее на это, то проистекало сие только из безобидной привычки к зубоскальству. Во всяком случае, я очень рад ее успеху и поздравляю тебя с лауреатством. В общем, как я могу судить по твоим письмам, год у тебя был вполне плодотворным и с приятными событиями. Остается пожелать тебе, чтобы год текущий принес тебе еще и радости по другим — не только авторским — линиям.

Кое-какие рассказы Шукшина я помню, но не все тобой перечисленные. Если ты прав в своей оценке, то я сейчас читаю книгу

¹ Имеется в виду роман Солженицына «Раковый корпус». Костоглотов — фамилия одного из героев.

с примерно такой же позицией — искусствоведческие статьи Еф. Дороша. Но здесь, в отличие от прозы, сиюминутность еще больше бросается в глаза, проблемы, новомирское разрешение которых когда-то я приветствовал бряцанием кимвалов, сейчас примелькались, такое у меня пока впечатление.

Твое сравнение литератур западных и русской мне в общем-то понятно и близко. Но оно не кажется мне исчерпывающим: в западной литературе есть писатели такого плана, как Фолкнер, Лакснесс, Белль, идущие как раз от самой жизненной плоти (?) к философии, а не наоборот. Я бы сказал, что в талантливой литературе существуют крайности. Возьмем приблизительные имена на каждом полюсе — Фриш или Дюрренматт — и, скажем, В. Белов, тот же Шукшин. В первом случае холодное и умное рациональное конструирование, во втором — добротное фактографирование острого куска жизни. А названные выше писатели — просто писатели, большие, как в XIX веке Чехов между Мережковским, с одной стороны, и Телешовым, с другой.

Что касается твоего предложения взять реванш в физике, то это ты, доктор, поступаешь неспортивно: я тебе уже много раз докладывал, что из всей физики только и помню, что тело время от времени выталкивает жидкость.

Получил я в эти дни новогодние письма — в довольно обширном количестве. Есть там и серьезная информация — о Юре, о Пете, но я думаю, что ты все-таки более или менее осведомлен. А о Ленинградском деле¹ опять же ничего не могу судить, хоть и соперечаю; чувствую только, что оно очень волновало многих людей: они мне об этом пишут. Что это все-таки было: запальчивость, необдуманный поступок? Слава богу, что отменили казнь, но и 15 лет — тоже густое наказание.

Пиши мне в этом году так же регулярно.

Обнимаю тебя. Илья.

¹ Имеется в виду так называемое дело «самолетчиков»: о намерении группы людей, которым было отказано в праве на эмиграцию, угнать самолет.

Семье Зиман

11.1.71

Здравствуйте, дорогие мои! Все-таки Маяковский был 1000 раз прав, когда говорил: «Бойтесь пушкинистов!»¹ Не получая с Пушкинской столько времени писем, я, действительно, стал бояться, что меня все позабыли. Были, конечно, всякие там телеграммы, открытки, но кого в наше время могут обмануть эти бюрократические отписки?! Начинаю по очереди — с женщин.

1. Дорогая Белла Исааковна!

Я вынужден, скрипя сердцем, прибегнуть к ультиматуму. Сейчас же по получении моего письма, сошлите Анечку в какой-нибудь пансионат или, что лучше, в монастырь (благо, она уже все равно острижена). Я не могу потерпеть, чтобы между мной и книгами стояла эта особа с черепахой. Что это? Я бываю в Вашем доме добрый десяток лет, а тут на моих глазах въезжает на коляске какой-то человек и всего за два года переворачивает все вверх дном! О женщины!

Я, как всегда, ни на что не намекаю, Белла Исааковна, но Эдгара По неплохо пока иметь и в «Памятниках». Вы знаете мою слабость к этим изданиям, да и есть за что: они добротны, снабжены обычно толковым комментарием и пр.

Как же все-таки Ваш сын может пускать пыль в глаза! Переводит общеизвестные выражения и считает себя Голенищевым-Кутузовым, крупнейшим дантистом (или правильно: дантесом?). Думаете, я не могу перевести с итальянского «здравствуйте», «до свидания» и «спасибо»? Пожалуйста: 1) чао, буэно-айрес! 2) аривидерчи, рома! 3) грация, синьора!

Как Ваши ноги и зубы, Белла Исааковна? Не можете ли Вы и за меня сходить к дантоведу? Пожалейте мой зуб, несмотря на все мое безобразие (см. выше). И будьте сами здоровы, обязательно.

2. Дорогая Аллочка!

¹ Как уже было упомянуто, Зиманы жили тогда на Пушкинской улице.

Представляю ли я Леню секундоцитрометром? Как сказать? Видишь ли, Леня всегда стремился быть мэтром, поэтому меня ничего не может удивить или озадачить. Но в чем я с ним вполне согласен, так это в том, что человек, не знающий, сколько было в 1927 году выплавлено свиноматок на душу населения, не может быть образованным. Кроме того, что ты мне очки втираешь с Ге или Бенуа, когда тебя отвлекает вовсе, как мне пишет Леня, Эдита Пьеха. Вместо изучения актуальнейших проблем сентябрьского (1928 года) пленума, ты забиваешь себе голову неразрешимым, в сущности, вопросом: с чего начинается Родина? Действительно, с чего — с Кушки, с Верхоянска?

А теперь разговор секретный. Как это следует понимать твои слова: «Я еще один роман начала...». Я никогда не бранил молодежь и относился к ее увлечениям снисходительно, но сейчас и я руками развел. Как это все не... но... но... и не...во!

Мне понравилось первое стихотворение («Мне не добратсья в путанице дней»), хотя для короткого стихотворения здесь слишком много фразеологических оборотов, устойчивых сочетаний: волнующие мгновенья, сплошной поток. «Волнующие», вообще, по-моему, слово гимназическое. Но тем не менее стихотворение хорошее и умное. Очень точный оборот у тебя делает слово «минута» — и вообще все это серьезно и достоверно.

А во втором стихотворении мне все испортили «падали ресницы». Как-то очень уж это для меня изысканно, как и кое-что еще: «блаженные пальцы усталых рук», «задохнувшаяся ночь» (без особых трагических поводов к такому ощущению). Здесь, по-моему, чувствуется школа «Чтеца-декламатора». Школа хорошая, но адекватных действительным ощущениям строк она все же не заменяет. Общий тон стихотворения таков, что мне захотелось встать на одно колено и поднять, как перчатку или кисейный носовой платок, твои упавшие ресницы. «Кто-то теряет, а кто-то находит», как говорила та же Эдита Пьеха. Не сердись на меня и продолжай писать и присылать мне стихи. Я, может, и не прав, дорогая моя Аллочка, но правду, как я ее представляю, писать обязан. Верно? И, пожалуйста, пиши романы, но не начинай их: мне это, как и Лене, больно, потому что я тебя очень люблю.

3. Дорогой Леня!

Я предлагаю тебе летом поехать с Георгием Борисовичем в Молдавию: там ты легко изучишь еще два (румынский и молдавский) романских языка. Я это говорю серьезно. Плюнь на этого своего шкраба Пикколо де Пиранделло и поезжай, взяв отпуск.

Еще я тебе советую начать хлопоты, чтобы гор. Грозный переделали в гор. Грязный. Только чтобы это не задело чечено-ингушских национальных чувств. А если нам так уж необходим гор. Грозный, можно Иваново переименовать в Грозново. А Вознесенск в Иваново и т.д. <...>

4. Я вас всех целую, и всей своей дружеской преданностью подвигаю писать мне почаще. До следующего письма. Всегда Ваш
Илья.

Марьяне Рошаль

14.1.71

Дорогая М. Г.

В первых строках своего к тебе письма постараюсь обстоятельно и убедительно отвести от себя все упреки. На главный из них я и отвечать не стану — видит бог, здесь вмешался рок, фатум-с, несчастный случай, которому я не в силах никак противостоять. Но вот ты пишешь: «Тебя, кроме Гамсуна, ничего не интересует». О, как это жестоко и несправедливо так говорить: «ничего»! Вот, например, я слышал, что вышел одноклассник М. Фриша. И он меня тоже очень и очень интересует. И вообще у меня очень широкий круг интересов. Как только я начну в феврале получать газету «Книжное обозрение», так в каждом письме всем знакомым — тебе в том числе — буду об этих интересах обстоятельнейшим образом сообщать. Всенепременно.

Далее. По-моему, в мире нет человека, который так широко и снисходительно относился бы к увлечениям своей супруги. Я в письмах чуть ли не сводничал, не толкал Галю в стан «этих несчастных

созданий» (как, бывало, писали в романах XIX века). И вдруг получаю упрек в ханжестве.

И, наконец, это чудовищное обвинение в недостатке чувства юмора, когда подшучивают надо мной. Но, скажи на милость, неужели во всем 3 миллиардном мире есть только один человек — Илья Габай, — над которым надо подшучивать. И разве я когда-либо терял это чувство, если подшучивали над моими близкими и дальними. По-моему, отнюдь. Так что ты кругом неправа, и я могу с чистой совестью перейти ко второй строке моего письма.

«Ты не любишь такое искусство, когда на глазах у зрителей отсекают руки, отрубая головы, насилуют женщин, ласкают мальчиков». В общем-то, перечень этот, конечно, не выглядит привлекательным. Но не любить жестоких деталей в искусстве (то есть *любить-то* их уже никак нельзя — я хотел сказать «не понимать») — это как сказать. Я видел 3 фильма Бергмана: «Лицо», «Земляничную поляну», «Вечер шутников» — и в каждом из них (вполне?) хватало жестокостей. Но там не было их, т.е. эстетизации — они вполне снимались или объяснялись самими фильмами; в «Лице» это оказывалось фокусом-покусом, мистификацией; в «Земляничной поляне» кошмарным сном встревоженной совести, и только. Не понимать этого — все равно что не понимать всех ужасных историй с детьми в «Бунте» Ивана Карамазова. Об эстетизации их, о том, что сам художник не ужасается, а играет на подкорковой части человеческого существования, в свое время писала хорошо М. Туровская — когда рассказывала о документальных материалах какого-то художественного фильма Лелюша (боюсь, что я соврал фамилию. Словом, автор «Мужчины и женщины»). О «Стыде» я читал очень давно, и его замысле, но с подробным изложением сюжета. Мне очень хочется посмотреть его, потому что Бергман в моей памяти самый значительный кинорежиссер. Что касается Феллини, то он пока в моем представлении автор одного-единственного непревзойденного фильма — «8 с половиной». Все остальное, что я видел, никак не задело меня душевно (правда, еще «Ночи Кабирии», но я их смутно совсем помню). Категория «виден мастер» — и для меня очень занимательна и интересна, но все-таки не совсем то

для профессионала. А видел я у него еще «Белый шейх», «Дорогу», «Сладкую жизнь» и «Джульетту и духи». А в общем-то, читаешь ваши письма — и грустновато все-таки оттого, что многое проходит мимо меня. Это вряд ли наверстаешь потом: помимо чисто технических трудностей, может сказаться еще и просто притупление, какие-то новые жизненные критерии. <...>

Крепко целую тебя и желаю счастья в работе и семье.

Твой Илья.

Елене Гиляровой

19.1.71

Леночка и Валерий!

<...> В письме Валеры рукой талантливого новеллиста в очередной раз с новой стороны была освещена актуальная тема современной некоммуникабельности. Мне кажется, все в этом рассказе аллегорично, освещено зыбким светом старомодной свечи (стеариновой, я полагаю: восковая — это было бы так вульгарно). Автор хотел сказать, что только бегство от цивилизации (электричества) может вернуть людям утерянное чувство общности. Но и это оборачивается эфемерностью, иллюзорностью: зажигается свет — и каждый возвращается в свой мир беспомощных деяний. Я думаю даже, что автор между строк выносит свой приговор всем, кто так или иначе связан с проблемой осветительства: от Прометея до Вавилова. Вот такую я бы дал рекламную аннотацию к отдельному выпуску этого рождественского рассказа начинающего прозаика.

А стихотворения я прочитал несколько раз. Что-то от меня ускользало, потом, кажется, стало ясно и близко: у меня тоже от Ленинграда впечатление зыбкости, неуловимости. Вот то, что вызвало у меня недоуменье вначале: повторы (молчанье... молчанье, звучанье... звучанье, круженье... круженье), — потом встало на место: это очень передает как раз ощущение туманности, расплывчатости, неопределенности как будто бы весомых улиц, домов

и др. Потому что и впрямь Ленинград очень уж привязан к наиболее близкой и понятной (хотя бы из классики) истории. Вот пара строчек все-таки меня огорчает, хотя мне самому очень трудно обойтись без констатации фактов. А они как раз констатация. Я имею в виду строчки: «И поэзией, и судьбой Много раз он возвышен публично». Но, может, я пишу и претенциозные глупости, только ты, Лена, все равно шли мне стихи: помимо того, что я их люблю, они навевают мне хоть и сентиментальные малость, но все равно дорогие мне институтские и чуть позже воспоминания <...>

Я в свободное время сейчас читаю третий том Монтеня и пишу. Написал 15 главок, пора как-то закругляться, что так же трудно, как и не бросить писание к черту. Наедине с собой все-таки очень трудно чувствовать, получается ли.

А кофейку мы с тобой, Леночка, еще попьем, непременно. Очень хочется и вас, и всех повидать — сообща и келейно, и это, хоть и не скоро, но не за такими уж горами.

Всякого вам счастья, ребята, и всяких успехов. Пишите почаще.

Ваш Илья.

Наталье Владимировне Ширяевой¹

19.1.71

Дорогая Наталья Владимировна!

<...> Я сейчас стараюсь поменьше читать и побольше писать. Все-таки прочел привезенную мне Галей книжку Дороша. Она все-таки легковата малость. По-настоящему мне понравилась только рецензия на книгу Веселовского об Иване Грозном и рассуждения по поводу книги Лихачева. Я почти совсем не знал работ последнего, даже относился к нему с легкой антипатией — из-за безудержных

¹ Н.В. Ширяева — научный сотрудник библиотеки Института стран Азии и Африки, где одно время работал И. Габай.

симпатий к Зимину, и вот оказалось, что он очень крупно и близко мыслит. Хочется достать его «Поэтику» <...>, я Гале уже писал об этом. Начал читать третий том Монтеня. Первые два я прочел в начале 1968 года, но безнадежно забыл суть. Он удивительный совершенно человек — такая раскованность, полное отсутствие боязни показаться циничным, безнравственным. Вот в самом начале его рассуждение: «Общее благо требует, чтобы вы именно шли на предательство, ложь и беспощадное истребление; предоставим же эту долю людям более послушным и гибким». Выше он все пояснил. «Менее щепетильным, готовым пожертвовать своей честью и своей совестью... как более слабым, подобает брать на себя и более легкие и менее опасные роли». Каково?! Интересно, как бы я относился и мы бы все отнесли к такому человеку в наше время — безмерно умному и *так* рассуждающему? <...>

Я желаю покоя и счастья Вам и Вашей семье — и жду Ваших писем. Всего доброго.

Ваш Илья.

Геorgию Борисовичу Федорову

[Январь (?) 1971]

Дорогой Георгий Борисович!

Получил вашу реляцию с рукописными приложениями: письма-ми от чад и домочадцев. Ну чего там говорить, что я очень и очень рад — сами, небось, знаете. Хотя, не скрою, встала сразу же передо мной сложная задача: как это отвечать всем троим, не повторяясь, и кому отвечать дактилем, кому ямбом, а кому пеаном?

Я всегда думал, как это сделать так, чтобы удалось и быть самим собой и быть похожим на хороших людей? Я бы многое перенял у каждого из своих друзей, у Вас, дорогой мой шеф, тоже многое: в частности, обязательно бы перенял широту Ваших интересов и их целеустремленность, и еще обязательно добродушие (не максималистское, значит), в конечном счете, отношение к людям. Очень

я Вас за все это люблю и считаю, что, сказав все это, я вполне заработал право попросить у Вас достать мне по возможности и Гамсуна, и Аввакума. Для того, собственно, и говорил, и заливался соловьем.

Кстати об Аввакуме: личная-то его судьба, как я могу понять, как раз и идет по разряду Иоанна Предтечи (с известными оговорками, понятное дело). Читал я его в отрывках (хрестоматийных) в период своей и нравственной, и умственной неготовности к такому чтению. Боюсь, что этот период затянулся аж по сю пору. Но я так себе представляю и вспоминаю, что можно испытывать восторг перед его потоком косноязыческого исступления, перед силой его убежденности — и в то же время отталкиваться, отгораживаться от неинтеллигентного фанатизма. Можно было бы его, наверное, сравнить с Радищевым в чем-то: в том же органическом сплаве косноязычия — прямоты речи — но Радищев как раз интеллигент, весь его максимализм, даже весь радикализм не от фантастической приверженности к бывшей ортодоксии, ставшей ересью, а от уязвленной совести. Ведь под ударами этой же совести весь максимализм, даже весь радикализм развеялся, как это блестяще пояснил в свое время Плимак¹, а потом и примкнувший к нему Карякин². Я не знаю, почему я это все пишу, но Вы-то, надеюсь, понимаете, что не умничанья ради: мне просто необходимо прояснить для самого себя вещи, важные для меня, и в простоте и непреложности которых я стал не то чтобы сомневаться, но все же как-то поколебнулся: то есть почувствовал необходимость взглянуть если не поглубже (где уж!), так хоть бы пошире.

То, что Вы пишете о сарматах, об их уходе с арены, теперь уж независимо от моей сарматской ундины, хотя бы и понятно, но грустно. Сошла со сцены бесследно не только ведь цивилизация, но и бытовавший когда-то сколок человечества со своими неизменными, пусть не до конца проявленными, но обязательно бывшими и трогательными комплексами материнства, внутренней поэзии,

¹ Е.Г. Плимак (1925—2011)— историк, социолог.

² Ю.Ф. Карякин (1930—2011) — литературовед, публицист, исследователь творчества Ф.М. Достоевского.

раздумья, горя — чего угодно, словом. Все — цари виноваты. Они, собственно, и создают дух народный — рабский или философский, разбойничий или созерцательный, свободолюбивый или китайский, как там ни преуменьшай культа их личности. Вот, может быть, и Индия без Ашоки стала бы таким же сарматским воспоминанием о бывшей когда-то воинственной цивилизации. Большие у вас масштабы, у археологов и историков: вы ведь не бабочек — народы и эпохи целые — прикалываете булавочкой. Чего это я разговорился, ума не приложу, но очень уж захотелось <...>

Дорогой мой профессор русской истории, пишите мне почаще, невзирая на мои глупые шутки с гекзаграммом или прозой. Примите самые искренние пожелания добра от не шибко почтительного, но очень любящего Вас ученика.

Крепко целую Вас. Илья.

Алине Ким

20.1.71

Алинька, здравствуй!

И когда ты уже кончишь свою диссертацию и полностью освободишь свою душу и тело для меня?

Незадолго до твоего письма напечатал мне свое письмецо твой сын — друг народа. Я, конечно, узнал руку и почерк твердокаменного трибуна. А умеет ли он уже рисовать на машинке? Писать на ней музыку? Передай ему, пожалуйста, пусть он исправит свои четверки. Скажи ему, что никто из великих — ни Филиппо Липпи, ни Помяловский — никто не имел четверок, и ему не след. И обними его за меня сердечно: лобызаться он, поди, не любит — мужчина как никак.

Ей-богу, Алинька, и не знаю, как советовать перейти на «настоящую» литературу. Не принудишь ведь, а потом это естественно — Дюма, Скотт и пр., и литература, и развивает воображение. Я вот, например, как раз этих писателей в детстве читал

мало — и развивался потому уродливо. В доме, где я жил, было обилие второсортной чувствительной литературы — Мало, Чарская, «Маленький лорд Фаунтлерой» и пр. (набор дореволюционной «золотой библиотеки»). Думаю, что все это произойдет естественно и особых поводов торопить события нет.

Я себя поймал на одном очень интересном следствии вот такого детского неинтереса к приключенческим вещам: на полном неумении не только пересказывать, но даже запоминать сюжеты. Я как-то стал вспоминать названия книг и кинофильмов последних лет (в т.ч. Бергмана, Феллини — кого угодно), и оказалось, что помню общую канву, абрис, так сказать, но не сюжет, имена и пр. Удивительная обедненность: помнить мысли, идею, деталь — но не суть дела.

А что такое «вамп» или «вампа»? Вампирша? Пока ты меня не просветишь на этот счет, я никак не могу ответить на твой вопрос. Но, забегая вперед, скажу: сейчас-то мне крайне необходимы женщины-друзья. Но, м.б., это потому, что «виноград зелен».

Журналы пока не приходят, а я на них очень рассчитывал. Пришлось даже пойти на картину «Белое солнце пустыни». Там поют песенку Окуджавы с очень пошлыми словами: «Не везет мне в смерти (?) — повезет в любви». Главный герой задуман по каким-то платоновским канонам, но все измельчено и захоронено в боевиках: пиф-паф. А стихи Тарковского почитай. У меня остался один сборник — он меньше этого, но все же интересен. И тогда мы поговорим о них <...>

Еще раз целую
Илья.

Галине Гладковой

21.1.71

Милая Галка!

Получил сегодня сразу два твоих письма и чувствую себя просветленно и празднично. Давняя наша дружба выдержала, так сказать,

испытание не только временем, но еще и моим вздорным характером — и ты нашла о ней какие-то очень сердечные, растроганные слова. Свинство какое-то, что обо всех вас по отдельности я не думаю так часто и настолько глубоко, как вы этого заслуживаете. Обстоятельства меня все-таки как-то оправдывают, а еще я думаю, что в чем-то я, пожалуй, изменился: приеду — и стану ценить простые радости, а о не простых — о дружествах — и говорить нечего <...>

О стихах твоих — судить тебе. Не о качестве их только, конечно. Но если то, что ты пишешь о их содержании, правда, я никак не стану приставать к тебе с просьбами. Мне только, из неизменного желания полного счастья своим друзьям, хочется, чтобы ты их писала: я понимаю так, что без этого счастье неполное. Леночка Гилярова прислала мне свои стихотворения. Интересно, сам факт, что вы пишете, возвращает меня неизменно к доброй памяти и сердечным временам <...>

Ты очень хорошо, с большой добротой написала о Зиманах. Я вполне, полностью, разделяю твое ощущение. Именно такое, как у этой семьи, желание добра людям и делает нашу жизнь уютной и человеческой. Все есть куда — по крайности какой — приклониться душой. Так что мы (я да и ты иногда) бывали все-таки не совсем справедливы к ним. Это мне тоже, в ряду очень многого, предстоит искупить <...>

А я живу свободным временем: читаю себе, пишу письма и еще пишу. Вот только последнее как-то не очень достоверно: не на ком проверить. Каково оно вам всем покажется? Вот вопрос.

Я прощаюсь с тобой, Галка, и очень целую тебя и твою семью. Пиши почаще.

Твой Илья.

Марку Харитонову

21.1.71

Дорогой мой Марик!

Твое письмо пришло очень кстати сегодня, потому что я в последние дни в совершенной подавленности. На это есть

причины — юмористические, когда все это станет воспоминанием о прошлом, но очень существенные, совершенно выбивающие из колеи — меня с моими нервишками и нестойкостью особенно. Не могу сказать, что письма — безусловная панацея, но это такая все-таки связующая с лучшим миром нить, так нужно для меня, что не худо бы тем, кто числит себя еще по разряду моих друзей и товарищей, думать об этом почаще. И на этом я прекращаю невеселую очень тему.

Ты прав, разговор о твоей теме «Достоевский и Манн» разумно пока прервать; тем более я не проделывал никакой предварительной работы, ни даже не размышлял никогда об этом, и все, что я тебе писал в предыдущем письме, было все-таки высказано по первому — и поверхностному, очевидному для меня — наитию.

Поэма моя идет к концу — осталось написать пару главок. Она большая и, конечно, поэтому с пробелами и промахами. Думаю, что на шлифовку ее не хватит никаких сил и времени: для того чтобы сейчас ее писать, я и так должен был поступиться кое-какими удобствами, пойти на некоторые, невозможные долго, вещи. А нужно мне еще по меньшей мере дней десять — чтобы написать и переписать с самой элементарной правкой. Очень неохотно я выполняю твою просьбу — потому что без контекста, без оспаривания и опровержения чего-то высказанного (так у меня построено) буду понят неполно и превратно. Написано так, будто я якобы беседую в письмах с друзьями. «Якобы» — потому что у меня никогда не хватит наглости использовать действительные материалы — собеседование все-таки воображаемое. Я тебе посылаю одну главку — из-за ее малости, главным образом, и из-за характера лирического отступления (эпического, впрочем, как у меня водится, ничего и нет). «Сударыня» — воображаемая моя молодая корреспондентка, которую я всю дорогу бессовестно пичкаю наставлениями. Вот и в этой главе, которая называется «Прямой Чадаев».

«Откуда что берется в этот миг, Когда приходит час надежд внушенных? Сударыня, какой нас ветер гонит От благодати: от музыки и книг, От шорохов, загадочных и сонных, — В базарный зной, в сумятицу и крик? И из какой пустыни наши души, Уставшие,

подать сумеют весть? Сударыня, зачем нас ветер кружит, И гонит нас — и некогда присесть? Чтоб радугой, расцвеченной без меры, Пустившись в свой пленительный вояж, Мы бросились в глаза, как эфемеры, И возвратились на круги своя ж, Где будет та же присказка и сказка Скудельных душ и притомленных дружб, И та же жизнь с азартом и опаской: С надрывом — та же вдавленность в картуш? И ты отмечен свыше: ты помечен Обязанностью к действиям востще... Какой же ветер кружит нас и мечет, И гонит нас — и некогда душе?»

Я все-таки жалею, что написал, потому что кое-что в контексте обговаривается, иногда прямо рефреном с другим звучанием. Но написанного пером и пр. ... А вот о чем я не жалею, но и не горжусь особенно, — так это что закружился и докружился до нынешнего своего местожительства: такой уж листочек своего времени, круга, житейских побуждений. Жалею только, что действительно в этом кружении упустил многие ценности, но и наоборот было бы, поди, тоже не без потерь. Еще и то, что в этом кружении как-то не хватало иногда места для подлинной сердечности или хотя бы для удержания старых привязанностей. И тут ты совершенно, совершенно прав, когда говоришь о Валерии Агр<иколянском>. Система прямого и косвенного мучительства столь разветвлена, что может уловить и самых стойких и проницательных. Как будто бы человек приуготовливает себя для западни, для всегдаготовности к правильным словам и даже поступкам. А потом как снежный ком наращивается неправильное понимание, преувеличения и все прочее — любого погребет. Я и сам грешен был склонностью к конечным выводам, и мечтаю, чтобы жизнь меня, дурака, хотя бы сейчас научила радоваться в каждом человеке всему, что есть в нем хорошего, — и хватит.

Журнальчики пока не идут что-то. Напиши, что вышло из первых номеров и что есть. А книжечки мои портятся понемногу из-за невозможности их как следует быть хранить, и сердечко из-за этого тоже ноет, а отказаться от них здесь — совсем крышка.

Ежели я тебя, отец семейства своего, опечалил малость — извини великодушно. Я его нежно обнимаю и целую, семейство твое,

и тебя купно. Хорошо бы хоть глазком взглянуть на тебя — но бог
весть.

Живи и пиши.

Твой Илья.

Галине Габай

24.1.71

Дорогая Галя!

Нынче понедельник, и я получил от тебя несколько писем. Спасибо тебе, друг мой, за неизменную заботу и хлопоты — без них мне было бы много хуже. Только мне хочется тебе еще и еще раз сказать (надеюсь окончательно): ты абсолютно не вправе казнить; больше того, ни ты, ни кто другой не вправе были меня удерживать от чего-то — я поступал, находясь в здравом уме и памяти. От самого главного — от вынужденности трудного общежития — ты меня освободить никак не можешь, а все остальное ты сильно преувеличиваешь. Поэтому теперь уже слезно прошу тебя перестать хлопотать на мой счет <...>

Легче было бы, если бы имелись серьезные бытовые возможности. Для того чтобы написать сейчас свою длинную графоманскую штуку, я пошел на некоторые изменения в своем режиме жизни <...>

Очень меня удручает, что книги портятся. Из-за полного отсутствия места мешок с книгами валяется на сыром полу, выглядит как мешок старьевщика, обложки и страницы намокают. А отказаться от новых книг — это поставить на себе крест <...>

Я не музыковед, и мне трудно что-то сказать, но Вагнера я люблю. Как раз «Полет Валькирий». То, что фашисты не любили Гейне или Мендельсона (не только потому, что они евреи), конечно, много говорит об этих людях, но вряд ли порочит Гете, Бетховена или того же Вагнера пристрастие к нему названной нелюди: любой диктаторский режим одним лакейским искусством своего времени пробавляться не может и охотно ищет фундаментальную опору в прошлом. Благо,

ни Гете, ни Вагнер защитить себя не могли; живые, как правило, защищали: противопоставляли себя Гитлеру, — что все-таки ставит, при всех взысках самой немецкой совести — очень высоко немецкую интеллигенцию, много выше «народа» (случай до боли знакомый; у англичан и французов таких «ножниц» нет; между прочим, есть и аналогия в древности: восточная интеллигенция, пророки особенно). Я чувствую, что говорю вещи, и без меня понятные, но я действительно так думаю <...>

Юлию Киму

9.2.71

Дорогой Юлик!

<...> «Литературку» со статьей Юткевича я читал и фамилию Ю. Михайлова¹ встретил — как же, как же. Само интервью, признаться, мне не понравилось: серьезным тоном, с каким маэстро говорил о пустяковых, на мой взгляд, находках — о трансформации Бояна, например. Да и вообще пьеса-то не очень сильная. Раньше я думал иначе, но все меняется — хотя Маяковского я по-прежнему почитаю. Я еще понимаю, что интервью — интервью, а творческий процесс захватывает, не может не захватывать, и там каждая мелочь радует. Только все-таки на кой придавать им вселенские масштабы? Все это, разумеется, не имеет ни малейшего отношения к твоим песням. Я очень рад, что ты при деле, да еще столь любимом, — и дай тебе бог вдохновения и удачи. А песенка о пожарных, она (в музыкальном отношении) имитирует «Дубинушку» или не совсем?

Вот ты пишешь: «Контакты сберегаются внутри, а снаружи не проявляются». А черт его знает. Когда какие-то большие куски жизни или переживаний проживаются на стороне, по-моему, неизбежен некоторый разрывчик, паузы при встречах, во всяком случае. Советовать я тебе ничего не смею и не умею; мне просто хотелось бы,

¹ Юлий Михайлов — псевдоним Ю. Кима.

чтобы побольше людей из прошлого сохранились в нашей орбите. Это тоже возрастное: новые знакомства мне в последнее время казались вынужденными и недостоверными. Правда, и то сказать, само последнее время несколько специфическое.

В связи с окончанием своего стихового запойчика, приступил со скрипом к «сурьезному» чтению. Из журналов пришел только один — зато серьезнее некуда: «Вопросы философии». Некоторые статьи оказались мне не по зубам (ну что я могу понять, скажем, в философском обосновании химических вопросов?), а остальные — пустоватой социологической, политической и пр. информацией. Прочитал еще последний том «Опытов», а сейчас довольно легко и с интересом засел за статьи Т. Манна <...>

Пиши мне, Юлик, почаще и без особого щадения. Крепко целую тебя и всю твою семью на всех трех улицах.

Твой Илья.

Герцену Копылову

9.2.71

Мой дорогой Гера! («Мон шер ами!»)

Сегодня получил твоё письмо от 21 января. Как видишь, оно не летело на крыльях, хотя марки и предназначали это, но пришло — вот и хорошо.

Рассказывать о поэме я не стану пока: она (вчерне, по крайней мере) закончена; по-моему, даже придирчивый самый взгляд не отыщет в ней признаков ст. 190-1¹, и я, когда соберусь, пришлю вам всем хотя бы отрывки.

«Память» А. Жигулина у меня есть; в печати мне попадались его и другие, послеколымские, стихи. Я с тобой совершенно согласен в оценке, но все здесь имеет достаточно убедительное для меня объяснение: очень трудно переключаться от темы сугубо своей

¹ Статья 190-1 УК РСФСР, по которой был осужден Габай.

к общелитературным, «вечным». Это многим не удавалось — помнишь, когда Александр Исаевич попробовал, получился остренький, но не бог весть какой рассказ о том, как обманули студентов техникума (он был напечатан в «Новом мире»). И Варлааму Шаламову это переключение трудно дается. А ведь не говоря о первом, и Шаламов много одареннее и глубже Жигулина.

Коржавин в твоём изложении говорил очень умно и правильно. Но есть один нюанс: а если поэт много глубже и острее тебя, если ты просто не дорос до его мировоззрения, чувств? У меня тоже частенько был соблазн сделать критерием стихов вот что: хотел бы я быть их автором или нет? Но оказалось, что я не хотел бы быть Гейне, Байроном, Фетом, в новом времени — Твардовским, скажем, а все поэты очень значительные и для меня. Напиши мне, когда все состоится, как ему погостилось у вас, каковы впечатления от его поэм. А Кушнер и вправду хороший поэт, хотя я его знаю разбросанно, маловато.

Громадное у тебя (и Коржавина) сопоставление с Эйнштейном. Но я ведь могу судить только по книгам Львова или Кузнецова — вот беда. Пришел первый номер «Вопросов философии», и я попытался сделать шаг тебе навстречу: стал читать о философских проблемах вероятности (теории «вероятности»). Тщетно оказалось: не для меня. А статьи по гуманитарным более или менее вопросам, четыре статьи о современных религиозных проблемах (мне очень интересных) и статья Дубинина (начало), если исключить специальную терминологию, написаны на уровне соответствующих страниц «Литературной газеты». Там, где я могу разобраться, оказывается, что у вашего брата, ученого, тумана и игры не многим меньше, чем у парнасцев. Впрочем, ты причастен к обеим стихиям, тебе судить легче.

Ни одного из перечисленных тобой функционеров соседней страны я не знаю, поэтому и реакция у меня на это неопределенная. А вот то, что ты сообщаешь о культурной, профсоюзной и пр. жизни, — дай-то бог! Но хорошо бы, если б это не было только хорошим намерением. Кто из сменивших (кроме латиноамериканских) диктаторов разве или хунт) не начинал с этого...

Ездишь ли ты на выставки в Москву? Голова кружится от их переисчислений даже в печати, не говоря уж в письмах. Видел ли ты «Бег» и очень ли он булгаковский? «Андрея Рублева»?

Что выпускаешь книги — это очень радостно. 25 печатных листов! С ума сойти — почти «Сага о Форсайтах»! Очень ли она специальна? Хотя чего я спрашиваю — монография ведь...

Ты мне ни разу не написал о твоей реакции на новые песни Юлика. Слова он мне время от времени посылает, но это ведь еще не все.

Хочу тебе сказать еще о том, что меня радует, что ты как-то поплотнее познакомился с Мариком¹. В былые времена он по разным обстоятельствам не часто бывал у меня и ты его или не знал, или почти не знал. А между тем это один из самых близких мне людей и очень испытанных. Временем и чем угодно.

Ну, прощаюсь с тобой и обнимаю тебя. Желаю тебе хороших отзывов о монографии и жду твоих писем.

Илья.

Виктору Тимачеву

10.2.71

Привет, бич!

<...> История с голодовкой Гершуни² меня прямо-таки удручает. Братцы, если есть возможность, бомбите ему в больницу, чтобы он не глумился над самим собой. Передай, если будешь ему писать, мою слезную просьбу об этом. Ну и еще скажи, что когда я его вспоминаю, то это сопровождается неизменной теплотой. И что я надеюсь, что он очень скоро подключится к людям, терпеливо ожидающим меня в Москве и коротающим это ожидание за рюмкой-другой.

¹ Марк Харитонов.

² В. Гершуни (1930—1994), находясь в психбольнице, объявил голодовку, протестуя против преследования инакомыслящих.

По поводу моих глаз. Никакого особого повода для базара на эту тему у меня сейчас нет, да и вообще это не очень в моих житейских привычках. Не придумывайте там себе лишних печалей не по делу.

А вот что действительно печально, это что я получил только конец Хемингуэва романа («Новый» — хотел я сказать. Но уже — грустно, конечно, — это звучит примерно как «новый роман Бальзака»). Читал ли ты его и хорош ли он? Я ведь уже начал и позабывать кумира 50—60 гг., худо.

Жду твоего письма с освещением всех темных мест. Но и инициативу, самостоятельность тебе тоже проявить неплохо бы.

Обнимаю тебя. Илья.

Алине Ким

10.2.71

Дорогая Алинка, милая моя кандидатша-пфзивиаторша!

Вчера отправил письмецо твоему братцу (кровному) и моему (по духу). Жалко, и очень, что ты не получила моего предыдущего письма. Помимо всяких печалей, которые навевает эта утомившая меня тема, ты еще упустила возможности познакомиться с моими педагогическими раздумьями. Боюсь, в результате этого твой Маратик так и не узнает, что такое розга, вымоченная в добротном огуречном рассоле <...>

Мне, Аленька, малость тошненько сейчас по разным причинам, потому не обессудь, ежели письмо окажется не совсем веселым. Уговор наш я обязательно выполню; думаю для этого скоро бросить курить и заняться культуризмом.

Шефа твоего я ну совсем, ни капельки не помню. Наверно, он мне не понравился в пьяном виде (то есть потому что я был...). Ничем иным я не могу объяснить свое недоброжелательное отношение к отечественному королю ихтивизаторов. А то, что он приревновал ко мне, свидетельствует только, что парапсихология имеет право

на существование. Я ведь так старался это скрыть, но нет тайн для телепата.

О выставках мне все пишут и пишут, а я все облизываюсь и облизываюсь. Очень много мне писали о Чекрыгине, но по своим наклонностям последнего времени влезать в вещи по возможности масштабные я по-настоящему сожалею только о том, что у нас преждевременно затеяли выставку французов. Повременили бы месяцев 16!

Сегодня пришло, наконец, два журнала — «Иностранная литература» и «Театр». В первом беллетристический отдел совершенно пустой: Хемингуэй не в счет, так как там окончание, а начала я не читал. Похоже, когда я приеду, я явлю собой воплощение Некогого В Сером — очень уж много упущено.

До этого начал читать статьи Томаса Манна: раньше я читал только интересное мне — о Достоевском, Ницше, «Иосифе». И оказалось — зря. Вот тебе из первой статьи о Лессинге. Характеристика «нас», «кто не просто испытывает недоверие к человеческому разуму, но.... наслаждается презрением к нему, кто поносит человеческий дух, видя в нем палача живой жизни, кто издевается над мыслью, ставя ее к позорному столбу...».

И еще: «Если бы вы... не прятались за согревающую вас мимолетную моду, но попытались бы сохранить хоть немного не прикаянности и свободы...» (вслушайся!!) Это на удивление созвучно моим умонастроениям и вкусам — нынешним. Только очень может быть, что они как раз и растворены в других книгах и тоже внушены мне...

Хорошо бы побеседовать с тобой о стихах, пока они мне не надоели, — но на нет и суда нет (сюда — нет).

Ну, счастливого тебе творчества во время отпуска и отпуска во время творчества. Не забывай меня, преданного тебе и твоей семье человека. Крепко ее целую — твою семью и тебя и желаю здоровья и покоя всем, всем.

Илья.

Марку Харитонову

14.2.71

Здравствуй, дорогой мой!

Спасибо на добром слове об отрывке. Только меня никак не оставляет ощущение, что я делаю неправильно, посылая тебе отрывки. Тем самым я отвечаю и на вторую часть твоего вопроса: пожалуйста, только с теми же самыми оговорками: ни в коем случае не рассматривать это как отдельное и законченное стихотворение. Это было бы катастрофой: обеднить себя до такой степени в важнейшей части своего существования. Посылаю тебе еще одну главку. Она называется, как и написана — «Сонет». Тем не менее и ее нельзя рассматривать как некую «вещь в себе»: она венчает длинное и довольно нервное рассуждение по этому поводу, и опять же по всей поэме тянутся с ней словесные, тематические и пр. связи. Итак, «Сонет»: «Такая непрощенность эта грязь и поздний стыд — любая казнь в угоду: Предвестница последнего ухода Объявшая меня грехобоязнь. Невыносимо в сдавленном кольце Остаться до конца и сокрушенно Сомнительной гремушкой прокаженных — Напоминаем: “помни о конце”. Кому напоминаем? И зачем? Непрошенно, взалхлеб и неспасенно О замыслах рассыпанных поэм, О горькой невозможности забыться В каком краю, среди каких языцех, Какому собутыльнику повем?..»

Твоя мысль о музыке мне понятна. Но мне кажется (прости за нескромность), что, в общем-то, для меня и не очень большая сложность версификационная ловкость. Я старался ловить нерв в поэме, адекватный теперешнему душевному состоянию. У меня есть глава, где я убирал уже имеющуюся рифму, переводил стихи на прозу — наивная, но попытка передать ощущение собственной неясности и разброда. Впрочем, абстрактный разговор маловразумителен, буду ждать возможности поговорить о вещи в целом.

Первый номер «Иностранной литературы» я получил, но прочел пока только этот как раз «Круглый стол». Дискуссия, по мне, идет пока пустовато <...> Я, конечно, запомнил и искал в первом

номере не твой перевод, а твою статью. Перевод же ничего нового принципиально в тебе мне не открыл: я не сомневался в тебе — стилисте¹.

Сам лейтмотив беллевской речи огорошил меня совершенно: наверное, у меня просто иссякают какие-то жизненные запасы и я не готов к такой безнадежности. Я поначалу думал, что святотатство — это вообще роль живописца перед горящим зданием. Нечто вроде, знаешь ли, «Шепота, робкого дыхания» и пр. в момент лиссабонского землетрясения (помнишь в «Дневниках») или истории с собором у самого Белля в «Биллиарде». А оказалось вона как! Пепел — это, наверное, символ, что-то есть, наверное, в нем и не высказанное самим писателем — но ведь это уж такая трагическая необратимость, такое распоследнее слово, что я хочу верить просто в отчаянную минуту самого писателя — и только. Что касается еще одного перевода — фон дер Грюн — то, как я могу понять, это как раз то, о чем ты писал мне в начале нашей переписки: о писателях, близких по (мысли?) к злополучным студентам (коих ты еще раз вспомнил, о чем ниже). М-да, убого, и тупик, куда он так знакомо ведет, наверное, не меньшая, чем пепел, безнадежность.

Ты пишешь о своем выявившемся, конечном пристрастии к «маленьким людям». Что ж тебе сказать. Только: и я, и у меня. Быть может, во всей мешанине современных литературных перипетий это самая надежная, если не единственная пристань гуманизма — при скомпрометированности «героической симфонии». Ну и благо нам, если мы всамделишно не только вышли из, но и вросли в гоголевскую шинель. В поэме у меня есть глава с условным названием «Диккенс» (там, в начале, мне понадобился единственный раз эпический кусочек — и как я ни бился, получилось плохо. Рассказ в стихах, досадно, — но никак не моя стихия). Ну, а в этой главе я, по-моему, как раз об этом же почти и говорю. Рад, что мы с тобой оказались в конце концов при одном истоке. Ежели это даже и разбитое корыто — ну и пусть: стало быть, все прочие дары государыни-рыбки следует почтительно вернуть людям с иной кожей: не по нас.

¹ М. Харитонов перевел для журнала выступления Г. Белля и М. фон дер Грюна.

Тошка¹ замышлял свою работу при мне, я уже многих просил пересказать мне ее. Ты первый открыл кусочек завесы. Блока понять все же можно: он ведь наблюдал не программу либерала (тут и я «либерал» и только, и на том очень упорно стою), а т.н. его «трагедию» конформизма, сотоварищество в «пергаментных речах» (Щедрин это гротескно выразил «применительно к подлости» — в жизни это зачастую, в конечном счете, действительно драматично, но объективно «применительности» не снимает). Да и вообще, как п о э т может кому-либо повредить своей публицистикой: она ведь вне его, к нему мало причастна; ее не следует принимать во внимание. Впрочем, у Толи это все, наверное, написано густо и остро — так он пишет, сколько я могу судить, и мне, как и со многим другим, остается только ждать лета 1972 года.

Статью Сучкова я читал. Более всего досадно за очередной финт Сартра. Это уже какой-то маразм. Они там все, наверно, обелись гуманизмом, демократией — вот их и тошнит, и ты, кажется, в результате все-таки кругом прав. Интересно, как скоро скажется в этих студентах немудреный, но точный веховский прогноз? То есть как скоро они впадут в «земство» на западный манер и «поклонятся тому, что сжигали»? Вот ведь как легко, оказывается, найти возвышенную основу для жажды кровопролитиев. Но смотри, как все осложняется, Академик Сахаров в известной тебе книге пишет о такой парадоксальной ситуации: поборниками расизма в США, едва ли не самыми упорными, являются белые рабочие — для них негр — конкурент, сбивающий цену на рабочие руки. Как бы там ни было в частности, борьба за равенство рас и наций — одно из самых заветных наследий прошлых веков. Я логически делал вывод, что раз так, как у Сахарова, то кроме негра остается еще белый интеллигент, в том числе студент, — ему-то больше под силу хотя бы участие в известных маршах. Словом, все запутанно: напалм, Сонгми — человечность — человечность — велосипедные цепи! Черт ногу сломит.

¹ Анатолий Якобсон (1935—1978) — литературовед, переводчик, поэт. Речь идет о его работе «Конец трагедии», посвященной А. Блоку.

Галя Гладкова писала мне о выдающихся способностях в живописи твоего Алешки. Пушай он мне сделает к моему приезду экслибрис, раз уж Галке и тебе это в голову не приходит. И на этой обнадеживающей нотке я тебя, твою жену и детей очень сердечно обнимаю. Успехов тебе, друг мой!

Илья.

Семье Зиман

19.2.71

Здравствуйте, дорогие друзья мои!
(Торжественно я начал, верно?)

Ну чего ты, Леня, сетуешь! Что я, виноват, что ли, ежели от природы телепатичен. Я знаю, например, что сейчас, когда ты, Леня, читаешь мое письмо, ты поглаживаешь бороду. Ну, а это уж никуда не годится! Леня, перестань ковырять в носу, тебе уже скоро 33 года, Христа в этом возрасте уже распяли и Магомет чувствовал, что он уже не жилец на этом свете. Кстати, с этим «скоро» я тебя, дружище, сердечно поздравляю. Многих тебе лет и совпадений намерений и их воплощений.

Кинулся я сейчас жадно на журнальчики — хотя идут они пока лениво. Должен тебе, друг мой, польстить от всего сердца: из всего полученного мной пока «Театр» оказался самым интересным <...>

Представляю себе, как вы будете разрываться скоро между Детским театром и кафе «Садко». И можно, я думаю, ждать скоро, что на одну из наших встреч вместо почтальона нагрянет индийский или варяжский гость.

Я очень рад, Аллочка, что ты не сердишься на меня за мой доктринерский тон. Я очень жалею об этом, потому что к серьезному разговору примешал тогда малость скоморошества. Это инерция стиля и настроения. Отвечаю на твою анкету.

1 Иллюзия — это, по-моему, любовь к мечте (БСЭ — т. 18, стр. 79, 19-я строчка снизу). И любовь тоже есть. А как же. К ближнему,

например, или к трем Апельсинам (хотя последняя пахнет многоженством. Да и имя неизячное: Апельсина!).

2. Счастье — сущ., ср. рода, неодушевленное, нарицательное, 2-е склонение, ед. число, им. падеж.

3. Ученье — при свете, конечно, удобнее. Но и во тьме тоже неплохо. Смотри что считать учением, конечно. (См. Пушкин: «И после ей наедине Давал уроки в тишине».) <...>

Крепко вас всех целую и всех приветствую <...>

Ваш Илья.

Галине Габай

19.2.71

<...> Зима, по календарю, идет к концу, и была она по здешним условиям мягкая. Очень морозных дней было немного, да и те аборигены считают пустяковыми. Осталась еще одна зимушка, остальное не в счет, остальное — только ожидание без особых, мне кажется, тягот.

В прошлом письме я тебе писал о новых соображениях по поводу предстоящего свидания, обязательно напиши, получила ли ты его, это уж очень важно — важнее некуда <...>

Ты мне не пишешь, получила ли ты, и — еще важнее — Алешка мои деньрожденные поздравления. Я пишу, что Алешка, потому что Алешка должен как-то издали чувствовать, что мне памятна дата его явления в мир. Очень мне приятно, что он провел этот день в кругу сверстников. То, что ты недооценивала порой, — умение с детства, не теряя себя, жить среди людей — качество жизненно нужное. Мне оно в течение 21 месяца, по-моему, очень до сих пор помогало, и при этом я не ловлю себя все-таки на воспоминаниях о каких-нибудь принципиальных компромиссах, тем паче — серьезной неискренности. Накопилось ли у Алеши достаточное множество собственных книг? Если да, то надо думать о фундаментальном книжном угле (со временем стенке) для него. По мере его возрастания часть книг (классика в первую очередь) сможет перейти в его владение. Мне

как-то мечтается, чтобы он заразился моим азартом тратить на книги, ловил их. Только *внушать* это бесполезно, хорошо, если это будет органично <...>

Алине Ким

23.2.71

Дорогая Алинька, поздравляю тебя с теплым семейным праздником сухопутных сил и военно-морского флота. А себя — с приходом двух твоих писем.

Мне очень тепло от описаний тезоименитства моего сына. Мне как-то всегда хотелось, чтобы ему было весело и раскованно в кругу своих достопочтенных сверстников. В твоём описании он (внешне) какой-то мне незнакомый. Но письма у него сейчас стали интересными, я чувствую духовную близость, а иногда мне хочется снять почтительно шляпу. То Блока процитирует, то, знаешь ли, порассуждает о картине неизвестного мне художника Рождественского — ужас как быстро растут люди. Представляю себе, как далеко ушел Марат. Подожду немного — и начну набрасывать тезисы предстоящей беседы с ним <...>

О «Короле Лире» начитан и, конечно же, хочется посмотреть. Гамлет, по-моему, был все-таки больше фильмом Смоктуновского, нежели Козинцева, а здесь, судя по прессе, совсем не так. Я в своей жизни не видел даже, а слышал одного-единственного Лира, и то на еврейском языке, в котором, каюсь, но силен не многим более, чем в древнегреческом. Ну, и по слышанной пластинке, и по описаниям Михоэлс стал для меня эталоном Лира. А здесь видишь как! Говорят, там очень интересен шут, и вообще: не один Ярвет, а все прибалты играют прекрасно. Особенно, я читал, актер, который играет в «Мертвом сезоне». А очень ли заметно, что в кино говорит не сам Ярвет?

Бог с тобой, Алинька, что ты такое пишешь?! Почему это тебе нужно было бы отказаться от защиты? Я понимаю, когда такая проблема возникает у нашего брата: тут бывает, что ты должен разоблачить

почитаемого тобой Кафку, и все представляется как испытание собственной щепетильности и чистоплотности. Но я не представляю, почему и как в твоей сугубо практической и очень благородной сфере могут возникнуть подобные нравственные сомнения. Чем же это плохо — почитать специалистов, подытожить собственную работу, ну и попутно, между прочим, несколько улучшить прозаическую сторону своего бытия? Кстати, в твоём отпуске я усматриваю практические выгоды и для себя: будешь мне писать почаще (это раз!) и я одолею свою фтизиатрически-педиатрическую дремучесть (это два!) <...>

В последнее время хлынула на меня пресса, прочел я несколько журналов этого года — без особо острых впечатлений пока. Сегодня пришел «Новый мир» № 1, но я его, вопреки своим привычкам, еще даже и не просмотрел. Так что поговорим о нем в следующем письме, которое, надеюсь, не отложится на долгое время. Крепко целую тебя и твоих домашних

Илья.

Юлию Киму

24.2.71

Здравствуй, Юлик!

Получил сегодня два твоих письма. Помимо всего прочего, в них первые по-настоящему успокоительные сведения об Автозаводе¹, что меня согрело, и очень.

Я рад, что твои творческие дела более или менее благополучны. Тебе вряд ли стоит прислушиваться к снобистским голосам извне, да и к своему собственному тоже. Песни ж для тебя не ремесло, отнюдь, — часть твоей творческой стихии, и еще, я уверен, когда наладится окончательно материальная сторона жизни и можно будет в этом жанре делать только до конца интересное самому себе, пойдут вещи и помасштабнее (размером и формой), покраеугольнее.

¹ На ул. Автозаводской жили семьи Кима и Якиров.

Глава, о которой у нас зашла речь, волнует меня прежде всего тем, что она слабая, слишком прямая и риторичная. Я ее скорее всего выброшу, композиционно здесь ничего не пострадает. В отличие от еще пары глав, переделать которые у меня пока нет мозговой силы, а выбросить нельзя, — потому что они повод для последующего, дорогого еще мне пока, разговора. Вся беда в том, что противоречивую этическую проблему в упомянутой главе (проблема, для чего жить: для актуального — переход его в сиюминутность, суетность, по-моему, неотвратим — или «для вечного») никак нельзя решать односложно и прямолинейно. А не так — кишка оказалась тонка.

Рад, что Ирка оправилась, и очень жалко, что ее пока не хватает на письма (я действительно жалею именно об этом, а не высказываю претензии). Геологическую экспедицию я все-таки никак не могу ей советовать: там требуются физические усилия, а она, мне кажется, сейчас не имеет никакого права на усталость. А филонить по знакомству — это, наверно, для более забронированной совестливости. Так что кругом трудно, и я не устану занудно повторять, что все усилия надо направлять на получение возможности закончить учебу. Мне еще так представляется, что сейчас, в новом качестве, Ирише это будет просто-напросто и приятно: труд, в котором даже в самом плохом варианте что-нибудь да извлечешь. Я вспоминаю, что в дни сессии я с удивлением открыл, что даже в истории педагогики есть нечто такое, что следует вполне душевно принять к сведению. Ну, что именно, — сейчас, конечно, безнадежно позабыто.

О каких-то перспективах с «Недорослем» мне писала Майя (жена Федорова и дочь Рошаля; напоминаю, потому что ты, может, зовешь ее поофициальнее). Дай-то бог. В твоём письме прочувствуется много взыска к себе, в чем-то, я убежден, совершенно напрасного. По этому поводу я тебе открою секретик: я вчера отослал письмо твоей сестре. Секрет, разумеется, не в этом, а в том, что мне пришлось волноваться в этом письме из-за совершенно нелепых ее этических треволнений: как честный человек, она, видишь ли, должна была бы не писать диссертацию. Уму непостижимая ересь! Отнесись к этому все-таки как к секрету: передавать содержание своих писем Алинька меня не уполномочила, но, помимо прочего, я хотел бы,

чтобы в серьезный период ее жизни родственники знали о такой глупой червоточине и были бы в соответствии с этим по возможности бдительны. Как будто бы можно сомневаться в праве работать по призванию — ересь и только.

О многом надо было бы поговорить, но разве все впишешь в одно письмо? Пиши чаще, как и обещал. Крепко тебя целую и низко кланяюсь всем твоим домочадцам

Илья.

P.S. Какие ты там связки порвал? Мне об этом написал Гера, а ты ни слова. Сильно ли ты мучился в этой связи?

Илья.

Герцену Копылову

24.2.71

Дорогой Гера!

Ты в конце своего припоздавшего письма выражаешь надежду, что «оно (т.е. письмо) позабавит меня». Так оно бы, может быть, и было бы, если бы ты не сообщал довольно печальные вещи. У меня ведь все-таки, при всем моем скептическом отталкивании от модного ореола вашего брата-физика, укоренилось прочно убеждение, что уж лысенковские ситуации вам просто не по профилю работы, ни к чему.

Ты ничего не сообщаешь, чем это практически может для тебя обернуться¹. Достаточная ли панацея твоя докторская степень, твои научные труды и премии? Есть ли на всякий случай организации с близким научным профилем? Эгоистически говоря, твои друзья не были бы огорчены, если б это вдруг обернулось работой в Москве, но я вполне отдаю себе отчет в том, что это может не совпадать с твоими творческими и житейскими пристрастиями <...>

¹ Неясно, о чем идет речь.

Сейчас более или менее стала поступать подписка, и я закопался в журналах, оставив более серьезное чтение для паузы. Так вот почувствовал необходимость даже с риском потерянного времени вникнуть в сегодняшние дела нашей литературной планеты: как она там без меня, вертится ли?

Среди нового (и не очень нового) журнального чтения мелькают имена притчей во языцех: все тех же Евтушенко и Вознесенского. По-моему, им сейчас самая пора дать читающей России время для отдыха от своих имен — так убого, как я понимаю, они раньше не писали. Дело вот в чем, по-моему: художник (настоящий) обязан стремиться написать лучше, чем в прошлый раз, доказать, что у него, кроме набитой руки, есть еще НЕЧТО за душой (совсем иная статья, получится ли, тут уж никто не виноват, если нет и даже если какое-то время автор не чувствует поражения). А Евтушенко в «Литературной России» и Вознесенский в «Юности» (в конце прошлого года) просто откровенно не стыдятся перепевать самих себя, высасывать из пальца значительные благоглупости. У Евтушенко, например, такое четверостишие (надо полагать, с «подтекстом»): женщина должна быть доброй; вот как она почувствует, что она добра, значит, она стала женщиной. Чем это принципиально отличается от позиции Кобзева — бог весть.

Я пишу, а сам боюсь: не продиктована ли хоть отчасти моя филиппика обыкновенным чувством конкуренции. Думаю, что нет: я все-таки давно уже дел в русской словесности привык не принимать близко к сердцу. Парадоксальное впечатление, но мне кажется, что в наши дни, у нас, ветер востока дует. Среди того, за чем мне удается следить, проза Айтматова, стихи Кулиева и Гамзатова — людей, работающих постоянно, представляются мне едва ли не самым значительным.

Среди политических событий я совершенно недоуменно выделяю действия Меира Кахане. Я действительно считаю такие счета к скрипачам или хору вещь суетной и непонятной, даже беспринципной. Независимо от политических пристрастий, просто не могу ухватиться за логическую ниточку в таких поступках. Мне кажется, что они действуют в полном противоречии с национальными традициями

мудрости и достоинства. Впрочем, не исключено, что я чего-нибудь не понимаю.

Надеюсь, что у тебя будут условия работать с полным душевным спокойствием.

Обнимаю тебя. Илья.

Елене Гиляровой

26.2.71

Леночка!

Хорошо, что хоть с опозданием, но письмо мое докатилось до твоего Коньково. Возможно, в промежутке между этими двумя письмами ты получила еще одно — я тебе написал недавно. Правда, особой ценности оно не имеет — куцее такое письмишко. Я сейчас завел для интереса реестрик, могу уточнить, что это письмо отослал тебе двенадцатого февраля.

О моей «мудрости благородного свойства», друг Горацио, — все-таки порой не достаёт врожденной олимпийскости. А надо бы — не век же жить по адресу: Кемерово-28. Труд я свой закончил, но, по всей видимости, придется хранить его в голове — непрочное, по нынешнему моему времени, сооруженице <...>

Ты пока что первый человек, так — гм... сдержанно говорящий о фильме Козинцева. Я получил восторженные письма об этом фильме; может, у людей, которые писали мне об этом, не было твоего ревнивого пристрастия к Шекспиру? Я сам не большой поклонник парадоксальных интерпретаций классики. Р. Роллан неистово приводил франсовский пример: Синяя Борода — однолюб; примеры можно и умножить: Дон Кихот — плут, мистификатор и Санчо-сифилитик у Светлова, Дон Жуан — импотент у М. Фриша и пр. Но ведь нет и никакой монополии даже, скажем, у Михозлса на последнее слово этой интерпретации. О переводах я тебе ничего не скажу: во-первых, не читал Кронеберга, а главное, не знаю языка. Шекспир поэтому никак не отделен у меня от Пастернака (сонеты — от

Маршака), я его по ним полюбил (кажется, я очень традиционен, но для меня под первыми номерами вечного чтения он, «Дон Кихот», Достоевский, сейчас еще и Т. Манн).

Нечто подобное я ощущал когда-то, переходя к переводу того же пастернаковского «Фауста» от переводов Соколовского, Холодковского. Потом переубедился, да и переубеждаться-то было нечего: почитай сейчас перевод Холодковского — и подивись обычновенному стихотворному убожеству <...>

Всего тебе и вам — твоим домашним — хорошего.

Твой Илья.

Галине Гладковой

3.3.71

Дорогая Галка!

Получил от тебя сразу два письма. Это уже стало традицией — очень хорошей; остается пожелать, чтобы она проявляла себя попериодичнее.

А кем это, Галка, сказано: «Не позволяй душе лениться»? Именно д у ш е — на все остальное хватает времени и забот как-то. И то сказать — на всякое душевное движение хватает литературоведов в штатском; надо бы не замечать, но как не замечать — сил нет.

Что это ты так засокрушалась о возрасте? Вместе старимся, и хорошо бы дотянуть, подруга, это «вместе» до благородной преклонности в летах <...> И ты уж, по законам старой дружбы, будь себе турком сколько тебе заблагорассудится: жалуйся то есть.

Между прочим, какая-то еще одна телепатическая примета: приведенные тобой пушкинские строки «И с отвращением читая жизнь мою...» у меня торчат в качестве эпиграфа к одной из глав. Это потому, что тема-то неизменно моя, если ты помнишь. А тема моя — потому что и не очень складно и не очень чисто, — вот главное, — жил и поживал. Неизбывная цепочка, черт бы ее драл <...>

В журнале «Юность» куча стихов наших институтцев: Тани Кузовлевой, Юры Ряшенцева, Иосифа Тюкавина — и все почему-то вахнюковского¹ измерения. Интересно, что когда знаешь, что за душой у людей больше мыслей, чувств и культуры, — за поэзию еще большее. Впрочем, может, здесь и уместно: «Излечись сам»? Не мне судить — судить вам всем, моим близким, — но когда же?

Крепко целую тебя и желаю много чего хорошего Сашке и Володе.

Твой Илья.

Юлию Киму

4.3.71

Здравствуй, дорогой Юлик!

Песни твои прочел, ну и, как всегда, приходится воображать их звучание и их вписанность в фильм. Наглость неслыханная: вообразить себя режиссером и еще композитором (!) Но ничего не напишешь. Вот, например, Гера на мой запрос о твоих песнях ответил: «Не знаю, Юлик их не поет». С чего бы это? <...>

Хорошо бы идее «Недоросля» все-таки воплотиться в жизнь. Для Майи особенно, которая, наверно же, истосковалась по делу, ну и для тебя, тем более что последующее материальное и моральное вознаграждение уже не потребует от тебя очень уж многих сил.

Хотелось бы вслед за тобой побывать в мастерской Лемпортов². У меня, по вздорности моего характера, отношение к ним было амплитудное: от телячьих восторгов до скептического; особенно по поводу их всеядности и профессиональной отстраненности от дел простой человечности (так мне казалось). Но они — мастера, а это уж, действительно, самое главное.

¹ Борис Вахнюк (1933—2005) — бард, журналист, выпускник МГПИ.

² Имеется в виду содружество скульпторов: Владимир Лемпорт и Николай Силис.

Ну, будем жить и надеяться, что нашим друзьям и близким за-
светят большие и малые радости. Заслужили. По всем статьям.
Целую тебя. Илья.

Герцену Копылову

4.3.71

Дорогой Гера!

<...> Ты, наверно, совершенно прав, говоря, что целиком и полно-
стью т в о е г о, соавторского стихотворения не существует. И все-таки,
созная, что так бы я не написал и такой-то стилистический оборот
мне не свойственен, я все-таки очень хотел бы быть автором многих
русских стихов. Назову первые попавшиеся: «Брожу ли я вдоль улиц
шумных», «Когда для смертного...», «Пора, мой друг, пора», «Дума»,
«Не верь себе...», «Два голоса», многие стихи Блока, Пастернака, За-
болоцкого. Существует иногда даже ощущение (вздорное, разумеется),
что классики просто опередили меня: так это мне родственно и близко.
Хотя и тут фокус-покус: временами, несомненно, близко именно потому,
что они написали уже, открыли мне, так сказать, глаза.

Твои выдержки из Эйнштейна чрезвычайно интересны; но боюсь,
все-таки, что они рассыпаны среди формул и естественно-научных
выкладок. Тогда труба дело: мне это никак не осилить, и 4-й том
Эйнштейна так и не будет мной в жизни прочитан. Между тем при-
шел второй номер «Вопросов философии» (сегодня). Я его еще не
читал, но по оглавлению могу судить, что, скажем, такая статья, как
«Фундаментальные понятия и принципы в структуре физической
теории» написана явно не для меня. Может, ты как раз зря совер-
шенно игнорируешь этот журнал? Я, правда, не знаю, затрагивают
ли специальные ваши издания философские проблемы, а это ведь
должно быть интересно и поучительно.

Один из моих товарищей подписал меня на журнал «Памир».
Пришла одна книжка, номер безусловно пустой. Но это ничего, на-
верно, не значит: номер на номер не приходится <...>

Пустоват, как я могу судить, и мир книжных новинок. С чего бы это в этом году? Не помню, писал ли я тебе о замысле «Разина» у твоего любимого Шукшина. Меня он (по его давнему интервью) насторожил, и поэтому результат кажется сомнительным.

У меня здесь выработалось несколько собственных отсчетов времени. Очень удобно считать по периодическим изданиям: по понедельникам, например, когда приносят «Литер. Россию», или по четвергам — день «Литературки». Паузы заполняются журналами и письмами (последние недостаточно; но я в этом отношении, кажется, прожорлив) — и время идет. Рекомендовал бы и тебе свой счет, но к чему в Дубне-то торопить время?

О Наде Рушевой я больше наслышан. Очень давно, когда ей было лет 15, в «Юности», кажется, была ее небольшая выставка. Но тогда ни булгаковских, ни пушкинских тем не было и в помине. Мне писали по ее поводу о каком-то ограниченном пределе земной жизни для таланта. Малоутешительно в каждом конкретном случае, верно? И еще: многое я пропустил и пропущу за эти годы; как хочешь, но это обедняет. Потому я тебе советую, невзирая на суетные [нрзб], все-таки стараться уловлять интересные эпизоды в нашем искусстве. Но тебе, впрочем, виднее.

Всяких тебе благ.

Илья.

Марку Харитонову

10.3.71

Дорогой Марик!

Получил сегодня письмо от тебя и от Галки (твоей) и одновременно «Иностранную литературу», которую еще не читал. Поэтому разговор о твоём опусе придется отложить до следующего письма. А Галке я отвечу завтра на все ее чудесные и добрые слова.

Хорошо, что ты под музыкой имел в виду нечто иное, не связанное с версификацией. И твоя похвала присланным отрывкам мне

очень кстати; собственно, это первый отзвук своего — и строгого (надеюсь, ты не изменил традиции нелицеприятного разговора) читателя-собрата. А вот прочтешь ли ты вещь целиком — бог весть: бандероли от нас не принимают, кажется, а переписывать все 20 глав — сизифов труд¹.

Я совершенно не знаю правил общих свиданий, пускают ли не-прямых родственников или нет. Желание увидеть тебя очень и очень велико, но взвесь все, особенно имея в виду, что со средствами у тебя не густо, а траты ведь немалые. Я-то думал, что ты будешь в Красноярске и сделаешь это с оказией, тогда все было бы куда менее болезненно <...>

Хотел бы еще прочесть твои рассказы. Ты ничего не делал для их публикации? Я сейчас вспомнил о нашей идее и попытке совместного романа². Фантастическая идея — но светлая, верно? Кто знает, вдруг она и осуществится когда-нибудь. Хотя бы так: мы пишем параллельно, не пересекаясь (только иногда), два романа в одном. Я не оставляю мысли когда-нибудь проиллюстрировать прозой, судьбами (всамделишными и сфантазированными) свои вирши. Я недавно многие из них перечел (мысленно) и подивился одному обстоятельству: многое все-таки было предугадано. Интересно, интуиция это или как-то малозаметно подгоняешь жизнь под стихи, которые все-таки при всех обстоятельствах — определенная квинтэссенция помыслов. Темочка — да? Эгоистическая. Но раз уж думается, я и написал тебе.

Советую тебе прочесть, если ты не читал еще, статью «Парадокс Кампанеллы» во второй книжке «Вопросов философии». Там совершенно неожиданно (для меня) поворот больной (тоже для меня) темы — волховской.

Я получил за это время еще одно письмо от Валерия Агриколянского и вдруг — от Эрика Красновского. Прибавь к ним тебя, Галок

¹ В том же марте, когда было написано это письмо, «...появилась возможность передать поэму на свободу: администрация лагеря дала Илье Габаю одну ночь для свидания с женой. Рукопись поэмы незадолго до этого была отобрана у него в один из лагерных обысков и находилась у администрации. Илья записал поэму по памяти. Он писал всю ночь. Писал на форзацах книг, привезенных ему для чтения» (прим. Галины Габай).

² Об этом романе («Повесть временных лет») см. прим. 2 на стр.42.

(Гладкову и твою), Юлика, Леночку, Церину Иоффе и др. — получается, что еще как живы институтские курилки. Ну и будем жить, друг мой. Успехов тебе и обнимаю.

Твой Илья.

Галине Эдельман

12.0.71 г.

Дорогая Галка!

Это правда, письмами ты меня не очень балуешь. Но зато — какие письма! Я очень тебе благодарен за все твои хорошие слова. Помоему, мне теперь за всю жизнь не отплатить своим друзьям за эти семь месяцев (пребывания в колонии) самой высокой дружественности. Я понимаю, что извиняющееся слово «дела» ты взяла в кавычки из особой совестливости: дел-то у тебя с двумя детишками, с преподаванием, должно быть, действительно невпроворот, а я-то знаю, что письма требуют некоторой душевной сосредоточенности <...>

Странное обстоятельство, но мне кажется, что переписка с Галей Гладковой очень способствовала нашей столетней дружбе. Во всяком случае, на расстоянии снялись издержки общей замотанности и закруженности (той самой, о которой я писал в отрывке, посланном Марку). Вообще, цена недешевая, но разлука очень многое ставит на место. Вот и у нас с тобой — какие были деньки и года! Один Красноярск чего стоит. И как-то грустновато, что то, что составляло предмет нашей общей гордости — твоя живопись и графика — отложено тобой. Если, конечно, ты просто не выражаешь таким образом пристрастия к себе. Вот ведь Галя (Гладкова) тоже настойчиво пишет, что нет у нее никаких стихов, сколько я ее ни просил о присылке их.

Юлик писал мне (и очень тепло) о недавнем посещении мастерской Лемпортов. Оборвалась ли у тебя совсем эта линия? Жалко было бы очень. Я просто не хочу думать, Галя, что ты надолго покончила с рисованием — было бы это тяжело и непростительно. Верни мне старые долги и приготовь новые, ладно? Я не знаю, удастся ли нам

увидеться с Марком. Вряд ли, да и вообще, пока вы не в Красноярске, надо, как ни хочется, отложить это сумасбродство <...>

Бывают времена невозможности задушевных минут (иных у нас, по-моему, и не было); надеюсь, что сейчас эти времена в прошлом. Во всяком случае, многое определилось, встало на место и вернулось на круги своя. Я неизменно получаю письма от Гладковой, Леночки, твоего братца, твоего мужа — связи, как видно, крепкие и, смею надеяться, навечные. Вряд ли я могу очень уж сокрушаться по поводу приходящих людей нашей компании (скажем, Рабинович или Македонский), но некоторые потери чувствительные — Владик¹, в первую очередь. Рыжих я не могу относить к потерям; думаю, что они просто не эпистолярные люди. Я все это, Галочка, пишу с такой подробностью, потому что материал для меня очень важный; с этим, собственно, связаны почти все мои взгляды в будущее.

Я надеюсь, старинный мой друг, что тебе еще не раз захочется написать мне такие или иные письма. Буду ждать, а ноне крепко целую тебя и твоих ребятишек.

Твой Илья.

Галине Габай

12.3.71

Приветик, жена!

Только что написал письмо Гале Эдельман и маленько расчувствовался: очень уж многое и хорошее связывает меня с институтскими друзьями <...>

Я совершенно запутался с перспективой свидания <...> Давай, наверно, так договоримся. Если не получится с личным свиданием, не приезжай вообще. Словом, реши все сама.

В «Театре» (втором номере) рекомендую тебе очень интересную статью И. Вишневской о «Ревизоре». Она захватывает, хотя не

¹ Имеется в виду Владислав Пронин, соученик по Пединституту.

думаю, что ее пафос оправдания водевилей и «грубой комики» так уж близки мне. Может, что еще есть, но я еще не читал. Очень жду «Вопросов литературы». Мне ведь сейчас хорошая статья приятней для чтения, чем беллетристика <...>

Целую тебя. Илья

*Эрнесту Красновскому*¹

Март 1971

Очень рад, Эрик, что ты преодолел какие-то там комплексы — и объявился. «Комплексы» эти я понимаю довольно просто: не было у нас раньше повода и традиции переписываться, вот и трудно было положить почин. Словом, ты молодец. «Нечаянная радость», как говорится в любимом романе твоей жены и моего соратника (бывшего). Такой же «нечаянной радостью» одарил меня недавно и Валерий Агриколянский, так что мне простор лелеять свою оптимистическую тему — неутери друзей. И буде на эту тему.

Уверенности и ясности твоей я завидую, и очень мне бы тоже. Я тоже, бывает, гармонией упьюсь — потом оказывается, что не очень-то это и ко двору, и обольюсь (тоже случается) — потом оказывается, что все-таки над вымыслом. Читать детям Пушкина — занятие счастливое, которое оцениваешь, когда читать невозможно и скоро не предвидится. Я это к тому, что почувствовал, мне кажется, совершенно напрасную у тебя снисходительность к своим занятиям. Не было ли у тебя желания написать поэму о Пушкине? Я недавно читал и (утрирую) представляю себе такую модель творческого процесса:

1 действие. Юность.

Кто-нибудь (Пушин, Карамзин — все одно):

— Пушкин, как ты мыслишь жить дальше?

¹ Э.А. Красновский (1936—2008) — педагог, соавтор учебников по литературе, товарищ по МГПИ.

Пушкин:

— Друг мой! Пока мы еще горим свободой, пока не поздно, давай самые прекрасные порывы своей души посвятим отчизне!

2 действие. Михайловское. Пушкин прощается с Пущиным.

Пушкин:

— Друг мой! Бесценный и первый! Я благословил судьбу, когда мой занесенный снегом и уединенный двор огласил звук твоего колокольчика и т.д.

Принципы похожие, и как бы искусно это ни камуфлировали (при всеобщем среднем образовании это профессионально нетрудно), от чтения на такие темы невесело.

Не знаю уж, больше или меньше, чем вы, я читаю, но занятие это по нонешним временам бестолковое (я имею в виду выходящие и приходящие журналы). Признаться, мне кажется, что я это делаю порой из какого-то будущего самолюбия, то есть из самого прозаического желания сказать когда-нибудь: «Как же, как же — читывал». Вру опять маленько, но чтение в основном раздражает.

Я рад, что вы время от времени видите с Зиманами — люди эти настолько верные и правильные, что мне порой стыдно за случившуюся в прошлом толстокожесть.

Мне впору — при твоей занятости — сообщать тебе, кто как из институтских наших живет, но я не стану: и как вам, братцы, не совестно так кружиться, что и не видеть друг друга по тысяче лет? Впрочем, и это лучше всего проясняется разлукой, чего я тебе никак не желаю. Совершенно ли ты похерил свою диссертацию, и если да — почему?

Очень хочется, чтобы у вас, у тебя, у Гали¹, теперь еще и у Глеба, с которым я расстался чуть ли не в эмбриональном его возрасте, все было интересно, благополучно и неутомительно. Вавка² написала мне, что совершенно оборвались связи с коллегами по 521-й школе. Это жалко. И вообще много чего жалко. Пиши мне почаще, если

¹ Галя Орлова, Глеб — жена и сын Э. Красновского.

² Герлин Валерия Михайловна (Вавка, 1929—2012), жена Ю. Айхенвальда (1928—1993), сменила Илью Габая в школе № 521, когда он вынужден был оставить преподавательскую работу.

и как сможешь. Целую тебя и твою Орлову и сердечный поклон мало пока известному Глебу. Готовь к 72-му году пляж, как уже бывало.

Илья.

Елене Гиляровой

17.3.71

<...> Слушай, Леночка, я подумал, что в наших с тобой диалогах по поводу святого искусства есть (с моей, разумеется, стороны) юмористический оттенок. Я ведь, как правило, пытаюсь рассуждать о вещах, которые не видел и не скоро еще увижу. Все мои познания исчерпываются газетной и эпистолярной информацией. Последняя, между прочим, весьма и весьма разноречива. Что касается переводов, то и здесь мы с тобой — из-за моей одноязычности — в разных положениях. Я только и могу сказать, например, что холодковский «Фауст» убог и косноязычен, малопоэтичен, а пастернаковский — явление громадного искусства. То же и его и Щепкиной-Куперник, скажем, Шекспир. И оттенков школ Лозинского и Пастернака я чувствовать не могу: доверяю обоим, потому что они приобщили меня к гениальным вещам. Правы ли они, бог весть, но что Данте и Шекспир — великие писатели, это им обоим удалось доказать. Между прочим, я читал в 1967 году почти всего Гете (собрание под ред. Луначарского). «Вильгельм Meister», «Поэзия и правда» (так, кажется) и пр. показались мне вымученными и холодными вещами.

Что касается атрибутов шекспировской жизни, то и здесь, по моему, фокус-покус. Сколько я помню историю театра «Глобус» или английского театра елизаветинских времен вообще, очень условного в декорациях, костюмах, технике, — у меня довольно твердые основания предполагать, что в «Гамлете», например, и не думали воспроизводить атрибуты раннего датского Средневековья. Мне чрезвычайно симпатично, что Смоктуновский в фильме так задумчиво, с сомнением, без истерики воспроизвел памятный

монолог или Юрский у Товстоногова (я, правда, видел «Горе от ума» с Рецептером, но, говорят, в режиссерской трактовке это все равно) высказывает «Карету мне!» как естественную просьбу слуге, а не как «Марсельезу» на баррикадах. Ты, наверно, читала, как отзывались современники о Рашель — Герцен или даже Панаев. Они тоже чувствовали, что каратыгинский репертуар может сыграть и современный, с иным пафосом актер. Иначе многое ушло бы в историю и этнографию, что было бы жаль.

Третий номер «Юности» буду ждать и обязательно напишу тебе обо всем. А во втором номере «Иностранной литературы» прочел статью о неофашистских стихах и романах. Убожество приметное, то есть, слава богу, типично немецкие штучки, на остальное человечество (его культуру) не распространяющиеся. Еще я прочел там рассказ Моэма о палаче и подивился — старому-то писателю к чему была такая новачка игра на безнадежных и злых проблемах. Был когда-то прекрасный — куда человечнее — фильм «Палач» (испанский). Интересно, что вышло раньше — фильм или рассказ?

Очень буду ждать твоего письма. Валерику, детишкам и всем знакомым — самые добрые пожелания. И тебе, разумеется. Не стала ли ты за эти два месяца ближе к каналам книгодоставания?

Твой Илья.

Алине Ким

19.3.71

Дорогая Алинька!

Ты рано порадовалась: твое письмо шло ко мне аж 13 дней.

Раз ты уж так требуешь от меня погоды — пожалуйста, вот тебе. Началась было весна, температура упала (научно: повысилась) до +2 днем, а сейчас вдруг снежные буранчики. Все равно — последние денечки, а там уж антрактик перед последней зимой.

Я, наверно, должен был бы сокрушаться по поводу твоего сына, но, наоборот же, радуюсь. Любопытный и хороший, чего ж тебе

еще, мать (чуть не добавил по заведенной привычке: «твою!!») надо — рожна? Мало ли что он не укладывается в модельчик твоей, бабушкиной, дядиной — всехней — фантазий! Кроме того, именно эти 5—7-й классы наиболее нудные и нетворческие. Многие дети живут по инерции за счет прилежания в начальных классах, учатся отлично, а потом оказывается, что они ничто. И наоборот, в старших классах обнаруживается, кто все-таки нечто. Жаль, между прочим, что отменили экзамены в каждом классе. Они как-то приучают к восприятию в системе, целиком, а не кусочками. У меня в школе отметки доходили до двоек даже в четверти и пятерки на экзамене (проверил: сестра привозила как-то мой табель за 7-й класс, мы с Галей потешались) <...> Так что не кручинься. Правда, почему я привожу в пример себя, — неясно. Маниа грандиоза.

По поводу твоих мыслей (теперь уже можно признаться) я нажаловался твоему братцу. Он меня успокоил. По-моему, мы поставили на консилиуме тебе блестящий диагноз: дурью мучается девушка. *Mania schteretiliumus*. Между прочим, вчера я вдруг получил письмо от Вали Ненароковой¹ (помнишь ее?). Она теперь гинеколог-радиолог (какие там у вас еще бывают специалисты? Венеролог-стратонавт?) и тоже собирается писать диссертацию. Я ей откровенно написал о тебе: как ты мне присылаешь главы своей диссертации, как я подвергаю сомнению чистоту твоих опытов над детьми, как мы опровергаем и вновь выдвигаем чахоточные гипотезы и как в наших с тобой научных спорах рождается истина Коха. Сейчас я немного волнуюсь: вдруг она решит, что все это — достойный пример для подражания, и мне, бедному, придется работать, как сейчас принято говорить, на стыке двух сложных наук (в которых я в равной степени копенгаген): гинекологии и радиолокации.

Володя Лапин² написал мне сам, и я буду просить его прислать мне стихи. А пока я знаю только одно его стихотворение — именно это письмо, представляющее собой рассказ (зарифмованный) о коликах в желудке Тимачева, отравленного не только скепсисом,

¹ В. Ненарокова, врач, сестра историка А.П. Ненарокова, товарища по Пединституту.

² Владимир Лапин (1945—2005) — поэт.

но и твоими национальными — корейскими — консервами. На них еще этикетка такая: «Ко мне, Мухтар!» Между прочим, в Ташкенте корейцы Пак, Цой и Ким (!) уверяли меня, что нет ничего вкуснее умело приготовленного Бобика. Но я не могу привыкнуть к такой мысли: все-таки друг человека. Хотя, с другой стороны, бараны и коровы — тоже ведь не заклятые враги.

Недавно я прочитал в журнале «Театр» № 2 гениальную грузинскую пьесу. Понимаешь, дети одного крестьянина вышли в люди, стали министрами и счетоводами и совсем оторвались от хозяйства: подоить козу — и то не умеют, ужас какой-то! Так вот, отец дал телеграмму, что он мертв, дети приехали, и он стал их приучать потихоньку к очень нужным для министра вещам: починить ограду или оскотить барана. Почти приучил. Рассказав тебе все это, я могу надеяться, что ты бросишь все силы на доделку диссертации. Чтение подождет.

Целую тебя и всех твоих домашних.

Твой Илья.

Марку Харитонову

19.3.71

Дорогой Марк!

<...> Со свиданием, видишь, дело осложнилось. Я заморочил Гале (моей) голову перспективой личного свидания, но это отпало, и по моей вине отчасти: я не могу пройти сейчас через всякие хлопоты, с этим связанные, да и щепетильное это дело — вполне может получиться так, что это лишит свидания какого-нибудь очередника. Вообще-то, как ни радужна была перспектива увидеться с тобой, может, оно и лучше, что ты не поедешь: траты немалые, а твердых гарантий встречи — нет. Галя Гладкова написала мне, что взяла у тебя отрывки. Об одном из них — о кружении — она отозвалась, как и ты, с теплотой. Но меня не оставляет ощущение недостоверности этого чтения: в отрывках именно. Жаль, что ваше

знакомство с вещью в целом отодвинуто в перспективе на очень далекие еще времена.

Мне написали новые — и очень знакомые тебе — лица. Владик тактично не касался больных мест — и умно. Но я все-таки не выдержал и больные места эти задел. Жалко будет, если это станет поводом для углубления отчуждения. Совсем уж не ждал я письма от — представь себе! — Вали Ненароковой. Именно от Вали, а не от Алика. Кстати, о последнем она пишет очень уж скупо. Живет отдельно, женат, детей нет, но есть кошка, — вот буквально и все <...>

3-го номера «ИЛ» нет. А во втором я с удовольствием (но сложным — по моей реакции — удовольствием) дочитал Нормана Мейлера. В статье Фрадкина меня порадовала географическая и национальная локальность проблематики. Такого — удручающего — факта вневременности и всеобщности явления, как, например, от чаплинского «Диктатора», не возникло. Твой обзор почти бесспорен; во всяком случае, я узнавал выбранные места из твоих писем ко мне. Что же до твоих высоких акций в редакционно-издательском мире, то это очень и очень радостно. Мне понятна твоя мысль о необходимости «подстегиваний», но в критической и аналогичной работе — это я представляю, — а в романе, в стихах особенно — ну никак не могу. Я надеюсь, что вторую часть бурсовской статьи мне привезет Галя. Кажется, я и писал тебе об этом, а нет, стало быть, запамятовал.

<...> Однажды я в институте Международного рабочего движения слушал доклад Ю. Давыдова об элите, но мало что, кроме общего заинтересованного впечатления, помню сейчас. Тема тяжелая. Я в поэме несколько раз возвращаюсь к ней — и так и этак, и все выходит, по-моему, плосковато. В главе, специально теме этой посвященной, я ставлю вопрос: правомерно ли посягать на «свою — особенную — муку, свою — особенную ж — речь», сопрягается ли с понятием чести ситуация, когда «слезы по распятому древле нам затмевают казни днесь». Глава кончается не очень-то уверенно, но с претензией на сарказм: «Звучит по-эллиниски: элита. Ползет элита... Доползет?» Через много глав, в другой ситуации, а именно говоря о друзьях, я пишу иначе (но так же не очень-то глубоко

и уж совсем без уверенности, что вопрос решен): «Пускай звучит по-эллиниски: элита. Пускай элита круг свой сбережет!» И еще пару раз возвращаюсь к этому и с тем же — сомнительным результатом. Твое рассуждение о Мандельштаме навело меня на мысль о непомерном расширении термина. Элита — все-таки что-то не горячее и не холодное и при этом достигшее привилегий. А мы — и в твоём примере — путаем трепетное отношение к своему внутреннему миру и интеллекту с этой бездумностью (на поверку — и бездуховностью: эрудиция в этом случае не спасает). Человек элиты вряд ли мог бы остро, по-гамлетовски чувствовать разлад с «веком-волкодавом», и, что уж точно, элитическое ощущение себя никогда не подвигло бы его на своеобразный вариант посягательства на «горло собственной песни». Я имею в виду слабую очень, по-моему, но для разговора характерную вещь о широкой груди и услугах полулюдей¹. В нескольких строчках тему не исчерпаешь, куда там! Вот ты пишешь: «Это люди, которые культивируют и передают от поколения к поколению непреходящие ценности, что бы ни творилось вокруг». В твоём «что бы ни творилось» достаточная этическая двусмысленность, но дело не только в этом. Кто же это? Русские дворяне, например? Но одни передавали тонкую духовность и Вольтера в подлиннике вкупе с правом на рабовладение, другие последние права только. Для истории культуры мысли, даже для политической истории разница значительная, для этики — никакой, случаи равнозначные. Ранимый человек элиты — Блок, как известно, это очень остро чувствовал. В исторической перспективе люди восхищаются дворцами и мало волнуют их имевшие место хижины. Но современника-то, если это не гениальный чудак (случай не слишком частый, между прочим), хижина не может не волновать: в хижинах живут люди. Высокая культура, купленная ценой не только великих социальных бедствий, но и серьезной степенью толстокожести, есть, и никуда не денешься, и она правомерно украшает жизнь. Но великого созидателя это этически (только) не приподнимает. Вряд ли стоит говорить

¹ Намек на строки запретного стихотворения О. Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны»: «Он играет услугами полулюдей», «И широкая грудь осетина».

об этом в стране, где бывший паж считает себя обязанным писать «Путешествие», человек высокого ранга — «К временщику» и даже кончить петлей, почти придворный поэт — «Деревню», а гениальный граф — ну, о нем все и так известно, о комплексе толстовства.

Я знаю, ты скажешь о «массовой культуре». Это бедствие, конечно. Хотя почему ж не надеяться, что «массовость» не расширится: вот в кино, например. Феллини, может, и не войдет, а Крамер — вполне может. В далекой перспективе, конечно. Но главное, это действительно стихийно: не держать же людей в состоянии поголовной неграмотности! Может, и есть небystрый по результатам способ: неуклонное и смелое культуртрегерство, но здесь опять начинается замкнутый круг: это требует самоотдачи, много сил и времени — сколько же погибнет шедевров, то есть так и не состоится. Видимо, постепенно «массовая культура» занимает место социальных бедствий «среды» со всеми ее атрибутами, последствиями и проблемами (в Европе уже почти заняла): бездуховность и бессмыслица, низкие нравы, преступность и пр. — все, что сейчас пишут о «массовой культуре», писали когда-то о среде (социальной), которая «заела»... Вот почему проблемы эти можно будет только выявлять, искать их нюансы, но сделать ни черта нельзя будет, пока сама жизнь не исчерпает эту «массовость» и не воздвигнет на ее место ситуацию [нрзб].

Как видишь, я завелся: задет за живое. Умолкаю и обнимаю тебя в ожидании писем.

Илья.

Галине Гладковой

20.3.71

Милая Галка!

Вот видишь, традиция в этот раз слегка и припоздала, но может, оно и к лучшему: есть у меня повод написать лишнее письмецо. Спасибо на добром слове о моем отрывке — мне оно ведь очень

нужно, тем более — от тебя и еще не очень многих людей — моих (надеюсь) пожизненных читателей. Только отрывок есть отрывок. Такой «глуховатости» тона я во всей большой довольно вещи не выдержал, да и не стремился к этому, как и не пытался вообще выбирать какой-то тон. Нерв в поэме есть, и чувствительность, кажется (о чем я, по-моему, должен и сожалеть, но о том — ниже). Я, конечно, иронизировал вовсю над собой, но, боюсь, местами прорвалась плаксивая интонация. Можно и почистить, но не знаю, лучше ли это будет или хуже; во всяком случае, это может оказаться не очень-то честным отражением нынешнего настроения. Олимпийский тон, как ты помнишь, мне и вообще был несвойственен, а сейчас — тем меньше оснований. «Жить помедленнее, поприспальнее» и верно надо бы, но мы ведь ж и в е м, и никуда нам не деться от мелочей и, словом, «проблем». Мне порой по твоим письмам кажется, что у тебя кое в чем — «как в датском королевстве»: неладно, — но строить догадки из такой дали я не могу и не хочу. Но люди, любящие тебя и которых ты любишь, — все-таки близко, это, как точно выяснено, счастье, и может служить серьезным противовесом в любых временных неладах. Я прямо-таки готов сбиться на памятные по Марка и Гали свадьбе щипачевские строки и впрямь — «дорожить умеите», и впрямь — «с годами — вдвойне». Твой рассказ о вечере у Гали Эд<ельман> и ее отклик на эту встречу — такое же еще доказательство неизбытности этих банальных, беспомощных, — но правильностей.

В «Литературке» я прочел новые стихи Вознесенского. Они менее «монстроваты», в отличие от всего, что он писал в последние годы, но тем яснее стандартность его мироощущения, взвинченность его поэтического бытия. Поэзия на допингах — несчастнее [нрзб] и нечестнее этого, по-моему, не бывает.

Я желаю тебе, старинная подруга, побольше светлых часов, дней, лет. Надеюсь, помимо всего прочего, на неизбежность твоей стези — поэтической <...>

Твой Илья.

Юлию Киму

22.3.71

Дорогой Юлик!

Если ты под письмом со стихами имеешь в виду — с песнями, то я его в свое время получил и, как обычно, своевременно откликнулся. Видимо, затерялось оно где-то в пути, что всегда и очень жаль. По-моему, письмо должно быть датировано 4 марта, в него я вложил записку к Сарре Лазаревне и дал характеристику (положительную, разумеется) Вите Тимачеву.

Отъезд за три моря¹ и правда дело добровольное, грустить особенно по этому поводу я не буду и не могу, потому что единственная вещь, которая меня в этой ситуации интересует, — Витя² именно — я уверен, на это не пойдет. Нечего ему делать на чужой почве понятных, но не очень близких, треволнений, в этом я уверен. Но писем от него и Нади что-то снова очень давно нет, хотя я им обоим отправил их уже скоро как месяц. Впрочем, это не основание для больших опасений. Не думаю же я, что Ирка, о которой ты ничего совсем не пишешь, находится сейчас где-нибудь в Яффе! <...>

Меня сейчас очень занимает (как и многих) проблема с р е д н е й образованности и культуры. Нужен новый Маркс, кажется: я в письме к Харитонову писал (так я ощущаю), что в материально благополучных странах — это социальное бедствие со всеми его атрибутами и последствиями. То есть те же последствия, как не очень-то древле — от нищеты, неравенства и пр. Следишь ли ты за этим (в «Новом мире», «Ин. л-ре» и пр.)? Там очень интересные наблюдения, выводы, но все не «Критика Готской программы», разумеется.

Герра прислал мне очень смешную стенограмму встречи ученых и журналистов в Дубне. Он все-таки удивительно приметлив и сатирически талантлив; как написать ему об этом — не знаю.

¹ Имеется в виду, как можно понять, эмиграция.

² В. Красин.

Жаль — и еще раз жаль — что у вас у всех там мало времени для контактов. Люди-то драгоценные, вот в чем дело. Это отсюда крупнее видно <...>

Илья.

Георгию Борисовичу Федорову

23.3.71

Мой дорогой профессор!

История — и не только она — так насыщает Ваши письма, что по прочтении их, наедине с собой, как говорил старик Аврелий, я долго не могу освободиться от давящего на меня груза невежества. Конечно, я помню немного ученую информацию о крито-микенской культуре и царе Миносе, построившем лабиринт. Читал я и об Ариадниной, как говорится, нити, видел иллюстрации на эту тему, но это же безумно мало. Попутно: я выписываю 5 газет и 12 журналов, недавно к изученным словам «конвергенция» и «конформизм» присоединилось слово «компьютер», — но «торевтика» (!?!)... Боюсь, ничто не приблизит меня скоро к пониманию этого таинственного и зачарованного слова <...>

Я с большим опозданием прочитал стихи Олега Чухонцева и, конечно же, вспомнил Вашу — и Зимина — заметку по поводу его зоилов. Чухонцев и вправду — поэт; мне жаль, что я узнал это несамостоятельно и поздно. Но не в том суть. Не думаю, что историческая оценка и мотивировка поступков Курбского (Курбского именно, а не Ивана Гр<озного> — с тем все ясно) так уж бесспорна. Но я очень порадовался, что у нас немало людей, которые хотя и именно в этом (у Д. Самойлова гораздо раньше не интеллигент — холоп точно сформулировал: «Нет милосердных царей на Руси!») видеть истоки русской интеллигентской мысли и житие. Стало быть, это все еще пока примета времени, что весело и радостно. Стало быть, неистребим «гнилой либерализм» (в духе А.К. Толстого хотя бы) нашего исторического отбора <...>

Всегда Ваш Илья

Герцену Копылову

23.3.71

Здравствуй, Гера!

Твое письмо, написанное первого, отправленное тринадцатого и полученное двадцатого марта, я перечитывал много раз — и с неизменным удовольствием. Сатирическая зоркость у тебя в крови. Я, конечно, знал это и раньше — хотя бы по твоим поэмам. Есть, конечно, еще одно свидетельство — известный сборник о том, как шутят твои коллеги. Но, как ты помнишь, наверно, там я в основном верил на слово, что это смешно или зло. Случай, который ты описываешь, не из того разряда: к сожалению, очень знакомо и точно.

В конце недели должна состояться моя встреча с Галей. Она будет куда короче и скромнее предыдущей, но уж что есть <...>

Конец марта, а травка здесь пока не зеленеет и солнышко блестит довольно неохотно. Это вынуждает меня не прекращать прежних традиций досуга: пичкаю себя самой разнообразной журнальной информацией: об артистах Качалове и Леонидове, о неопозитивизме, об английском кино и реформе в действии. Словом, веду себя как образцовый человек массовой культуры, проблемы которой как раз в самой большой степени и занимают меня сейчас.

А в художественной литературе, которую я возжаждал именно теперь читать, редкостное единодушное убожество. Так раньше вроде никогда не было, то есть всегда было что-нибудь в каком-нибудь журнале — а сейчас вот хоть плачь.

Последние два раза нам привозили фильмы «Секретная миссия» и «Павел Корчагин». В первом случае я никак не могу мысленно представить, что его ставил автор «Обыкновенного фашизма». Во втором — надо бы посмотреть «Бег» и сравнить «век нынешний и век минувший» у этих режиссеров.

Подробного и сносного письма мне сейчас не написать: не то душевное состояние. У нас еще есть время наверстать это. А пока я желаю тебе благополучия и успехов.

Твой Илья.

Галине Габай

1.4.71

Дорогая Галя

Сейчас я мог бы написать что угодно: дата такая, первоапрельская. Но ты не взирай на дату, прочитав нижеследующую мою сокровенность: я очень рад нашей состоявшейся встрече¹, она мне прибавила сна и бодрости. Я сегодня получил письмо от Геры. Там в самом начале очень смешные упреки в мой адрес; смысл их в том, что не поймешь, откуда я пишу — то ли из дома отдыха, то ли из пионерского лагеря. Наверно, временами я действительно слишком уж усердствую по части оптимизма; но дело еще и в том, что достаточно разочек распустить себя — и начнется поток саможалости — состояние скверное и — несправедливое. Кроме того, в мире на самом деле происходят значительные вещи: пишутся книги, рисуются картины, живут друзья. Как-то очень легко, если возвести в культ собственную некомфортность, утратить истинные ориентиры, а делать это грешно и опять же — несправедливо <...>

Алешка произвел на меня сильное и глубокое впечатление, Я подзреваю, что он основательно утомился, но, при всем при том, ты правильно сделала, взяв его в эту поездку: нам надо было увидеться, дальше уж ждать было некуда <...>

Ну и тебе счастья, друг мой, верная супруга и добродетельная мать. Постарайся встать над личными — даже если они и справедливы — обидами и уберечь дорогой мне круг людей. Так же, как ты бережешь мои письма или книги, даже с большим трепетом: речь идет о людях незаменимых.

Твой Илья

¹ Свидание в Кемеровском лагере «28, 29 и 30 марта 1971 г. — сначала общее (несколько заключенных и их родственников в одной большой комнате), а потом нам дали 2 дня личного только семья одного заключенного) оба с Алешей» (комментарий Г. Габай-Фикен в письме составителю).

Алеше Габаю

1.4.71

Алеха!

Очень хорошо, что мы с тобой увиделись¹, даже вот так: бестолково немного. Ты мне очень понравился во время свидания. Я надеюсь, что ты и впредь будешь любить книги, задачки, пластинки, товарищей. Ну еще — движение, солнце, снег. Между прочим, все, что я перечислил, как раз так и называется: хорошая жизнь! А я только этого тебе и желаю, сынок: хорошей, умной жизни с друзьями, книгами и свободными движениями. Жду твоих писем. Ты ведь мастер их писать, так что не ленись.

Целую тебя. Папа.

Герцену Копылову

2.4.71

Дорогой Гера!

Бог даст, мое письмо от 23.3. тоже скоро дойдет до тебя. Вот-вот должен истечь отпущенный на его прохождение девятнадцатидневный срок.

Шутку твою в начале письма я проглотил, и с удовольствием. Ты объяснил, что она от желания знать обо мне побольше. Мне как-то трудно найти достоверные и убедительные слова, но поверь мне, что то, о чем я с постоянством пишу — чтение главным образом — это и есть главный сюжет моей тутошней жизни. Остальное не отличается особым разнообразием, и то, что имеет сообщить Галя по приезде со свидания, собственно, это «побольше» и исчерпывает. Между прочим, если бы я пустился в описание каких-то этнографических примет (а есть и колоритные!), мое письмо по

¹ См. прим. на с. 174.

жанру совпало бы, или могло бы совпасть, с давнишним письмом Кочубея Петру. От таких вещей я как-то спасся в прошлой жизни, хотелось бы и теперь <...>

Повести Трифонова я не читал. Ты угадал, что содержание ее я знаю — читал рецензии в «Литературке» и «Литературной России». Все равно, судить не могу по причинам, изложенным выше.

Близится твой день рождения. «Близится» — это не очень-то точная дата, но все равно почитаю за радость пожелать тебе именно то, что тебе только и можно пожелать.

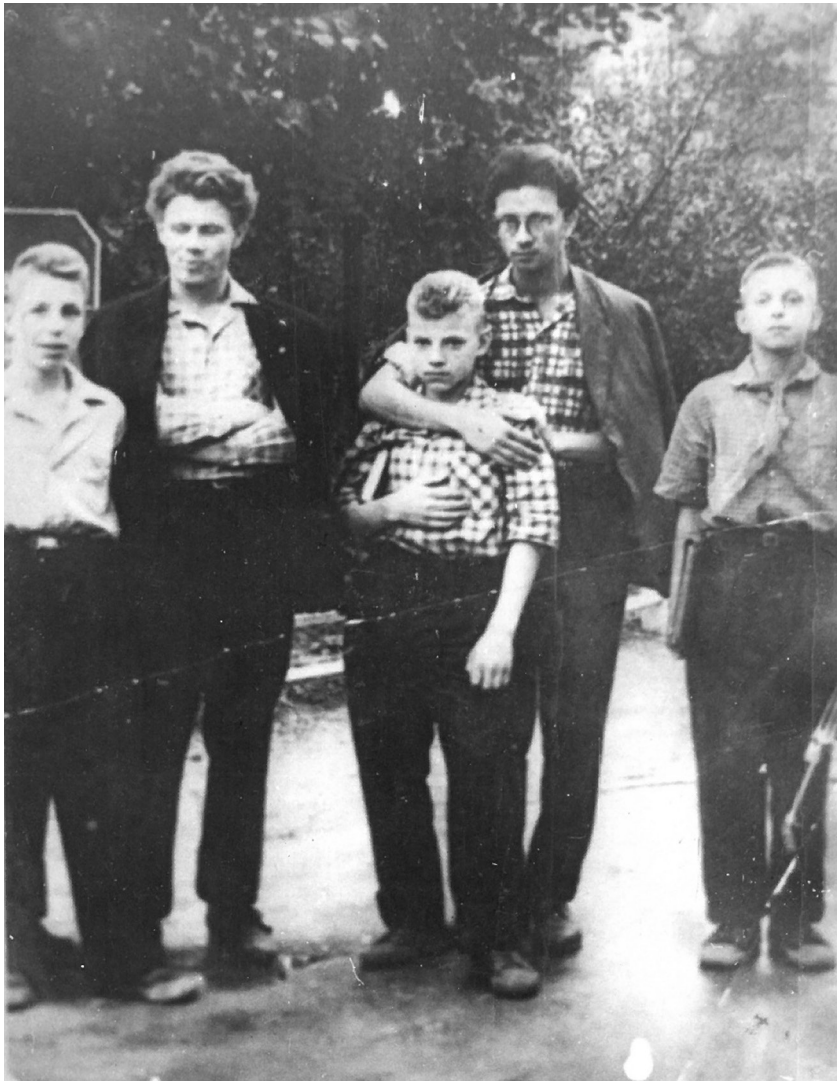
Я с радостью увиделся с Алешкой, о котором ты справедливо пишешь. Он как-то все-таки (на примерный мой взгляд) интересно изменился. Может, за ними-то и будущее — за «комнатными» (сиречь: кабинетными, лабораторными и пр.) детьми? «В нашем меняющемся мире», — как принято нынче говорить. Впрочем, я упорно продолжаю поддерживать высказанную и тобой «педагогику подворотни»: это приучает к общежитию, к ориентировке, необходимой все в том же нашем, все так же меняющемся мире. Мне было приятно обнаружить у него вкус к задачкам ($x : 6 = 3$ — каково для второклассника!) и к французским словечкам и полное безразличие к отметкам. Здесь сидят много моих бывших пятиклассников, то есть их сверстников. Это грустно; но в большинстве из них с помощью какого-то профессионального атавизма я обнаруживаю черты моих бывших ученичков: детей. Вот проблема проблем: детские места заключения, с полным набором нелюдской пакостности и самой удручающей психологией. Слегка отмыв это, почти всегда можно обнаружить подростка, но это качество ведь безнадежно съедается временем — тоже беда в этом же роде. Впрочем, я полез в описание этнографических реалий, от которых и в самом деле надо бы воздержаться.

Сейчас, после отъезда Гали, меня ждут масса книг и поступающие журналы. Надо оказаться достойным в этой ситуации: ждут же, и обмануть было бы плохо для себя самого.

Сердечно тебя приветствую. Илья.



Илья Габай



*И. Габай и В. Лебедев на педагогической практике в колонии
для несовершеннолетних. 1960-е годы*



Г. Гладкова, М. Харитонов, И. Габай (внизу). 1964



Ю. Ким



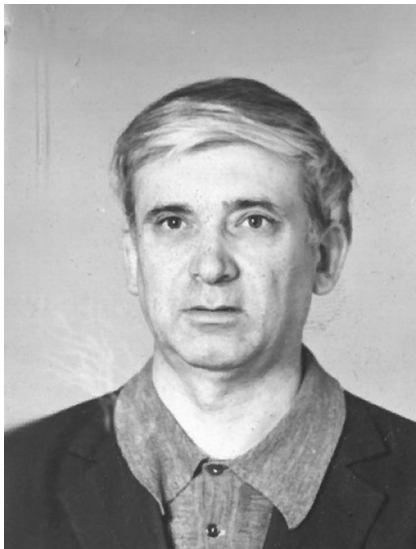
И. Габай в археологической экспедиции



И. Габай. 1960-е годы



Г. Габай и И. Габай



Г. Копылов



Е. Гилярова



*Мать Л. Зимана
Б.И. Шлифштейн и Л.Зиман
с дочкой*



Л. Зиман



Д. Рачков, А. Ким, М. Ким, Ю. Ким



Л. Кардасевич, И. Якир, А. Ким

СВОБОДУ СОВЕТСКИМ ВОЙЦАМ ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА !

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.
Всеобщая Декларация Прав Человека, Статья 19.



ГЕН. ИВАН П. ГРИГОРЕНКО

Москва.
Восточный фронт.
Полковник отставной,
защитил СССР
судили за убийство
ген. Ковалева. Казни-
ли-интерского на-
града в борьбе за
его права.
"Восток" 12.1.1969
и объявлен
"незаконным".

Свердлов.
Личный уполномоченный
Бориса Ковалева
открыл на свое
право в докумен-
тах в Липе.
3.8.1969, приго-
ворен и 3 года
заключенник.



РОДАН КАЛЧЕВ



ИГОР ГАДАЙ

Москва. Боролся против возрождения сталинизма. Судебных беззаконий, отрицающих права человека и дискриминация крымских татар. Арестован 19.5.1969.



КИРИЛ ГАЛАНОВ

Москва.
Борец за свободу демократии
защитил борцов
Украины. Редактор
журнала "Бундес!
Обликом в ссылке
с 1950. Помощник
12.1.1968.
и 7 годам заклю-
чения.



ВАЛЕНТИН МОРОЗ

Луган.
Борец за демокра-
тичные права
украинского наро-
да. В январе 1969,
приговорен и 5ти
годам заключения.

*Листовка в защиту И. Гаяя и других правозащитников,
распространявшаяся в Москве в январе 1970 года*

От гр. Габаю Тамар Викторовна
 Проживающего Москва А-55, Ковалевская ул., д. 18 корт. 2, кв. 23
 Прошу принять передачу для Габаю Тамар Викторовна
 (Фамилия, имя, отчество)

ОПИСЬ ПРЕДМЕТОВ ПЕРЕДАЧИ:

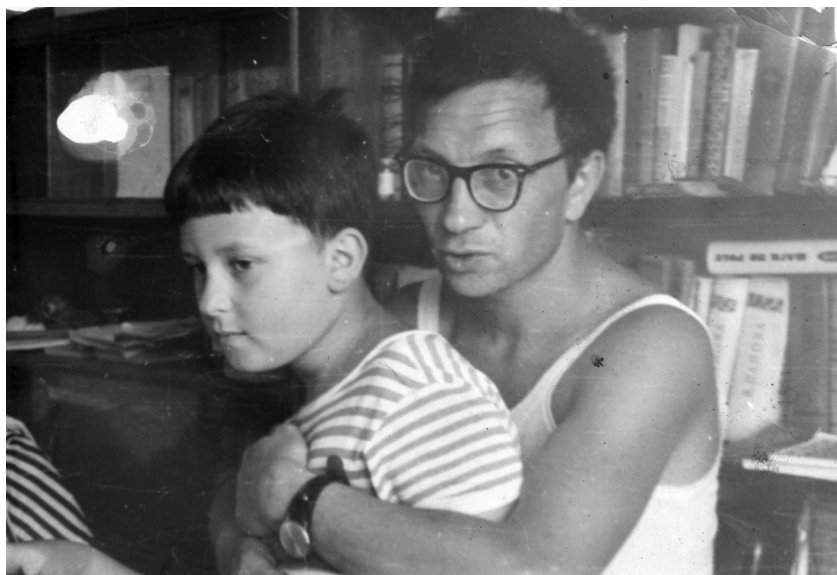
№№ п/п.	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТОВ (ВЕЩЕЙ)	Вес		Количество	Примечание
		кг	г		
	<u>Книжки</u>				
1.	<u>История гач. философии. Бертрам Рассел.</u>			<u>1 шт.</u>	
2.	<u>Вл. Соловьев. Критика отвлеченных начал.</u>			<u>1 шт.</u>	
3.	<u>Тамаровички Византийской литературы IV-V вв.</u>			<u>1 шт.</u>	
4.	<u>Тамаровички Византийской литературы IX-XIV вв.</u>			<u>1 шт.</u>	
5.	<u>Ильинский Моисей "Смысл" (3 ч. в 1 шт.)</u>			<u>- 1 шт.</u>	
6.	<u>История мировой философии 1-4 тт.</u>			<u>- 1 шт.</u>	
7.	<u>Ранкер "Ревель", "Дервунка", "Горь"</u>			<u>- 3 шт.</u>	
8.	<u>Антонов. Уралы</u>			<u>- 1 шт.</u>	
9.	<u>Китлинг Рассказы</u>			<u>- 1 шт.</u>	
10.	<u>Даньч. "Горь и ерепки"</u>			<u>- 1 шт.</u>	
11.	<u>Альбер Камю. Уралы</u>			<u>- 1 шт.</u>	
12.	<u>Тютарк. Сравнительные антропологии, т. 1, 2</u>			<u>- 2 шт.</u>	
13.	<u>Маска Манн. "История моего брата", т. 1, 2</u>			<u>- 2 шт.</u>	
14.	<u>Хоркхемстедт "История", т. 1, 2</u>			<u>- 2 шт.</u>	
15.	<u>Маска Манн. Статьи, т. 1, 2</u>			<u>- 2 шт.</u>	
16.	<u>Византизм. Психология человека</u>			<u>- 1 шт.</u>	
17.	<u>Велле. Вопросы теории и истории религии</u>			<u>- 1 шт.</u>	
18.	<u>Посв. История английской религии</u>			<u>- 1 шт.</u>	
19.	<u>Философия слова</u>			<u>- 1 шт.</u>	
20.	<u>Файнел хеттов</u>			<u>- 1 шт.</u>	
21.	<u>Мюллер. История Рима</u>			<u>- 1 шт.</u>	
22.	<u>Поль Верлен. Мирья</u>			<u>- 1 шт.</u>	
23.	<u>От Эрама Роттердамского до Бертрам Рассел</u>			<u>- 1 шт.</u>	
24.	<u>Фредерико Маркс Лорка. Мирья</u>			<u>- 1 шт.</u>	
25.	<u>Ильинский "Новый мир" за 1969-1970 гг. № 4-13</u>			<u>11 шт.</u>	
	<u>(см. на обороте)</u>			<u>№ 4, 3</u>	
	19__ г.			Подпись <u>Габаю</u>	
	19__ г.			Передачу принял <u>Маска</u>	
	19 <u>70</u> г.			Передачу получил <u>Маска</u>	

TK 4793

Список книг, переданных И. Габаю в тюрьму (1-я страница)



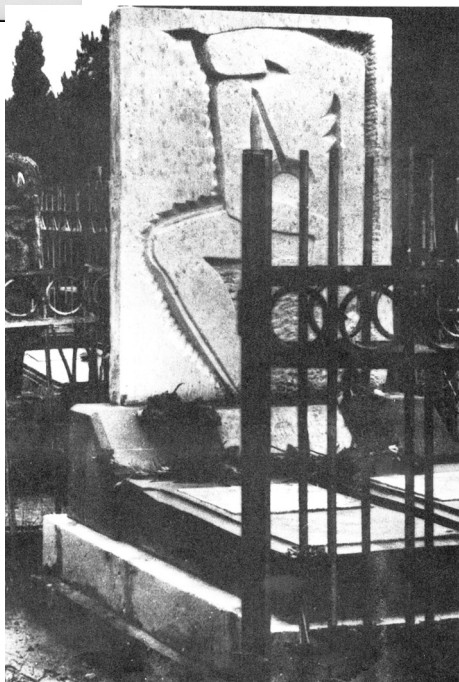
Г. Габай с сыном. 1970



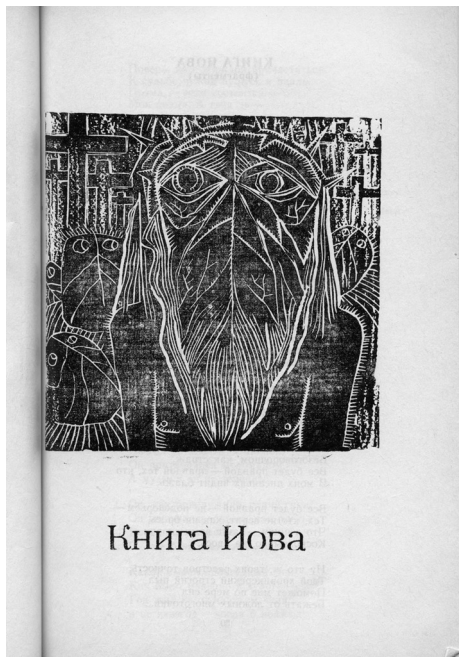
И. Габай с сыном. Лето 1972



*На могиле И. Габая в Баку.
Январь 1974.
Г. Габай, М. Харитонов, Ю. Ким*



*Памятник И. Габая работы
В. Сидура на кладбище в Баку*



*Сборник стихов И. Габая «Посох»,
изданный лрузьями в 1990 году
был оформлен линогравюрами
Вадима Сидура*



Табличка над скамьей И. Габая в мемориальном парке. Симферополь

Марку Харитонову

2.4.71

Дорогой Марик!

Я как-то предчувствовал, что с поездкой твоей ничего не выйдет. Как оно ни жаль, мне все-таки кажется, что в чем-то это и к лучшему. То есть не в чем-то, а в сугубо практических делах. Кто знает, при твоей шаткой системе литературного заработка, в каком положении окажешься ты и твоё разросшееся семейство завтра.

В «Литературке» я прочитал сообщение о том, что аптовская¹ подборка писем Г. Манна будет опубликована в 4-м номере «ИЛ». Странно, что приходится сожалеть об этом — но только исходя из чисто клановских интересов в данном случае. Между прочим, первые письма показали мне очень уж приземленными, мало духовными и мало интеллектуальными. Мне почему-то представляется невозможным, чтобы такие же письма мог писать Томас Манн. Нехорошо, что я так пишу: во-первых, совсем уж некстати снобизм, во-вторых, я очень мало читал из эпистолярного жанра. Но так уж оно подумалось и написалось; по выработанной привычке, я честно докладываю тебе обо всем, что бог на душу положит.

Галя мне мало что рассказала обо всех вас, и это несмотря на то, что времени видеться нам дали больше чем по-божески: по-человечески. Ну, ты понимаешь: бестолковость и бесплано-вость — неперенные спутники всех встреч такого рода. Я ей почитал немного из написанного, может, она сумеет пересказать, и это подвигнет тебя на более или менее пространственный отзыв. Хорошо бы! Это я уже по поводу замысла нашей совместной работы. Будет досуг и рвение, пришли мне план. Глядишь, я вдохновлюсь на встречный, и ко времени нашей встречи у нас уже что-то да будет <...>

Кажется, это о Маркесе пишет во 2-м номере «НМ» Евтушенко? Книг навалилось на меня сейчас, и правда, порядком; заодно идут журналы. Я даже, поверишь ли, слегка досаую, так как они

¹ Имеется в виду переводчик С.К. Апт.

отвлекают меня от чтения. Правда, если они перестанут ходить, я, как всегда, разволнуюсь. Попробовал сегодня, с надеждой уловить какие-нибудь акценты, прочитав отчетный доклад, но отложил: что-то сил не достало. Игоря Дуэля помню, хотя узнать его вряд ли сумел бы. Собственно, я единственный раз его и видел, когда нас обсуждали вдвоем на первом моем институтском литобъединении. Не торопился бы ты с оценкой (я имею в виду — хоть в малой степени самоуничжительной) своих рассказов. Впрочем, встретимся — почитаю.

Кампанелла и проблема «Волхвов»? Как же, дорогой, далеко-ватая — но существенная: с новой гранью проблемы, — связь. Коротко говоря — официозность интеллигента — sapiensa может быть и не сервиллизмом, не нравственной недостаточностью, а чем-то органичным. Как у Кампанеллы папизм уживается с «Городом солнца», так ведь может обрести совершенно новое исходное толкование фокус-покус наших дней. Только следует в каждом случае разглядеть и различать, но это уж святая обязанность пишущего. Можно бы истолковать и поподробнее, но надо ли? Напиши, коли надо. А пока я сердечно обнимаю тебя, Галю и ребятишек.

Илья.

Юлию Киму

5.4.71

Дорогой Юлик!

Галка не очень-то много рассказала мне о Москве и обо всех вас; писем это никак не заменяет и представить даже невозможно, чтобы отменяло. Времени у нас было немало, но, как водится, собраться с толком не удалось, да и многое Гале, естественно, просто и неизвестно <...> Я получил одновременно с твоим письмом письма от жены и тестя твоя¹. Пете писать, кажется, совсем уж безнадежно.

¹ Петр Якир, Ирина Якир.

Передай ему на словах, пожалуйста, что я благодарен ему за память и сердечность, что неприятности вроде уже в прошлом, а со зрением у меня и вообще ничего не случилось. Может, он и не собирался «рассекречивать» такую фразу: «При встрече твои претензии ко мне сведутся к нулю», но все же передай, что и сводить нечего, что никаких претензий у меня не было и нету, что он всегда может рассчитывать на основательность и незаблемость моих дружеских симпатий. Ну и я тоже полагаюсь на его дружественность <...> А Ирке я напишу сейчас письмецо и вложу его прямо в этот же конвертик.

Мне хотелось бы, Юлик, чтобы ты в ближайшее время встретился с Галкой. Кое-что из того, что я ей рассказывал, имеет для меня хотя, может, и временное, но эпохальное значение, и твое мнение для меня драгоценно.

О «Белорусском вокзале» я читал в прессе и, наверно, уже не рвусь смотреть его. Ничего не вышло и из моей попытки посмотреть фильм Дунского и Фрида «Красная площадь». Я ушел после первых кадров; говорят, зря — в дальнейшем нечто интересное было, хотя в пересказе тоже мнимо значительная — и проблемная пошлость. Впрочем, я могу быть и кругом неправ; мог сработать какой-нибудь снобистский стереотипчик.

Сейчас я весь в привезенных книгах, до которых еще предстоит добраться. Все интересно: а каков этот Гамсун, любимец наших дедушек да бабушек, и что это за прославленная книга о Лунине, и что думает там Гершензон о Пушкине. Все, повторяю, впереди, что, в общем-то, сладко, вызывает нетерпение и создает дополнительные цели и отсчет времени. Что за стихи ты мне процитировал («Как много плоскостей сместилось...»)? Не свои ли? Не обессудь, если я демонстрирую вопиющую невежественность — и не забывая меня письмами.

Целую тебя.

Елене Гиляровой

6.4.71

Леночка, здравствуй.

Я сию минуту дочитал роман Каверина в первых номерах «Звезды»¹. С первых страниц я был как-то уверен, что захочу тебе именно написать о нем; смешно, но я и впечатление свое почти угадал с самого начала чтения — и никакого разочарования, ни даже ощущения неестественности от всего этого: заранее определенного впечатления. Я, видать, очень нуждался сейчас именно в таком чтении; притомившись слегка от проблем или новаций (формальных) чтения последних лет, я как-то остро откликнулся на задушевность, интеллигентность да еще какую-то высшую значительность, которая обязательно есть в «просто жизни», если жизнь чиста, целомудренна, талантлива и если даешь себе труд в нее взглядеться (вчитаться). Может, действительно, просто роман пришелся ко времени и к настроению, но у меня очень после него просветленное душевное состояние и никакой охоты находить ему соответствующее место в литературной табели о рангах. Хорошо это все: и судьба, и «страдание сердца», и не бьющая в глаза ностальгия, вплоть до такой русскоинтеллигентной приметы, как чахотка. А все остальное (привезенное из книг, в том числе «Былое») я пока только просматривал. За «Былое» сразу же и возьмусь, успею — так прямо сегодня. С приобретением всех этих книг («Лунин» здесь тоже есть) должно встать на место и мое журнальное чтение. Я до этого прочитывал их, журналы, от корки до корки — а это уж занятие досужее, при моем необилии времени особенно. Больше не стану <...>

А третьего номера «Юности» со стихами твоего молодого родственника² у нас пока нет; кажется, я и с ним заранее начинаю складывать в уме слова впечатления. Это уже род какой-то прилипчивой и дурацкой болезни. А в романе Каверина я пытался «угадать»

¹ Роман В. Каверина «Перед зеркалом».

² См. прим. на с. 197.

прототипов, хотя их очень даже могло и не быть. Тоже, подумаешь, серьезное занятие для читающего мужчины. Ну а что касается «музыкального строя эпохи», так наша настолько устала от громкого пафоса и декламации, что закадровое чтение исступленного монолога кажется уже единственным выходом. Традиция, говоришь, требует «неестественного» чтения классицистических произведений? То-то они многое напоминают в недавнем еще искусстве (хотя, понимаю, при чем тут они?). На этом я с тобой и с твоими домашними сердечно прощаюсь.

Илья.

Алине Ким

8.4.71

Дорогая моя Алинька!

Я очень верю, что ты будешь умная и благоразумная и легко завершишь в легком (туберкулезно-легком) жанре свою диссертацию. Шутка. А вообще-то не очень и до шуток: Галя сообщила мне в письме новости, сильно меня расстроившие. Особенно — новость, касающаяся Володи Буковского¹. Побережись сам он вряд ли мог: не такой человек, — но побережь его, наверно, следовало. Что исход будет именно таким, и скоро, нетрудно было догадаться. Не подумай, что я тем самым даю какую-то планировку будущего: просто очень больно за парня, которого я знаю, в сущности, по нескольким

¹ В. Буковский — писатель, политический и общественный деятель. Один из основателей диссидентского движения в СССР. Фразу из письма прокомментировала по просьбе составителя Г. Габай-Фикен: «Буковский был арестован 21 марта 1971 года. Ему была предъявлена ст. 70 УК РСФСР. Незадолго до ареста он передал за границу документы и свои записки, основанные на личном опыте, о положении политзаключенных в психиатрических больницах, что послужило основанием для ареста. Это событие, разумеется, без подробностей, я упомянула Илье в письме от 13 апреля 1971 года. В письме к Ю. Киму он просит сообщить ему подробности. В перерыве между выходом из тюрьмы и новым арестом Володя зашел ко мне, расспрашивал об Илье и сказал: “Хорошо с Габаем в одном деле быть. Надежный человек”. Они были в одном деле по демонстрации на Пушкинской площади в 1967 году. Об обстоятельствах ареста Буковского подробно сообщалось в 19-м номере “Хроники текущих событий” от 30 апреля 1971 г.»

письмам только, но очень хорошего, умного, порядочного. Ну и еще новости в таком же духе — не развеселишься. Прочие события в связи с этим как-то отошли на задний план, в том числе заливчатское выступление деда Щукаря.

Ночное полуночничанье мое кончилось. В смысле физическом я, пожалуй что, и выиграл, но вот времени на чтение — практически одно воскресенье. Не знаю, что лучше и что хуже: и читать очень хочется (очень — надо), пожалуй, все-таки это самое главное, что читать хочется. Мне хотелось перейти в другую бригаду, где люди мне более приятные, но из этого ничего совсем не вышло <...>

Невесело как-то сейчас, а что бы я без вас всех делал.

Напишу тебе в какое-нибудь из воскресений письмо поразмернее и повеселее, ладно? А пока я целую все твоё семейство и тебя, мой добрый дальневосточный друг. Постараюсь в следующий раз сказать тебе что-нибудь предназначенное только для тебя: «только для не белых».

Илья.

Герцену Копылову

12.4.71

Дорогой Гера!

Мне бы очень хотелось, чтобы ты в ближайшее время съездил в Москву, заглянул к моим и рассказал бы, как там и что там. Мне это особенно важно услышать и от тебя.

С Алехой мне встретиться было интересно; порадовало меня, что его интересует пока учебный процесс и мало — отметки. Об этом, впрочем, я тебе, кажется, писал. А большее я разглядеть за это короткое мгновенье и не сумел.

Срок мой потихоньку приближается к двум третям, и, признаться, что-то стало невмоготу. Усугубляется это потоком пропаж. Пока дело шло о привезенных Галей продуктах, куреве, вещах, можно было облизнуться и через некоторое время найти юмористическую сторону этого.

Но вот книжки стали пропадать — это уж меня приводит в совершенное неистовство и чувствую я себя беспомощно: только поскандальить я могу. Книжки, очень м.б., идут на заварку чая или обложку к записным книжкам для песенок. Плюс к этому попрошайничество, к которому я было привык, а сейчас в свете случившегося снова не могу выносить. Ну ладно, это все побоку. Ты хотел о жизни — вот тебе.

Я тебе очень благодарен за большой отрывок из «Охранной грамоты», которая все была где-то рядом со мной, но так и не дошла до меня. Отрывок очень интересный, но, привыкнув к поэзии П., теперь приходится привыкать к прозе (роман — не в счет, как и вообще весь поздний П.).

Не думаю, что у нас сейчас мало стилистических индивидуальностей. Между прочим, начни т а к, и пойдет конвейер. Рядом с Замятиным, которого ты назвал (и которого я не очень люблю, кстати), было в то время такое множество пишущих «орнаментальной прозой» средних и полусредних, как в свое время лауреатов сталинской премии. Наверно, в прозе сейчас голод не стилистический, композиционный и пр., а тематический, проблемный. Вот, например, сколько сейчас деревенских искусников, а забирает все-таки какая-нибудь острая и характерная повесть <...>

Я сегодня, в воскресный день, потрудился над чтением журнала «Былого» (1904 г.). Там, главным образом, материалы о родовольцах. Все это высоко и низко одновременно, перемешано — и грустно, очень. Начал я читать книгу Гершензона «Мудрость Пушкина» — блестящая, по-своему, из которой следует, что Пушкин исповедовал символ веры и философию начала XX века. Что хочешь, то и докажешь с Пушкиным, была бы блестящность. Он так, значит, и мыслил («самый общий и основной догмат Пушкина»): бытие является в двух видах (безднах) как полнота, которая вечно пребывает в невозмутимом покое, и как неполнота, ущербность, которая непрестанно ищет, рыщет. На протяжении всей истории русская общественная мысль, кажется, только и делала, что обманывала себя и окружающих. О западной судить не берусь. Не знаю.

Ну, съезди в Москву и напиши мне. Буду ждать.

Твой Илья.

Марку Харитонову

15.4.71

Марик!

Тема элиты, как видно, неисчерпаема; идет такое сцепление доводов и контрдоводов, что немудрено заблудиться. Видно, каждому да еще в каждом отдельном случае надлежит сделать свой выбор. Меня хоть то радует, что, затеяв такой острый и нужный для нас обоих разговор, мы хоть не попадаем в положение глухонемых, понимаем друг друга, да и в конкретных поступках друг друга при случае нам с тобой сомневаться не приходится. Такие дела. Я это еще потому отмечаю, что даже очень хорошие и доброжелательные люди проявляют удивительную глухоту, когда затрагиваются вопросы, о которых они не думали прежде. Я, например, получил письмо от Церины¹ с разбором «Волхвов», в котором, собственно, никакого интереса к повестке дня (отчасти — к нашей, которую мы с тобой затронули) не проявляется. Есть претензии к словам, по-моему, иной раз неточные, например, за то, что во вступительном сонете повторяются конечные, рифмованные, слова. Бесполезно даже объяснять, что уж до такой степени я грамотен, чтобы неспециально не повторяться, что это вполне сопрягается с традициями старинных жанров, в том числе и сонетов. Я пишу это не потому, что уязвлен или огорчен — по чести, нет, — а как пример далекости даже в чем-то близких и нам еще одно доказательство, что в мире все-таки существует родство душ и мыслей и что время от времени они (души и мысли), к счастью, обнаруживают друг друга. Это, в частности, о нас с тобой.

Боюсь, что раззадоренное воображение привело тебя к разочарованию: я ведь почти все, что написано в поэме, пересказал тебе словами. «Игру в бисер» я еще не читал. Сейчас у меня идет полоса самого отчаянного отсутствия времени, буквально часа два, включая ужин, переодевание, чистку обуви. Такие дела. И еще у меня украли

¹ Цери́на Иоффе — соученица по МГПИ.

«Долину грохочущих копыт», и это расстроило меня чрезвычайно. Я все прошу в хорошую бригаду, но из этого ничего не получается пока <...>

А письмо твое я получил ровно с двухнедельным опозданием. Вот такие дела. Обнимаю тебя и жду твоих мнений и суждений. Чадам и домочадцам — низкий поклон.

Илья.

Марку Харитонову

20.4.71

Здравствуй, дорогой мой Марик!

Я очень благодарен тебе по многим статьям. Во-первых, твое письмо пришло после очередной и для меня чрезвычайно нервной бесписьмицы, а главное, ты почти первым откликнулся на мои отрывки. Я буду, конечно же, нетерпеливо ждать дальнейших твоих суждений; помимо всего прочего, они должны, по-моему, в каком-то споре прояснить наши и этические, и эстетические позиции. Казалось бы, они и так ясны, но все-таки однако ж... Не говоря уж о новой работе, но и на переделки, доделки у меня сейчас тоже долго не хватит ни сил, ни времени. И это жаль: мне сейчас как-то ясны не удовлетворительные для меня места (вся последняя глава, начало главы о Диккенсе — о детстве, еще две-три главы целиком или частями). Можно бы и переделать или написать заново — но где уж сейчас! Жду твоих писем, очень и очень жду.

Вряд ли меня хватит сейчас и на обещанное соучастие в планировке будущей совместной работы (в которую я верю — хочу верить). Помимо нехватки времени, смущают еще кое-какие обстоятельства, связанные с промежуточными звеньями. Я предвижу и главную свою трудность в самой работе с прозой: меня ведь всегда отталкивала невозможность, как в стихах, абстрагироваться, обязательная автобиографичность — много-то материала у меня нет. Но это тоже надо будет преодолеть: подошли лета прозы. Одна

надежда сейчас на тебя, что ты соберешься все-таки. Не торопись, конечно; более спешных и неотложных дел у тебя невпроворот, это я понимаю.

Вчера было воскресенье и необыкновенно теплый день, который не замедлил испортиться сегодня. Я читал Гамсуна — прочел «Голод» и половину «Мистерии». Неожиданно для меня он показался мне значительным писателем, действительно опередившим время. «Голод», например, напомнил мне Селина. Я смутно помню уже его «Путешествие...» и не уверен поэтому в точности своего ощущения — но вот, напомнил. И все-таки сказалась преемственность с веком минувшим у Гамсуна: куда больше человеческих привязанностей, подспудно подозреваемых идеалов. Я говорю: неожиданно, потому что Гамсуна читал и раньше в саблинских еще изданиях. Между прочим, несоизмеримо качество переводов. В нынешних Гамсун — совершенно современный писатель.

Я с тобой прощаюсь, так и пребывая в неведении, получила ли Галка мое письмо. Поцелуй ее за меня и детишек тоже.

Обнимаю тебя. Илья.

Елене Гиляровой

21.4.71

Леночка и Валерий!

25-часовые сутки — это и верно было бы недурно, и 30-часовые не мешало бы, хотя все это и несколько удлинит мой срок. Что-то становится с каждым днем не легче; так, наверно, и придумано: кого втянуть в нормы и циклы чужой жизни, кого держать на срыве. Такие дела.

Не помню, писал ли я тебе, Лена, о том, что, читая в «Былом» народовольческие материалы, я постоянно вспоминал «Бесов». Я думал о какой-то чертовщине: о гениальной и в то же время этически непозволительной прозорливости и пронизательности Достоевского. Это был пламень, сжигающий себя и сжигающий

других; Дегаев — это, скорее всего, был срыв в таком горении, невозможность выдержать нечеловеческую требовательность, жертва обыкновенности, втянутой в такую работу, — для него во многом роль и ставка. Достоевский очень точно (в ином плане) уловил положение такой жертвы — хотя бы Кириллова. Задним числом, если ты помнишь, Камю придумал терзание Каляева: убивать или не убивать царских детей. Судя по материалам, для первых народовольцев просто такой проблемы не существовало. Помнишь воспоминания о Желябове — о какой-то бездуховной именно чистоте, цельности. В их поступках ощущалось, что боги все-таки жаждут. И при этом они были прекрасны — и разобраться в этом нет никакой возможности, потому что не сочувствовать им, не быть с ними эмоционально заодно, когда все это читаешь, невозможно. Ты права: без таких поступков не только Толстой, даже Герцен свидетельствовали бы о истерии высокого умничанья — и только. В более спокойном душевном состоянии я выражу это как-то четче.

Насчет словечек ты права. Поленица — это для меня очередное свидетельство моей давней болезни: я многие слова не слышал в разговоре или не запомнил из него, знаю из письменных источников. Глава с «оскудим» мне не нравилась изначально; просто сейчас нет времени решать, выбрасывать ли вообще, делать ли что-то. То, что элита ползет, — это такой горьковатый каламбурчик: «Улита ползет». Жалко, что не укладывается, не схватывается сразу: все-таки более адекватного своего ко всему этому отношения в этом куске мне не найти. Роли и участи я здесь придавал иные, чем ты, смысловые оттенки: роль — как лицедейная роль, участь — как биография. Это, действительно, не точно? У меня не хватает сейчас слуха уловить такие нюансы.

Насчет все того же пАфоса-пафОса. Дело не в веяниях, а в той категоричности и узости чувств, которая порождается всяким текстом, предназначенным для декламации. Тяготение всякого авторитарного режима к классицистическим традициям — наглядное тому подтверждение. В этих случаях оказываются очень удобными и поэтическая декларация, и статуя, и всякий намек на величавый

порядок. Не устоять мудрено и не чувствовать опаски — тоже. Ты как-то должна чувствовать это, застав хоть отзвуки литературных дел 40-х годов. Когда шаблоном становится психологизм, бытовизм, — что угодно, — жить еще можно, как ни скучно. Когда традиция — заведомое разделение на добродетельных и злодеев, — пахнет чем-то выходящим из просто литературной сферы. То, что современный переводчик читает старого мастера, внося в это свою личность и дыхание (не веяние!) времени, — единственная возможность вечного существования этих мастеров. Между прочим, в Шекспире все-таки важнее, что Гамлет задумывается «быть или не быть» и мучается этим, как многие потом, чем то, как произносить его: как Каратыгин или как Смоктуновский. Вон как сейчас перевели Гамсуна — я так в ликованиях.

Всего вам доброго и хорошего.

Илья.

Юлию Киму

23.4.71

Дорогой Юлька!

Письмо твое пришло поздногато. Я как-то надеюсь, что не замедлит прийти более подробное. Ты написал коротко — я, кажется, напишу не пространнее. Не подумай, что это «око за око»: просто длинно не получится из-за малого сейчас времени и из-за некоторой утомленности.

Володю Буковского¹ я совсем почти не знал, как ты помнишь, но происходящее с ним воспринимаю очень остро. Ему необходимо было побережься (или его побережь — по возможности): ясно же, до какой он степени уязвим. Нет ли надежд, что и это дело будет прекращено? Ведь в последнее время мелькали же такие радостные неожиданности, не одно даже.

¹ См. прим. на с. 181.

У меня в последнее время жизнь, кажись, маленько осложнилась и ухудшилась. То ли доходишь до какой-то степени обрыдлости и надо дожидаться второго дыхания, то ли мелочи все в сумме — не такие уж и мелочи: и с временем хуже, и письма поредели, да вот еще и вести с Большой земли — от вас — все мало обнадеживающие. Ловишь себя порой на принужденном чтении, на вымученных раздумьях — а это уже последнее дело. Меня все-таки спасает моя общежитейская закуска, не очень-то большое чистоплюйство и способность искренне забавляться. Это, между прочим, помогает и во взаимоотношениях с людьми. А что стали бы делать люди чуть парафинированнее моего — ума не приложу.

Пусть уж Иришка соберется с письмом, и ты не забывай меня.

Еще полстолько с гаком — и даст бог, свидимся. А пока я тебя крепко целую.

Твой Илья.

Герцену Копылову

29.4.71

Дорогой Гера!

Твои письма тоже не очень торопятся, но сносно все-таки: с другими хуже. Ну, а еще хуже, что в последнее время много уж печалей в этих запаздывающих письмах. Годочки все-таки чего-то там делают, и близким моим (нашим) все прибавляется нездоровий и неблагоприятий. Насчет последнего наши с тобой товарищи всегда отличались особенно <...>

С твоим некультовым днем рождения я тебя, кажется, не поздравлял. Для меня-то здесь, в моем случае, это знак не столько внимания, сколько памяти; там, я думаю, на это смотрится проще.

Смутное время (в крови, в организме) я что-то и сам в последнее время чувствую несколько обостренное, чем следовало бы. Мне-то следует перебарывать такие ощущения: это может осложнить жизнь. Вот и книги, которые я сейчас прочитываю, веселости мне

не прибавляют. Но не пускаться же из-за этого в чтение журнала «Крокодил!» — времени не так уж много, и сейчас, и, так сказать, впереди.

Очень печальна книга Эйдельмана «Лунин», которую ты, видимо, читал. Начиная со сквозного ее вопроса: «Подвиг ожидания или подвиг нетерпения?» и дальше — от всех сцеплений и поворотов мировоззрений и участей до совершенно ошеломительной для меня картины поведения декабристов на следствии. Тут интересное столкновение, дилемма: «историческая значительность» (Пестель, Рылеев) и обычное чувство порядочности (Пушкин). Ну, а тонкое наблюдение — инерция поведения на допросах. Это мне малость знакомо.

При всем при том, в воздухе сейчас разлита гуманитарная пристальность и честность. Не знаю, как для прогресса, но для возможности просто дышать эта скрытая тенденция, по мне, куда важнее «научно-технической революции». Хороша рецензия Евтушенко на роман Маркеса (во второй книжке «Нового мира»). Хороша уже тем, что обнаруживает незаметного в последних его стихах честного и думающего человека. Наверно, ему надо «впасть в депрессию», отдохнуть от стихов пока — глядишь, явится поэт 70-х, а не 50-х годов. Ну, бог с ним.

Вот еще одна сторона моего чтения. Я тебе как-то начинал писать о старой книге Гершензона «Мудрость Пушкина». Вот (примитивно) его взгляд на «Памятник»: Пушкин, значит, излагает взгляд толпы, «черни», которая будет его помнить только за ненавистную самому поэту «пользу» его стихов: за «чувства добрые», за то, что в «жесточкий век восславил свободу», за «милость к падшим». И это печалит поэта, который хотел бы, чтобы ценили как раз его за чистое вдохновение, а не за «житейские волнения». Делает это Гершензон изящно, но грустно было бы, если бы он был прав. Пушкин — и без «милости к падшим», без боли за друзей, без желания добра!

Я боюсь, что ты снова обозлишься за «дом отдыха». Но ведь в таком приглядывании к тому, что всегда было мне необходимо, — только и смысл.

Крепко тебя обнимаю.

Илья.

Алине Ким

30.4.71

С шовинистическим приветиком, славная китаеза!

Играешь ли ты в пинг-понг и не хочешь ли пригласить меня с дружеским визитом?

Даже нормальное время прохождения писем из пункта А в пункт Б (из пункта М в пункт Ж, как славно пошутил в институтские еще времена Владик) имеет свойство что-то изымать из памяти. Вот и сейчас я совершенно не могу постичь, за что это ты на меня накнулась, что это за «поберечь». Догадываюсь, впрочем, но не уверен, что правильно.

С твоей стороны очень даже бестактно рассказывать мне о выставке Ван Гога. Мне было бы куда приятнее, если бы ты посетила ежегодную Академическую выставку с картинами Кацмана и Лактионова. Уж тогда бы я себя не чувствовал вот таким: кругом Сальери <...>

Прочитал 4-й номер «Искусства кино». Там опубликован сценарий юшкевичевской «Феерической комедии». Я, наверно, не имею навыка видеть, когда читаю, но из прочитанного я вынес твердую уверенность, что в будущем фильме художественными будут только песни Юлика. Об этом я поподробнее напишу как-нибудь твоему братцу.

Галя привезла мне очень хорошие книги, так что я почти все (во всяком случае, всю беллетристику) в журналах откладываю до худших — в читальном смысле — времен. Меня просто потрясает в последнее время история русской интеллигенции, особенно материалы о народовольцах в журналах «Былое» и прочитанная вчера книга «Лунин». «Лунина», если не читала, прочти непременно. Мы о многом тогда сможем поговорить — о многом, что для меня перво-степенно и актуально, даже лично прочувствованно.

О фильме «Спорт, спорт, спорт!» я читал в предыдущих номерах того же «Искусства кино». Я запомнил одну этическую оценку автора рецензии. Фамилий сейчас не помню, речь там идет о каком-то беге

при сверхградусной жаре. Упорный иностранный бегун умирает на дорожке, а наш побеждает. Рецензент упрекает Климова за смещение акцентов: за то, что тот выдал за героизм п о б е д у, а не п о р а ж е н и е, не гибель. Мне такая оценка показалась близкой <...>

Целую тебя и всех обитателей твоего дома.

Твой Илья.

Марку Харитонову

4.5.71

Марик!

В связи ли с праздником или по какой другой причине, но письмо твое от 23.4. вновь пришло поздновато. Отвечаю немедленно.

Я действительно получил несколько писем с разбором моих отрывков. Они благожелательны и сопровождаются в основном добрыми словами. Я надеюсь, что здесь нет никакой скидки на сопутствующие обстоятельства, и поэтому очень рад. Высказываются и конкретные — справедливые почти всегда — претензии, надо, чтобы когда-нибудь дошли руки, раз, как ты и другие заверяют, что вещь того стоит.

Непонятность меня, как всегда, огорчает. Впрочем, я всегда считал, что чтение, стихов особенно, — большой труд, и хочу надеяться на терпеливого читателя, который себе этот труд задает. Кое-что, к сожалению, объясняется и моим почерком. Так, Гера выразил недоумение: «Сгубившем в Жаме (?) Киприду». Речь, конечно, идет не о неведомой Жаме, а о Жанне (д'Арк), в которой обязательно должна была быть, помимо святости и героизма, еще и женщина. Поясню тебе некоторые слова: «Картуш» — овал, сплюснутый круг; кажется, в Средневековье он был связан с чем-то магическим, чуть ли не ведовством. Речь идет о сдавленности, замкнутости; но слово это оба раза все-таки придется убрать, раз его нет и в словаре. Декор, очевидно (в виде щита с надписями внутри), идет от

первоначального значения. Аруэт — фамилия Вольтера (последнее, как ты знаешь, — псевдоним). «Рассудительный друг Боэси» — сам Монтень. Ла Боэси (иногда пишут, кажется, Бозций) — его молодой друг, автор прекрасного и страстного трактата о добровольном рабстве (который у меня есть). Монтень посвятил своему рано умершему другу прекрасную главу в «Опытах», где много любви, но и много укоризны за пристрастность, категоричность и пр. (читал давно, поэтому передаю очень общо). Очень понимаю твои пожелания, но сам жанр — попытка обозначить какое-то кредо, прояснить его уже в процессе работы, на глазах читателя — оставляет мало возможности для постоянной афористичности и безусловности суждений. Я очень рад, что мои слова о дружестве нашли у тебя отклик. Для меня это, пожалуй, — самое главное: плохо понимаю, почему ты «не во всем вправе»: я-то очень дорожу нашими отношениями.

Обо всем остальном <...> Переписка Маннов оставила прежнее впечатление — желание под старость братской нежности; многое вымученно, наверно, потому что компромиссно — из боязни ранить. «Большой брат» — это все-таки по-человечески грустно за Генриха Манна.

Прощаясь с тобой, я надеюсь, что все будет хорошо и в вашем доме и вне его, что у тебя не будет острых поводов думать о «странноприимности».

С тем и обнимаю тебя и всех твоих домашних. Илья.

Юлию Киму

5.5.71

Мой дорогой Юлик!

Сразу же о том, что, разумеется, страшно запоздает, но о чем я не сказать не могу: о том, что я поздравляю Ирку с 7 мая, желаю ей всего, что может пожелать ее давний друг, который ее чуть ли не носил на руках в ее младенчестве. Думаю, что ее радости во многом связаны с благополучием вашего семейства, о чем я тоже

часто думаю. Еще я не прочь ей пожелать, чтоб от сего дня до следующего дня рождения ее не покидала привычка время от времени сообщаться с Кемерово-28 <...>

Недавно, читая старинный журнал «Былое», я в воспоминаниях народоволки Люботович (жена Морозова) наткнулся на такое место. Доброжелательный следователь спрашивает ее:

— «Скажите, на чем помирилась бы революционная партия, нельзя ли ей установить перемирие?»

— «На условии свободы слова и собраний, , общей амнистии».

— «Напишите письмо государю и изложите то, что говорили нам».

— «Нет, в моем положении человека несвободного писать государю нельзя: он неверно истолкует мои мотивы».

Далее: «Я отказалась, боясь, что это письмо ляжет только пятном на мое имя». Если исключить партийный максимализм, все это душевно очень понятно <...>

Мне написали Лена Гилярова, Марк, Леня, Галя Gladkova, Гера и еще кое-кто, но это никак не отменяет моего нетерпения услышать твое суждение поподробнее. Думаю, что традиции Эзопа не непременны в данном случае. Между прочим, я узнал о многих ликах (?) моего почерка. Например, Жанна д'Арк превращена в Жамму (?). Очень важная вещь — о простоте. Многие замуженные мной стихи тоже воспринимались как сложность, потом оказывалось, что все просто, иногда — увы — проще пареной репы (мысль; потому и замужены). Наверно, надо читать 2—3 раза; но ведь стихи всегда надо читать так, даже самые ясные.

Прочитал в «Искусстве кино» сценарий «Клопа». Грустновато стало: кино, наверно, многое искупит в низкопробности второй части сценария, но от нее ведь никуда не денешься. Грустно как-то, что это вьелось во многих старых и умелых мастеров — таких, как Юткевич. По-моему, они заглушили у Маяковского самое главное: ненависть к хаму, победность мещанина (пафос «О дряни»). Судя по текстам, твои песни должны напомнить об этом. Хотел бы я видеть тебя в фильме, целиком посвященном тебе (по жанру как «7 нот

в тишине» или с иллюстрацией, с выдумкой). Заодно: куда это ты просадил за месяц 1000 рублей гонорара. Устлал Иркин путь полтинниками и рублями, что ли? И когда вы научитесь жить?! — со всеми основаниями восклицаю я.

С тем я тебя, и Ирку, и всех родных целую.

Илья.

Герцену Копылову

6.5.71

Дорогой Гера!

Твое письмо очень обрадовало меня. Прежде всего я рад, что ты прочел мои отрывки, ну и, конечно, рад, что тебе понравились многие куски из них. Твое отношение мне тем более дорого, потому что ты перечислял в числе понравившихся тебе главок и те, которые вызывали у меня сомнения (все, написанные иным, чем б-во глав, размером — «Афродита», «Диалог № 1», о нас — о себе, конец). «Жама», конечно, описка. Жанна — имеется в виду Жанна д'Арк, которой житийная история отказала в женственности, обаянии, — «сгубили Киприду» (Афродиту) в ней. «С сменой кожи» — это уже не описка, а справедливо замеченный тобой ляп. Таких (отчасти из-за поспешной работы), видимо, немало; когда-нибудь надо будет засесть и за эти, и за другие более-менее ценные стихи с тем, чтобы их выправить. Здесь я вряд ли соберусь, а уж о том, чтобы писать новые — где уж там. «Норовить в лоб», как ты советуешь, — это не всегда возможно из-за сложности оттенков самого вопроса. Поэтому приходится, как ты, наверно, заметил, время от времени возвращаться к уже сказанному, уточнять, даже изменять. Я поэтому и выбрал условную форму переписки: она извиняет интимность, сентиментальность и дает право противоречить самому себе. Словом, вы, и ты в том числе, пролили некоторый бальзам на мою душу; остается дать полежать вещи и посмотреть, как она будет глядеться через несколько лет <...>

Стихов Волошина (этих) я не знаю; будет настроение — перепиши мне их в ближайших письмах. Впрочем, не означает ли твой отпуск перерыв в переписке? Было бы огорчительно; черкни мне на досуге, если уж одолеет лень, 1—2 открытки. Что касается стерженька, то я верю и надеюсь, что он не последний. Еще не вечер, как говаривает Георгий Борисович, который не пишет мне уже сто лет. Этого я тебе, собственно, и желаю на ближайшее время: хорошего отдыха и восстановления стержня.

Счастливо. Илья.

Галине Эдельман

9.5.71

Дорогая Галка!

Я тебе уже писал в предыдущем письме, что твои письма для меня неизменно праздничны. Остается повторить то же самое, разве что добавить, что последнее — празднично вдесятикрат. Я очень, очень рад, что ты так остро и доброжелательно восприняла мою работу — в первую очередь те главы, где наши судьбы и наши размышления каким-то образом пересекаются. В конце концов, может, это и не такая уж печальная планида самого дорогого мне из написанного, что они (стихи) предназначены вам всем и таким, как вам, если они дадут себе труд вчитаться. Крепить старый, чуть ширить его — круг близких — чего же лучше. Надо бы писать еще и писать, но я все-таки всегда остерегаюсь написать хуже и боюсь всяких вариантов инерций. Наверно, пока что на мой срок и этого достаточно; что-то вынесется, я надеюсь, и прояснится с моим приездом.

Вот такой трюизм: дважды нельзя войти в одну реку. Совсем так же — и правда, поди, нельзя, но я уверен — пусть без прежней легкости и веселости, — но вспять наша река не потечет и будем мы себе в нее погружаться неизменно и радостно. Это меня почему-то повело так сложно и витиевато говорить о простой и драгоценной вещи — сути наших всех, уже юбилейных взаимоотношений. Так

я тебе отвечаю на родственное и мне нетерпение: поговорить. Меня очень обрадовала твоя приписка о Валерии: сам он, написав мне, поскупился на такие слова. Правильно, конечно; хотя чего там, они были бы мне приятны, тщеславия-то я не лишен.

Все-таки есть и в этой невозвратимости — общежития ли, Красноярска, чего угодно, — помимо естественной элегичности, и своя логика: не все же нам жить и чувствовать взаимную необходимость в легкости и праздничности. Вот, наверное, и худо, что последние (предпоследние) годы мы встречались по праздничным поводам, а жили совсем уж сами по себе. Надеюсь, это уж исправимо. О некоторых — из особенно близких нам — приходят какие-то глуховатые намеки; от этой глуховатости еще тревожнее. Галя Гладкова мне пишет, но редко что-то.

Пиши мне, как будут силы и время. Искать форм выражения, действительно, не надо: авось я уж тебя всегда пойму. Не худо бы, чтобы ты сообщала, кроме всего, как тебе работается, живется — тебе, да и другим людям, связи с которыми у меня нет.

Целую тебя и ребятишек. Илья.

Елене Гиляровой

12.5.71

Леночка!

Я очень рад, что ты с детьми едешь в свой богом благословенный край. Я жалею, что по ленивости бывал там не очень часто; но и того, что было, хватит для теплых и красивых воспоминаний <...>

Писал ли я тебе, что держал минут десять в руках 10-й номер «Юности» — специально, чтобы прочитывать стихи Гены¹. Все-таки у нынешних молодых куда большая культура чувств, нежели была у нас в свое время, о форме я не говорю. Стихи симпатичные, но и поколение симпатичное; есть ли здесь особые приметы, какой-то

¹ Геннадий Калашников — поэт, муж Ирины Гиляровой.

отпечаток если не личности, то причастности к кругу, — по этим стихам, немногим, мне судить трудно. Рад за него и за твою Иру.

Я написал тебе в прошлый раз о народолюбцах примерно так, как думаю, но торопливо и как-то доктринерски. Конечно же, это горькая и благородная история; чем ранг меньше, тем иногда порывистее, чище, жертвеннее. Вспомнить хотя бы женщин на процессе 20, Гершковича, Любатович — жену Морозова. Еще я хочу сказать, что страна-то была, действительно, гадкая, подлая, делала все, чтобы создавать эти благородные этические двусмысленности (особенно — террор!). Карийская история меня совершенно потрясла (стыдно, но сахалинских работ Чехова я так и не удосужился прочесть, из-за беллетристических, «фельетонических», как сказал бы Герман Гессе, наклонностей в прошлом). Это я к тому, что бесовский результат предвидеть легко, но у нас нет никакого морального права (что иногда делается) называть Лебедеву или Сигиду «бесами». Если судить по какому-то неэстетическому эталону, то мне (по-человечески) куда дороже гениальных «Бесов» письмо Гершковича. Хотя, повторяю, в проекции эпох гений, конечно же, прав. Я сталкивался с попыткой создать идиллию из романовской России. Это обман все-таки (или самообман?).

Я упоминал чуть выше Гессе, книгу которого — о государственном элите («Игра в бисер») — только прочел. Не могу сказать, что у меня восторженное отношение к художнику: ученость несколько портит; но как раз ученость — проблема интересная и решена в близком мне плане, с тем же ощущением сложности (я, еще не читая книгу, примерно так, с таких позиций и спорил с Марком в нескольких письмах; интересно, что и модель у нас совпадает: пример ученых занятий во время пожара именно).

«Лунина» я прочел и многим уже писал о ней. Материал богатый, умный: глубоко поучительный и современный. Кажется, все духовные «метания» пересекаются сейчас через одни и те же точки: нравственная примета времени. Нескромно, но мне кажется, что и тут я как-то самостоятельно и прежде чувствовал остроту проблемы. А вдруг как жизнь толкнет нас мордой в какую-нибудь конкретность — средневековый мор, например, или атомную войну — и все

опять исчезнет? Но вообще «европеизм» в русской истории, католики — Чаадаев, Лунин, Печерин, — мы их открываем вновь, и это самые, может быть, сокровенные страницы. «Подвиг ожидания или подвиг нетерпения». То-то! Частность: мне кажется, что он позицию Пестеля объяснил надуманно. По-моему, тут, на следствии, весь и сказался «бес», вождь: дело проиграно, а до судеб дела нет.

Спасибо тебе за добрые слова; они мне очень дороги. Хорошо у нас с тобой нити связи надежные, хоть слов не боишься. А то вот я написал Церине пожелание благополучия и получил отповедь за мещанский кругозор. Трудно-с. А тебе и домочадцам уж позволь пожелать счастья и благополучия.

Твой Илья.

Юлию Киму

16.5.71

Дорогой мой Юлик!

В письме твоём избыток мудрости — стало быть, и грусти. Конечно же, я понимаю, что требовать великодушия — невеликодушно; кажется, что хорошо здесь излечивается, так это маниакальная страсть чрезмерно требовать от людей. Между нами, она, эта страсть, почти всегда проистекает от собственной неуверенности, — не случайно же чаще всего изливается в пьяни. Я не помню, смел ли я когда-либо обсуждать конкретную проблему «раздвоенного сердца». Если да, то в истоке этого было все-таки ощущение неразрешимости проблемы и боль за всех участников этого действия. Многие конкретности твоих рассуждений как-то ускользают от меня, — поэтому, как водится, воображаешь многое и, очевидно, лишнее <...>

Я, наверно, поступил жестко, пустившись в обсуждение Юткевича с тобой. Это у меня от неизлечимой душевной слоновости. Но я ведь никогда и не сомневался, что твои стихи и песни безупречно честны и, честное слово, в моем письме не было ни малейшего

намек на упрек. Что касается твоей работы, то я всегда хотел, чтобы ты засел за большую вещь и не потерял вкуса к большой работе, но ведь и песни твои — не пустяки (это я о смысле, о талантливости их и говорить не приходится). В какой-то степени я хотел это выразить в «Элегии», но получилось вязко и говорливо, потому глава подлежит безусловному изъятию.

«Нетчик» — историзм: человек, уклонившийся от службы, дезертир в некотором роде. Вот отсюда и пляшется смысл. А Бозси ты мог бы и знать: в последние свои майские праздники я оставил у вас его замечательную книгу «О добровольном рабстве...». «Друг Бозси» — это Монтень, друг — и полная противоположность в темпераментах и принципах жизни.

Мне очень жаль, что именно «Диккенс» ускользнул от тебя. Мне казалось, что пафос его должен быть тебе близок. Ну нет — так нет, суда нет.

Все, я думаю, перемелется в нашей жизни, образуется, встанет на место. Вот только болезней, самых обыкновенных, среди наших пошло косяком, не симптомчик ли это надвигающегося критического возраста, когда и «крест» ведь может утратить обаяние и утешение духовности. И все же, даже в виду этого подведения итогов, жалеть, наверно, надо только о поступках с печатью жестокости и невеликодушия — никак не о «растрченных силах» и «несвершенных деяниях». По-моему.

Крепко тебя целую и желаю добра.

Илья.

Георгию Борисовичу Федорову и Марьяне Рошаль

19.5.1971

Здравствуйте, мои дорогие!

В первых строках письма пойдут извинения и оправдания: — за то, что не поздравил Георгия Борисовича: не было сил копаться на дне рюкзака в поисках точного адреса. Пусть, дорогой мой друг

и шеф, у Вас не болит сердце и пусть ничто не ввергнет его в боль. Что оно навечно пребудет добрым и нужным людям — в том я нимало не сомневаюсь, как не сомневаюсь и в том, что все остальное будет, если не безмятежно, так терпимо; — за то, что адресуясь вам оптом: именно сейчас у меня запарка с письмами, а я тороплюсь ответить, ведь ваши письма и так шли дней десять.

И тут я перехожу к недоуменной части своего письма: вы ни словом не обмолвились по поводу моего затянувшегося молчания. Просто так или были какие-то обстоятельства, от информации о которых вы меня оберегаете?

Большое спасибо за добрые слова о стихах — они мне очень и очень нужны и важны. Там многое — очевидно и для меня — надо чистить и кромсать, ну уж когда-нибудь и как-нибудь, сейчас где уж!

За время нашего — не краткого — перерыва в письмах я был погружен в чтение документов и книг о народовольцах, декабристах, провокаторах, жертвах, палачах, следователях и пр. Это такая пронзительная, такая скорбная и перепутанная вещь — история русской интеллигенции. Я почему так ухватился за статьи Б [нрзб]. Он создал методологический прецедент непростых решений. Скажем, в случае с русскими революционерами: или пример для подражания, тема для аналогии — или «бесы» [нрзб] или, как бы утонченно оно ни высказывалось, — приманка для категорической (стало быть, ложной) позиции. Вот, например Гершензон в блестящей статье о «Памятнике» доказывал, что Пушкин писал примерно так: это вы, чернь, оцените меня за «чувства добрые», а сам я ценен как раз тем, что вам не уразуметь: «звуками сладкими и молитвами». Блистательно обкраденный Пушкин!

Неизменная поучительность — в чтении переводных немецких романов.

Наверно, ощущение глубокой вины делает современную литературу ФРГ такой совестливой и проблемной. Это я о романе Ленца «Урок немецкого», который начал читать в «Ин. литературе». Кроме того, они мудры, даже ученость, излишнюю в художественной литературе, легко прощаешь за мудрость. А это уже о романе Гессе «Игра в бисер».

И вот у меня не осталось места для выражения самой главной мысли. А она неизменна: пускай будет в вашем доме мир, покой, успех — счастье. Крепко вас целую.

Ваш Илья.

Герцену Копылову

24.5.71

Дорогой Гера!

Крым, не давший тебе отдохнуть, — для меня только некое литературное обозначение. У моей сестры есть дагеротип (именно!), где я изображен в испанской шапочке в Крыму. Стало быть, я там был в первые годы своей жизни — но в мемуары мои крымские впечатления никак войти не могут. И вроде бы поездил, поколесил, а начнешь считать — и там не был, и тут не был — нигде не был.

Твои мысли по поводу ассимиляции культур — предмет, давно меня интересовавший. Конечно же, если нет намека на национальное неравноправие, слияние это идет совершенно безудержно. Можно пожалеть при этом, что канал ассимиляции в стороне от приобщения к духовному миру, скажем, Скрябина или Достоевского: это дает козырь культурному и добросовестному националисту, — он «летке-еньке» противопоставляет, скажем, в нашем случае, пророков, и естественный процесс начинает выглядеть уродством. Но и претендовать на более высокую степень ассимиляции тоже непозволительно, раз уж большая часть самих ассимилирующих далека от собственных ценностей. Национализм, который я почувствовал во всех посещенных республиках, — противоречие между умом и неудовлетворенным, протестующим сердцем. Традициям все-таки место в национальной памяти, а не в жизни; меня особенно злили временами наши московские интеллигенты, которые сами ходят на просмотры фильмов Бергмана, выставки французов, а «народу» предоставляют широкую возможность «не терять своего лица» в частушечном идиотизме.

На вопрос об элите предельно отвечает рациональная, но умная книга «Игра в бисер». Боюсь, что подмеченное тобой изменение лица «народа» и «элиты» захватывает область мод и образа развлечений, и только: первых они не отучили от неприязни к серьезным ценностям и стадности, вторых — от конформизма и духовного высокомерия. Впрочем, следует признать, что «народ» я знаю плохо: сказывается отсутствие корневых связей; вторых — тоже: кишка тонка — недостаточная образованность. В моем — межеумочном — положении находятся многие; может, отсюда так много брюзгливого внимания к этим вопросам.

Все эти рассуждения перед лицом твоих личных неприятностей — кажутся тебе досужими. Но что можно сделать, никто ведь не живет без «креста». Пошлость: но у тебя действительно хоть наука в запасе.

Желаю тебе бодрости и успехов.

Илья.

Галине Гладковой

25.5.71

Дорогая Галка!

Я постарался действовать по твоему рецепту: не отвечал в ожидании твоего письма. Оказалось, что черта с два дождешься, больше меня не проведешь. Мне, правду сказать, иной раз приходится затрачивать физическое усилие и внушения совести, чтобы сесть за письмо. Но что поделаешь? Пословицы и поговорки все ответили за меня: «Хочешь кататься...», «труд кормит...» и пр. Меня как раз не оставляет досада, что во многих письмах я пишу об одном и том же. Но что я могу поделать: книги я прочитываю новые не каждый день, а со всеми близкими хочется поговорить, посудачить.

Твои стихи о Новолесной¹ для меня — нить памяти. Слово-то хощее и точное: «Лицейских». Как бы его вновь и ненасильственно

¹ На улице Новолесной Габай жил до ареста.

обрести нам — дух лицейской беззаботности и любви к веселому слову? Очевидно, все-таки это уж невозможно, и нам следует принимать друг друга новыми — озабоченными и утомленными.

Сашка, твой мучитель, уже, наверное, большой и серьезный. Сохранил ли он приветливость и общительность своего грудного возраста?

Мне кажется, по твоим письмам, что тебе сейчас предельно необходим отдых. Лето прошлое ведь у тебя было страшноватое. Уедешь ли ты куда-нибудь в эти месяцы? А издательство — что издательство? Черт с ним, с издательством¹. Пиши мне, подруга, не ожидая легкости, вдохновения и собственной веселости. Я что и не пойму, то, в общем-то, угадаю. А так, при бесписьмице, чего доброго при встрече и не поймешь друг друга — не приведи бог.

Крепко тебя целую и желаю покоя и просветов.

Твой Илья.

Марку Харитонову

23.5.71

Мой дорогой Марик!

Каждое из десяти примерно писем, которые я пишу сегодня, 23 мая с.г., начинается с извинения за задержку с ответом. Такая была задержанная неделя, что я позволил себе отдых. Больше постараюсь не позволять.

«Лунина» я прочитал, многим уже написал о глубоком впечатлении, которое книга произвела на меня. Странно даже, как это я тебе не написал об этом.

Меня наконец-то порадовала «ИЛ». Прежде всего, начало «Урока немецкого». Роман обещает быть интересным и, как большая часть того, что доходит до нас в переводе с «западнонемецкого», — совестливым и покаянным. Кстати, там же и статья о современной немецкой «новой волне». Я не знаю, насколько объективен анализ

¹ Г. Гладкова тогда работала в издательстве «Малыш».

автора, но его пересказы и цитаты оставляют горькое чувство растраны сил. (Хотя и в пересказе — формальные возможности для произведения, в котором есть «о чем» говорить, — очень перспективные.) Наверно, у меня вкусы середины: в живописи это что-то на уровне присутствия «литературы», как у импрессионистов, в литературе — ну хотя бы Белль.

В последнем номере «Вопросов философии» доброжелательная статья о «новых левых». Но автор обходится без фактов, получается слишком академично и бесстрастно для явления, о котором мы так много говорили когда-то.

Я так и не прочел у Гессе последней — индийской — новеллы. Они меня, новеллы, разозлили своей ненужностью, литературным, так сказать, приложением к уже сказанному. Откровенная схема — вот что делает этого мудреца далековатым, по масштабам, от Т. Манна. Впрочем, его еще следует перечитывать. Романа Аксенова я читать не стал. Куда там — «Мефистофеля» никак не могу начать. Обойдусь без Аксенова, ладно уж, похожу в отсталых.

Необходимость написать кучу писем и обилие всяких дел по распорядку дня заставляют меня оборвать на полуслове. Поговорим уж, даст бог, я надеюсь.

Крепко тебя обнимаю. Илья.

Георгию Борисовичу Федорову

7.6.71

Дорогой Георгий Борисович!

Недавно в «Литературной газете» выступил министр связи и пообещал наладить ямскую службу. Надеюсь, это благоприятно скажется на нашем с Вами общении и на моих интеллигентских нервишках. Там же изложен доклад Наровчатова, но, — скажу без лести — один мой корреспондент изложил его куда интереснее <...>

А «вседневность», которую Вы вспомнили, все-таки не сказываться не может, сказывается — на общем душевном состоянии.

Работать надо, трудиться, как говаривали чеховские герои, но для работы, не имеющей ярко выраженного воспитательного значения, времени, можно сказать, что-то совсем не стало. Успеваешь только полистать журналы; может, от этой торопливости, желая непременно успеть все выглядит беднее, даже чем оно есть на самом деле. В последнем номере «Вопросов литературы» опубликована статья Т.Л. Мотылевой на тему для меня первостепенного интереса — «Достоевский и зарубежная литература». И все время злился на поверхностность и неглубинность исследования. Между прочим, автор — человек феноменальных знаний и культуры; наверно, она убедила себя, что глубже нельзя и сметь мыслить. Новое поколение критиков (некоторых) выгодно отличается от того, кого спугнули в свое время «сороковые-роковые». Читали ли Вы статью Лема о «Докторе Фаустусе»? Я читал только полемику о ней — зачастую невысокого качества, но все равно и в изложении позиция Лема выглядит странной. А что касается декабристов, то именно это: что им-то успех своего дела, кроме убытков, ничего не сулил, да еще, что их было только «сотня прапорщиков» и что «узок круг этих революционеров» (что, по-моему, трагичнее — и героичнее), наверно, и снимает всякий другой грех движения. Читайте сейчас Акутагаву. Лишний раз убедился, что все следует читать вовремя, иначе смещаются пропорции и снижается воздействие произведения. Как-то после ошеломившей меня притчи Кафки все остальные выглядели замученными и придуманными. В этом случае тоже. Кстати, о пропорциях. Я внимательно изучил соотношение ума, души и обаяния Софи Лорен, Джинны Лоллобриджи и др. Но пространственное видение никогда не было моей сильной стороной. Впрочем, я, как известно, ценил этих актрис не только за это <...>

С тем я с Вами и прощаюсь, дорогой Георгий Борисович, крепко Вас целую и низко кланяюсь всем Вашим и нашим.

Илья.

Елене Гиляровой

8.6.71

Здравствуй, Леночка!

<...> Из материалов, имеющихя в моих номерах «Былого», я никак не мог понять, почему именно Суханову одному только и был утвержден Его Императорским Величеством смертный приговор. Но и в тех скудных наметках, которые имеются, все равно он выглядит симпатично. У знакомых моего знакомого есть, кажется, все номера «Былого». Выйду на свободу, и если сохраню соответствующий душевный настрой, обязательно окунусь в эти материалы. Боюсь только, что это как-то незаметно станет всеобщим предметом интереса; в этих случаях, как правило, вырабатываются новые стандарты точек зрения, теряется острота восприятия и сочувствия.

Воспоминания Белого, о которых ты пишешь, я, видимо, читал. Они носят какое-то «серединное» название — «Меж двух... чего-то?» и там много сопоставлений себя с Блоком? А Гершензон, конечно же, умница; но у него, по-моему, извечная односторонность русских литераторов, даже когда они блестящи и оригинальны. Сопоставление со скромными именами лучших современных исследователей как-то подтверждает, что и после Гершензона люди думали и чувствовали. А «Молодая Россия» его, по-моему, скудновата: об Огареве и Печерине, Орлове и Галахове можно было бы рассказать помудрее, поконцептуальнее, так сказать.

Стихи твои прочитал с удовольствием. Только подумал: ну и веселье у нас! А по моим стопам — это уж уволь, голубчик. И так уж в последнее время — что ни письмо, то мартиролог. Проблема гвоздей не так уж остра, гвоздей, кажется, хватает. Гвоздевых дел и охотников, я думаю, тоже.

Живи хорошо и пиши мне почаще.

Твой Илья.

Марку Харитонову

11.6.71

Дорогой Марик!

Очень мало что могу рассказать тебе в этом письме. Какая-то сейчас напряженная полоса нехватки времени, и я тороплюсь тебе ответить, потому что до воскресенья еще далеко.

Юлик, как тебе известно, побывал в Красноярске, написал очень тепло о поездке туда. Я, разумеется, по известной тебе склонности к воспоминаниям, вспомнил период твоего жениховства и все эти доброй памяти времена. Странно, что вы с Юликом разминулись: я по твоему предыдущему письму понял так, что ты должен вот-вот посетить соседний со мной город <...>

Все откладываю книги на воскресенье — в немногие имеющиеся у меня сейчас часы едва успеваю проглядеть интересное мне в журналах. Читал ли ты статью Тамары Лазаревны¹ в «Вопросах литературы»? Там есть и твоя проблема — Достоевский и Манн, но случая с Аптом не повторилось: по-моему, это удивительно (для ее познаний) малопроблемно, и конкуренция тебе не угрожает. В последнее время, на мой взгляд, в ее статьях отчетливее проглядывается методология старой школы литературоведения; на фоне современной остроты критического подтекста и разнообразия стилей это особенно бросается в глаза. Надо в это воскресенье кончить Акутагаву, первое впечатление: поздновато читаю, сейчас все уже как-то известно из других источников и кажется вторичным. Что, надо полагать, несправедливо. Ждет меня еще и «Мефистофель», которого я отложил на середине до поры до времени.

В конце той недели был снег, сейчас июнь как июнь, но ожидаешь поневоле сюрприза. Впрочем, все не зима и мало трогает поэтому.

Прощаюсь с тобой, обнимаю тебя и всех твоих и наших.

Илья.

¹ Тамара Лазаревна Мотылева (1910—1992) — литературовед, мать Михаила Ландора. Габай с обоими был знаком.

Елене Семеке

14.6.71

Дорогая Леночка! <...>

За оценку стихов я тебе очень признателен. Ты совершенно права: я никак не претендовал на конечные истины (избави бог от них!). Сейчас по прошествии некоторого времени мне, разумеется, ясно, что многое можно выбросить, многое изменить — но именно сейчас уж несбыточно думать об этом. Место об «элите» плохое, потому что прямолинейное. Я рад был, прочитав гораздо позднее Германа Гессе, убедиться в том, что более или менее самостоятельно в какой-то степени и эмпирически даже, размышлял похоже, с тех же позиций. Сам роман меня, правда, только мыслью и устроил: аллегория и притча, как я тебе писал, наверно, неоднократно, в последнее время кажется мне облегченным и умозрительным литературным приемом. По этой же причине меня гораздо больше захватил, чем это случилось бы несколько лет назад, и близкий, я думаю, тебе японец Акутагава. У тебя иное дело: это твой мир. Восток тоже должно чувствовать, понимать, а я слишком уж воспитан на переводных европейских и особенно русских образцах. Вообще мне всегда был наименее понятен какой-нибудь орнаментальный колорит, только в той степени, в какой это придает оттенок, отпечаток и пр. Это я по поводу Белова. То, что я помню из него по новомирским публикациям, как-то отложилось очень противоречиво. В «Плотницких рассказах», насколько я помню, было острое столкновение социальных характеров, моральные коллекции. Но вот у него была в «Новом мире» повесть о каком-то крестьянском балагуре — и здесь я ничего, кроме чувства досады, отчужденности от этой жизни, не испытал. Будто высыпали на меня мешок частушек, неизменно далеких от меня во все времена. Меня почему-то тронула пьеса Друца в последнем номере «Театра». Там тоже притча или полупритча, но местами очень тонко, искренне, с ощущением авторской боли. И общечеловеческой тоже.

Может, я мало и плохо знаю Фалька? Я видел выставку на Беговой и только. А может, случилось и так, что после известных шумных

нападений на него я ожидал большего? Или был перекормлен выставками? Во всяком случае, хотелось бы все это увидеть свежим и теперешним — отвыкшим от живописи — взглядом. А Вл. Максимова я мимолетно знал: мы встречались с ним раза два летом 1957 г<ода> во Фрунзе. У него родители погибли в свое время, он остро и непримиримо говорил об этом, так что, не думаю, чтобы он в полном смысле был из кочетовской компании. Им просто надо время от времени печатать что-нибудь художественное, в 1960-х годах особенно нужно было <...>

Крепко тебя целую и жду твоих писем.

Илья.

Георгию Борисовичу Федорову

21.6.71

Дорогой Георгий Борисович!

Спасибо за письмо, которое тоже пришло довольно быстро. Вон они какие — электроника, НОТ и пр. По кодексу (исправительно-трудовому), вступившему недавно в силу, письма должны отдаваться и отсылаться в течение трех дней.

Мне немного грустно, ясное дело, что М. Г. (не «милостивая государыня», а Ваша жена)¹ давненько что-то не выберется написать мне пару слов. Но я понимаю, сколько у нее сейчас хлопот с разросшимся и шумноватым семейством, и иных хлопот тоже — и, конечно, никак не в претензиях. Кланяйтесь ей за меня низко и сердечно.

Внучка Ваша, конечно, рановато пристрастилась к зеркалу. Если я правильно понял опыты Менделя с горохом, Вам следует искать гены среди дядей, тетей и пр. Может, это у нее от Б. З.? Я очень рад за Веру, поздравляю ее и — стыдно сказать — но надеюсь, что где-то через 11 месяцев вступят в силу законы «блата». В случаях интересных выставок, разумеется.

¹ См. письмо М. Рошаль от 14.1.71.

Георгий Борисович! Люди типа Гааза¹ — это вечное чудо. Чудо великодушия и самоотверженности, к которому нельзя же, согласитесь, взять и обязать человека. Кажется мне сейчас или это неверное ощущение, что в «Былом и думах» — одной из любимых мной в последние два года книг — взята какая-то невольно снисходительная интонация. Да это, должно быть, и естественно: маститые, крупные фигуры как-то заслоняют такие нешумные дела. Даже слово есть: «филантропия». Но вот и лингвистическая истина: слово и впрямь многозначно. Надо, справедливости ради, отметить и то, что за прошедшие 120 лет (сужу чисто эмпирически) врачи более добросовестно и строго относятся к своим обязанностям <...>

Сходил после долгого перерыва в кино — пересмотрел «9 дней одного года», такой серьезный и умный фильм. Он не был принят здесь. Вот еще повод подумать, что и при поголовной грамотности в «массовую культуру» не вошли не только Пруст там или Шенберг.

А вчера смотрели концерт местных артистов театра оперетты. Странное дело, я-то никак не воспринимал такую культуру, не музыку, которая бывает мила, а весь традиционный набор «mots» и телодвижений — но было какое-то тепловатое и доброжелательное состояние. Поваяло прочитанным и памятным из детства духом почему-то провинции. Рядом со мной сидел Минька. Из 18 лет своей жизни он 3 года провел в лагерях, сохранил много детства (он рыжий и засыпан веснушками, маленького роста и худой). Очевидно, искусство он любит. Недавно он учил меня песне про «шаленного» королевского стрелка. На концерте он постоянно восклицал: «Путево, верно, Илья? Путем поет, да?» И делал выводы: «Это она (артистка) балдеет (смеется), чтобы нас насмешить...». Видите, смотрю, значит, мало читаю. Я думаю, что это все-таки временно — такая ограниченность во времени (хотел сказать «такое безвременье», но убоялся двусмысленности).

¹ В рассказе Г.Б. Федорова «Аллея под кленами» речь идет о знаменитом тюремном враче Ф.П. Гаазе.

Крепко Вас целую и желаю Вам всего лучшего во всем: «в заботах жизни, в царской службе, и на пирах разгульной дружбы, и в сладких таинствах гм-гм».

Ваш Илья.

Марку Харитонову

27.6.71

Дорогой Марик!

Надеюсь, письмо застанет тебя еще в Москве. Но на всякий случай напишу так, коротенько: жаль сил впустую, да и новостей с впечатлениями совсем немного. Обязательно напиши мне по приезду в Красноярск, иначе откуда мне знать, по какому адресу писать?

Правильно ли я тебя понял, что ты будешь ежемесячно писать в раздел «Из месяца в месяц»?¹ Слишком он уж краткий, этот раздел, хотя и интересный. И еще я не понял, о каких «новых левых» ты говоришь: о «формалистах», об «экстремистах»? Сейчас слова совсем уж полисемичны, прямо беда. Ленца выходил у меня только майский номер. Не могу судить, открывает ли это что-то новое. Пока что это радует не столько добросовестностью, сколько совестливостью.

Говорят, есть новый роман Александра Исаевича². Читал ли ты его? Если да, расскажи немного. Из моего чтива по твоему — немецкому — ведомству: кончил читать с перерывами «Мефистофеля» и начал с такими же глубокими перерывами читать Клейста. Первое что-то не очень глубоко задело. Он все-таки в этой теме — сделка с дьяволом — провинция в литературной стране его отца. И еще удручают ощутительные намеки на то, что это «с природы». А Клейста я даже в переводах Пастернака что-то не могу полюбить. Надо было читать его в детстве, вместе с Гюго и Шиллером, а я этого не делал

¹ В журнале «Иностранная литература».

² Роман А.И. Солженицына «Август Четырнадцатого».

и что-то потерял по пути к Клейсту в способности свежо впечатляться и остро воспринимать. Такие дела <...>

Я буду ждать твоих писем — из Москвы ли, из Сибири ли. А пока обнимаю тебя.

Илья.

Герцену Копылову

27.6.71

Дорогой Гера!

Георгий Борисович обещал загрузить тебя землекопной работой. Так что ты не терзайся муками, а поезжай-ка и отвлекись на благодатном Севере. Церкви, девочки, свобода, брат! — чего еще надо, рожна? А что руки не просятся к перу, это уж кругом точно. Чего ж поделаешь, если такие сейчас темпора и морес¹. Коллекционировать напасти — гиблое дело, свихнешься совсем. Уж бог с ним, давай, по возможности, жить и смеяться, как дети.

А читал ли ты сам роман «Август 1914 г.»? Вряд ли нужно говорить о моем остром желании узнать хоть какие-то детали. С Буричем², если я только не путаю, мы были с Петей как-то мимолетно знакомы: пили вместе водку в году этак в 65-м и вели не очень-то умные разговоры. Кажется, он муж Музы Павловой (или бывший муж?) — молодой тогда и красивый человек. А до всех этих верлибров, между нами, как до лампочки. Мне, я хочу сказать, как до лампочки. Есть поближе к старости и посуущественнее заботы, чем окунаться в притворство или маниакальную одержимость. Все-таки есть о чем еще и думать и о ком да о чем переживать. Можно и без рифмы, лучше с рифмой, да тут уж надо, чтоб рука тянулась к перу. Не знаю, как кому, но мне хотелось бы, чтобы к этому случаю рука была поменее натруженной. Ну да это дело будущего, в котором все будет. Как в Греции.

¹ «O tempora! O mores!» — «O времена! O нравы!» — восклицание Цицерона из «Первой речи против Катилины», ставшее крылатым выражением.

² В. Бурич (1932—1994) — поэт, теоретик и пропагандист верлибра.

Надеюсь, что и у тебя все в конце концов образуется к лучшему. Нет ли у тебя книги Некрича? Если есть, передай с Галей числа до 13.

Хорошо бы нам иметь поменьше поводов для огорчений — но ведь жизнь! Куда денешься.

Будь здоров, успешен и пиши, не забывай.

Илья.

Галине Гладковой

27.6.71

Дорогая Галка!

О дне рождения Саньки мне написали почти все участники торжества. Поздравляю тебя с ним, с его праздником. Надеюсь, он перестанет выкидывать какие-то педиатрические номера и даст тебе и себе покоя.

Четыре года — это все-таки уже ого! Это значит, что я тебя вообще давненько не видел, да еще и до этого видел бестолково, потому что Сашку я помню совсем только крошкой. Остается только сказать наше давнишнее: мысленно вами. На следующий год попытаюсь не пропустить этого дня.

Живу я как придется. Все стараюсь поберечь «ремоне», как говорит твой начальник. Это есть главная моя забота. Немного я утомлен и чувствую себя временами пустовато. Как и сейчас. Тому есть ряд причин, главная из которых все-таки моя нудноватость и привычка скорбеть. Я ее преодолеваю, хотя бы из соображений того же «ремоне»: вот близким только и исповедываюсь, а на ком-то срываюсь.

Ты рассказала о новых своих привычках — домоседских. Я и в себе временами замечал такое в последние годы. Меньше хотелось ездить и видаться. Ты мне вот что скажи: столько хороших, милых, веселых людей было! Куда они все деются, как лебеди зимой? Вспомнишь — и снова не очень-то весело.

Помнишь, в «Записках из подполья» рассуждение о поведении при зубной боли. Это письмо по тому же разряду. Я его пишу в несколько смятенном состоянии. Не следовало бы делать: тебе и самой забот хватает, но другой день выкроить тоже непросто.

Будь счастливой и пиши мне почаще. Целую тебя и Сашку.

Елене Гиляровой

1.7.71

Леночка!

Было бы лицемерием, если б я умолчал о том, что, действительно, долгонько не было от тебя письма. Ну уж если действительно нет ручек и бумаги — так и суда нет. Не сочти за иронию, я понимаю хорошо, что у вас и кроме писания писем дел по горло. Но уж больно приятно их получать.

Будешь ли ты или Валера в Москве числа до 10—12? Если да (только, ради бога, не специально — с okazji только!), передай мне на 4 месяца прочитанные тобой старинные журналы. У меня есть один номер «Русской мысли» за 1914 год со статьями Бердяева, Л. Гроссмана, Изгоева, Струве etc. Читать это очень интересно, а если порой даже и не очень — все равно поучительно. Хотя бы восторги и скептицизм начинают зиждиться на первоисточниках, а не с чужих слов.

В последнем номере «Иностранной литературы» есть рецензия на книгу Клауса Манна «Мефистофель». Написана она Владиком¹, который проявляет несколько сомнительную эрудицию. Сомнительную в том смысле, что она целиком почти — о прототипе, и совпадениях и не совпадениях реалий в романе. Это несложно почерпнуть из изданий «Кто есть кто?». Впрочем, и автор предисловия к книжке, некто Архипов, делает то же самое. Очевидно, мало что об этой, недавно прочитанной книге можно сказать еще. Как видно, все-таки

¹ Имеется в виду В. Пронин.

добрых намерений и честного антифашизма мало. Или и впрямь после кошмаров в «Докторе Фаустусе» трудно (ассоциация естественная, верно?) всерьез принимать такой масштаб сделки с чертом, как у сына Т. Манна? Между тем тема такая острая и болезненная!

Еще я прочитал недавно Клейста. Знаешь, тут уж ни громкие имена переводчиков и ценителей, ни заданная серьезность никак не помогли мне. Все-таки вовремя надо читать романтическую классику, пока сам так гиперболически и максималистски воспринимаешь мир. Сейчас читаю журналы. Мне нравится роман Зигфрида Ленца, при всем отталкивании моем от «условной» литературы — монопьеса Кокто «Человеческий голос». А вообще-то сейчас я читаю мало и трудно: летнего времени поменьше, чем зимнего, хотя во всем остальном — какое ж сравнение этих времен года.

Галя должна приехать на свидание, назначенное на 16 июля. Жду хоть немного новых книг. А писем — этого я жду постоянно. Церина писала мне частенько; стыдно сказать, но у меня не всегда хватало сил вовремя ответить. Ну, а сейчас она в больнице, и писем и стихов от нее, к сожалению, нет. Надеюсь, что все у нее будет благополучно. И у тебя, и у всех наших. Пиши чаще. Не присылать ли тебе бумаги в письмах?

Всего доброго. Илья.

Герцену Копылову

5.7.71

Дорогой Гера!

Не прошло и недели, как я тебе написал предыдущее письмо. Новостей с той поры не прибавилось — капризы погоды и природы не в счет, — так что я смогу ответить тебе разве что на твой вопрос: что я читаю. Как я живу, это ответить труднее.

В самом главном — в возможности поработать, поумствовать — воспользуюсь вашим научным термином. Благо он, как я вычитал, стал и модным литературоведческим термином. Я имею

в виду «состояние энтропии» (за правильную транскрипцию не ручаюсь).

16-го должна приехать Галя; надеюсь от нее подробнее узнать о житье-бытье наших общих знакомых <...>

Благодарю тебя за пересказ «Августа 1914 года». Ну, идей в пересказе со всей очевидностью не уловишь; подождем до лучших времен.

Теперь о чтении. Главное — журналы. «Новый мир» что-то пустоват, похож на «Юность», рассчитанную в интонациях на менее непосредственного читателя (я в первую очередь имею в виду критику и публицистику). А два последних номера «Иностранной литературы» мне нравятся. Там печатается хороший западногерманский роман «Урок немецкого»; интересный монолог (давний) Кокто — угадываешь, читая, какие потрясающие душеспательные, во всяком случае, возможности дает он хорошей актрисе.

Там же напечатана рецензия на книгу К. Манна «Мефистофель». Автор ее — мой бывший друг Владик Пронин. Рецензия не бог весть какая, книга, впрочем, тоже, но ее, по-моему, все-таки следует читать. Она о вечной для меня проблеме волхвов на немецком, фашистском материале. Pamфлетная форма применительно к ситуациям конкретным, биографическим, по-моему, малоплодотворна.

Меня в этом смысле и определенные места «Первого круга» в свое время огорчили тоже. Но какие-то ответы и созвучия по серьезным приметам есть и в «Мефистофеле». Особенно для тех, кто ищет — созвучий. Ну и еще прочитаны некоторые книги — с разной степенью восприятия. Боюсь, что я, в своей обстановке, потерял некоторую эстетичность, эстетические критерии, и подхожу поневоле к книгам с точки зрения чистой утилитарности. Поживем, доживем — увидим. А пока всего тебе доброго.

Илья.

Галине Гладковой

6.7.71

Дорогая Галка!

Традиция все-таки традиция: я дождался-таки твоего второго письма прежде, нежели успел ответить. Стихи все-таки подарок. Хотя бы уже потому, что они поискреннее твоих писем: очень угадывается невеселое настроение, которое ты так стараешься скрыть. Да и реакции твои, выраженные языком и стихом, очень мне близки (даже формально) <...>

Свидания во всех случаях, даже если остается грустноватый осадок невысказанности, недоговоренности и пр., — событие большое и радостное. С Алешкой я сам сначала испытывал некоторую робость; кроме того, он был болен, и пять часов сидения на стуле, я полагаю, были для него мукой адской. Все сгладилось неожиданным личным свиданием, о котором тебе Галя расскажет и которое, я надеюсь, будет тебе по-особенному интересно <...>

У меня до сегодняшнего дня был какой-то запас времени для чтения и писания, хотя это стоило мне серьезных физических усилий. Сейчас это все поломалось, и я очень жалею, что не успел прочесть большую часть книг. С каким-то душевным волнением — сентиментальным даже, если произносить это со значением, с вызовом, — я прочел роман Каверина. Это все-таки радостно — погружаться в благородство, в чистоту, в просто жизнь, даже когда это выражено негромко. Начал еще читать «Былое», которое мне передал Валерий Агриколянский. Познакомился там с делом Дегаева, который убил полицеймейстера Судейкина, будучи до этого его сотрудником и провокатором в народовольческой стезе. За документами угадывается надрыв и материал для Достоевского. Впрочем, он многое уже описал — в «Бесах», например: правдивой и все-таки неизбежно враждебной мне книге.

Невеселого, конечно, мой друг, хватает; только вот, например, дети растут, учатся Пушкину и Блоку, — и в этом смысл. И можно отдаляться заботами от друзей — но они в конечном счете есть

и проявляются. Жить можно, хотя и не так любопытно, как бывало. Я желаю тебе радостей и надеюсь, что они у тебя будут. Непременно и с избытком.

Крепко тебя целую.

Илья.

Герцену Копылову

30.7.71

Дорогой Гера!

Каюсь, но я воспользовался твоим отсутствием в Москве и дал волю своей лени. Ты в этом смысле не исключение, и я клянусь себя за позволенную расслабленность. Постараюсь войти в ритм ответов, но боюсь, что еще некоторое время — пока тепло — со временем будет по-прежнему туговато. Ответ мой безнадежно запоздал, но на одном из фактов, отмеченных тобой, я все-таки остановлюсь. Я имею в виду гибель космонавтов, которая и меня весьма огорчила. В конце концов — извини за ненаучный, стало быть, обывательский кругозор, — не так уж важно, отложатся или нет дальние космические рейсы. Куда важнее гибель людей, и как-то стала сразу понятнее и напряженность их жизни, и высокая степень постоянного риска: прежде мне это казалось куда благополучнее. Я разделял идею известного стихотворения Твардовского о космонавтах и солдатах, не вернувшихся с войны, а оказалось вот как.

Видел ли ты Галю с Алешкой по приезде их из Москвы? О моей жизни они тебе более или менее расскажут <...>

Повесть Иосифа Герасимова, о которой ты пишешь, я прочел. Мне это показалось приличным вариантом публикаций «Юности», но оговорюсь, что я сейчас многое воспринимаю бегло и поверхностно. Гораздо важнее, то есть интереснее, то, что опубликовано в последних номерах «Иностранной литературы», «Урок немецкого» и две повести Томаса Вулфа. Читал в последнее время швейцарские пьесы — Фриша и Дюрренматта. Тебе известно, что я скептически

отношусь в последнее время к мифической форме: она подтверждает утрату современной философией научных критериев, всякое парадоксальное суждение становится философией — но захватывает, конечно. Кстати, читал ли ты «Физиков» Дюрренматта (или смотрел)? Там тебе должен быть близок и метод.

Пиши почаще и не сердись на меня.

Всего доброго. Илья.

Юлию Киму

1.8.71

Дорогой Юлик!

<...> Ты прав: я вне контекста не могу оценить твоей песни, хотя по описаниям могу как-то представить действие. Вообще по сценариям, пересказам нельзя судить о будущем фильме. Вот я прочитал с недоумением сценарий Ю. Райзмана, а между тем он всегда серьезный и честный художник, даже когда фильм, с моей точки зрения, неудачен. А вот твою проблему — работать постоянно или оставаться при творческом статус-кво — я только могу принять к сведению. Славно, конечно, иметь возможность делать то, что хочешь, тем более при общей нашей с тобой добросовестности в постоянной работе, но ведь и есть-пить тоже надо, это я еще не разучился понимать <...>

Дорогой Юлик! Я отослал письмо Ирке, а сегодня узнал о смерти Сарры Лазаревны¹. Я напишу письмо Пете, как это ни трудно. Какой-то проклятый год!

Илья.

¹ С.Л. Якир.

Елене Гиляровой

7.8.71

Леночка!

Уесть-то я тебя уел, но сам, как видишь, оказался не лучше. Нужно все-таки дисциплинировать себя, а то, глядишь, скоро совсем останешься без корреспондентов. Что я тогда буду делать, непонятно, лапу, что ли, сосать?

Список претендентов на премии я читал, но только список: ни с одной книгой, ни с одним спектаклем или фильмом я не сумел как-то ознакомиться. Судя по твоему письму, жалеть об этом не очень-то стоит. И то утешение.

Полиглотничать (словечко-то!) мне тоже многие годы уж очень хочется, но, в отличие от тебя, я даже и не делал попыток к совершенствованию. Боюсь, что и вряд ли сделаю, разве что буду в деревеньке какой-нибудь ночным сторожем: дел накопилось немало, многое придется наверстывать, да и человек я, как тебе хорошо известно, суетливый, впряженный во многие знакомства и заботы.

Основной заповедь моих последних писем — ты это обязательно должна была заметить — жалобы на малые возможности чтения. Это и в самом деле действует угнетающе. Журналы, пока читаю, я захватываю на работу и потихоньку прочитываю их во время проверок (их набирается в общей сложности часа на два, а то и больше).

Прочел с большим опозданием новый роман Хемингуэя. Конечно же, чтение прекрасное, вспоминается время первых приобщений к нему, когда — смеху-то! — он казался таким непривычным и сложным писателем. Но вообще-то роман — самоповторение. Я еще вот что подумал, дочитав его: очевидно, творчество Х., его подход к литературным героям, их судьбам — это тоже эксперимент. Но вот у Достоевского в таких жестких экспериментальных ситуациях корчатся мысли и люди истязают себя, а здесь все попроще: серия случайных или закономерных смертей и небанальная, но примелькавшаяся хемингуэевская позиция, поведение героя: пьет, мужественно переживает, теряет смысл, вступает в активное

физическое действие, сам гибнет. Еще интересно было впервые познакомиться с другим американским классиком — Томасом Вулфом. Две его повести были напечатаны в последней книжке «Иностранной литературы». Почитай при случае, если ты не читала <...>

Всего доброго. Илья.

Георгию Борисовичу Федорову

8.8.71

Дорогой мой Георгий Борисович!

Я был очень огорчен известием о смерти Сарры Лазаревны, своим отсутствием в *такие* часы возле Якиров. Скорбные слова всегда даются трудно, выглядят приклеенными (у меня). Надо бы быть в такое время возле друзей. На моей памяти давно — чуть ли не с детства — не было смертей близких, привыкнуть к этому — страшно и кощунственно думать.

Я рад, что Вы едете все-таки в Карелию, места, которые я обязан был давно посетить, но вот не удосужился. Только (по-честному) у меня основательные сомнения в плодотворности экспедиции этого года: слишком уж поздно Вы едете, браконьерский сезон позади, а какая уж экспедиция без бредня!

Спасибо за пересказ фильма Куросавы — художника, очень любимого мною, хотя я видел только два его фильма. Конечно, даже Ваш, мастерский (я нимало не шучу, не подумайте, ради бога), кино не заменяет; кажется, мне многое по приезде придется наверстывать. А может, и не стану наверстывать: не знаю, как потом, но сейчас мне крайне хочется отдохнуть, душевно особенно. В идеале это неторопливое чтение (много лучше — писание, но это уже не покой) в тепле.

Георгий Борисович! «Путево» или «балдеющий» — это и грустно и не грустно: это, с позволения сказать, знакомая Вам «селявишка». Мальчишка, попавший в 16 лет в тюрьму, испытывающий самые острые и чувствительные нехватки (совершенно несоизмеримые,

например, с моими) и сохранивший непосредственность и элементарное желание добра — это очень во многом искупает темноватость и некоторые этические сомнительности. Впрочем, он — сверстник моих учеников (первых); я к этому возрасту пристрастен, при условии, конечно, той самой непосредственности и готовности, хотя бы потенциальной, к театру. Здесь много зла и злобы, совершенно неотрецензированной (разве что страхом перед Уголовным кодексом); и каждое проявление человеческого, даже слабость, воспринимается как божий дар.

Когда я начал читать Ваш испанский рассказ, у меня сразу возник контраргумент: а Бунюэль или Берланга? Но Вы сами упомянули их фильмы, и аргумент как-то отпал сам собой. Пришлось как-то еще раз вернуться к неновой мысли: что и без Освенцима бывает страшновато, если это фашизм. Я уже понял, вернее, принял для себя, что фашизм вполне возможен у *умного* народа (немецкого), но как-то совершенно немыслим он у таких благородных и открытых рас, как романские. Вы пишете, что он загнивает в оскудении. Было бы утешительно, но боюсь, что и миазмов этого загнивания хватит надолго: на его почве очень уж плодится чиновничество (бюрократическое, политическое, от искусства), армия, носороги. В последнем номере «Вопр. л-ры» статья Юрия Карякина о Порфирии Достоевского (автора Вы, наверно, тоже знаете; я его встретил, между прочим, в последний день свободы). Может, я и брюзга, но как-то плохо принимаю в последнее время поверхностную блестящность — наследие Луначарского, условно говоря. Что я буду делать со своим испортившимся характером? Бросить пить, что ли, и податься, по Вашему примеру, в каменные бабники? Крепко целую Вас и Ваше семейство и всем друзьям и знакомым кланяюсь.

Ваш Илья.

Марку Харитонову

8.8.71

Дорогой Марик!

От тебя очень уж долго не было писем. Я уж подумал, не светопреставление ли: уж ты был так надежен в этом отношении. По письмам твоим я соскучился, и очень, напиши еще из Красноярска, коли успеешь <...>

Я никогда не умею подгадывать точно и поэтому заранее поздравляю тебя с днем рождения. Будь счастлив, старина, плодотворен и не изменяй своего отношения ко мне. Постараюсь 31 августа следующего года не уезжать в экспедиции или командировки, аналогичные нынешним. Последнее, правда, зависит не только от меня.

Ты, наверное, знаешь московские огорчения. Самое печальное, разумеется, смерть С.Л. Якир. Она подчеркнуто любовно относилась ко мне последние годы, меня такое, особенно в пожилом человеке, всегда пронимает до основания. Кроме того, подозреваю, что это пошатнет статус полунеприкосновенности нашего друга и ее сына.

Мне приятно, что в последние годы я частенько встречаюсь с твоим именем в журналах. Читая Хемингуэя, я столкнулся с рецензией Лакшина на роман Голдинга. Слава богу, что он хоть не называет фамилии переводчика. Но, мне кажется, для меня наконец прояснилось давнишнее уже новое напоминание о разочаровании Володи Тельникова¹ в своей творческой работе. Но Голдинг — это же, действительно, масштаб, здесь, по-моему, неудача могла ждать вполне и переводчика поопытнее.

Я мимоходом позавидовал тебе, вспомнив давнюю красноярскую идиллию. Мимоходом — потому что слишком уж плотный рабочий день. Из беллетристики я прочел недавно пьесы (подряд) Дюрренматта, Фриша и Ануя. Последний наиболее задевающий, в нем осталось что-то от не-рацио. Чтение такое скорее для умственных

¹ Роман У. Голдинга «Повелитель мух» вышел в переводе В. Тельникова. В. Лакшин в своей рецензии раскритиковал этот перевод.

игр («в бисер»?!). В другом роде, но в чем-то и в подобном роде, как я понимаю, находят утешение люди в чтении детективов. Кстати, об этом «в чем-то». В последнем номере «Вопросов литературы» Дм. Урнов (соавтор умной книги о Шекспире), как-то плоско вступивший против подтекста. Я понимаю, это может стать средством надувательства, как «видение» в стихах и живописи. Но он требует непременно прояснения автором всех «что-то», «как-то», «долго» или «я думаю». Инерция политического запала? Там же статья Ю. Карякина о Порфирии из «Преступления и наказания». Я ее еще не дочитал; пока впечатление попытки развернуть одну-единственную остроумную находку, но впечатление еще может измениться.

Пиши мне почаще. Передай красноярцам, что я их вспоминаю с неизменной благодарностью и чувством вины и низко им кланяюсь. А тебя и Галя с ребятишками обнимаю.

Твой Илья.

Людмила Ильиничне Гинзбург¹

Без даты, приблиз. 1971 г.

Дорогая Людмила Ильинична!

Что это Вы так быстро меня забыли? Ни слова от Вас доброго за полтора без малого года, ни вестей. Я понимаю, что и сам поступаю, мягко говоря, неблагородно, что не писал Вам до сей поры. Но, честное слово, у меня совершенно кретинская память на адреса и телефоны. Если бы я мог, я бы уже давно, если бы и не позвонил из автомата, то написал бы.

Галя и Аришка (которой я сразу же ответил на ее открытку) сообщили мне все об Алике. А вот о Вас я совершенно ничего не знаю. Как Вам там живется? Не очень ли грустно это — переезд Алика во Владимир — для Вас? Не хвораете ли?

¹ Людмила Ильинична Гинзбург — мать Александра Гинзбурга, правозащитника, политзаключенного.

Я верю в Ваши высокие жизненные силы, в Ваш оптимизм, но все-таки напишите мне, другу Вашего дома и Вашему, все без утайки. Ладно?

Я очень мало чего могу добавить к своим многочисленным письмам о своем собственном житье. Скучаю, конечно, обо всех, и о Вашей многолюдной и теплой квартире тоже. Спасибо друзьям, они пока что пишут более или менее на совесть. Но (между нами) я очень боюсь, что настанет минута, когда все их добрые намерения поддержать мой дух иссякнут. Так бывает. По себе знаю. И понять могу, если это вдруг случится, и пенять не вправе, но жду этой минуты с ужасом. Все это я говорю к тому, что Вы, прочитав это письмо, должны отложить слушание утренней зорьки или программы «Спокойной ночи, малыши» по «Спидоле» и написать мне пару честных строк.

Дорогая Людмила Ильинична! Я как-то не умею сейчас подобрать нужных и верных слов, но Вы и так, наверно, догадываетесь о неизменности моих чувств к Вам. Передайте от меня сердечный привет всем, с кем переписываетесь, и в первую очередь Алику. А также всем, кому можете передать привет в Вашей (семье?), кроме Ариши. Ей не передавайте, т.к. она, коли захочет, может получить от меня привет собственноручный. Будьте веселой, здоровой и не забывайте меня. Целую Вас крепко.

Ваш Илья.

Елене Гиляровой

23.8.71

Леночка!

Надеюсь, письмо передадут тебе или перешлют — во всяком случае, что ты его получишь. Что-то все потянулись из Москвы (вспомнили, поди, что лето?), и без того малая надежность переписки совсем ослабла. Но я не унываю и видишь — пишу. Воспитываю характер, вношу в него начисто отсутствующее железо.

У меня дома есть «Красное и зеленое» (так кажется) Мердок и три готических романа, в том числе Радклиф. Захочется, возьми при случае и прочти.

Девочки в брюках должны быть непременно красивы. Они вообще, мне кажется, сейчас очень красивы, поэтому я с таким сочувствием отнесся к критике женских брючных костюмов в «Литературке», а заодно и порадовался — до какой высоты либерализации мы поднялись. Наверно, Лукин принес тебе «Сто лет одиночества» Маркеса? Я его только-только прочел; автор — поразительный выдумщик, иногда — чересчур, с перехлестом, и при этом возвращает повествование к такой устойчивой, наиболее все-таки выигрышной теме, как «Семейная хроника». Это очень горький роман. Но мне что-то везет на них. И кажется, в увеселеньях почти и не нуждаюсь, кажется, что не только везет, сколько такая уж избирательность.

К нам привозили «Начало», я вспомнил наши с тобой собеседования по этому поводу в начале переписки и пожалел все-таки, что ты не досмотрела этот фильм. Там ведь не очень на тему «Главной улицы». Мне показалось, что речь там идет вот о чем: непосредственность, не подкрепленная интеллектом и талантом, — вещь двусмысленная, добрая почва для вульгарности, отталкивающих манер, мелковатости. Талант и, с позволения сказать, Искусство (кстати, «Жаворонка» Ануя я тоже читал недавно; это чтение очень забрало меня) только и в силах сделать это бесценным достоинством. Тоже не бог весть какая новость, но важно и как сделано, а сделано это, по-моему, хорошо.

Недурно было бы, если бы ты встала на позицию «детям-детевое» и только. Надо же и отдыхать, чего это они заедают век молодых родителей? Прибалтику я видел мельком, все больше слышал. Надеюсь, ты за меня все наверстаешь.

Счастливого отдыха и счастливой жизни.

Твой Илья.

Юлию Киму

23.8.71

Дорогой Юлик!

Я писал тебе почти одновременно с Ирккой, думаю, что ты получил тоже письмо. О смерти С.Л. Якир я узнал в первых числах августа (или чуть пораньше), написал сразу на Автозавод, — как всегда в таких случаях, вымученно, — но это уж черт с ним. Помимо самого печального факта — я пребываю в различных тревогах за Петра. Мне кажется, что смерть С. Л. может освободить Шерлок Холмсов от остатков пиетета¹. С удивлением не нашел 16-го и позже юбилейных статей. Может, просто пропустил?

Думаю, что семейные проблемы решатся как можно лучше, иначе будет совсем уж невмоготу.

Читал о выходе в свет «Острова сокровищ». Прибавило ли это тебе с Ирккой каких-нибудь материальных благ? Ни одного твоего — с твоим участием — фильма я не видел, наверно, пока и не посмотрю. Вот «Начало» нам привезли, и я рад был увидеть за долгий срок один путевый фильм. Местная печать жалуется, что и «Начало», и «Король Лир», и все, что хочешь, здесь безнадежно провалились. Все-таки главное достоинство столицы — наличие аудитории. Это уже не дает оснований для чувств полной безнадежности <...>

Как часто в последнее время бывает, сворачиваюсь до лучших времен: писем накопилось-таки. Будем надеяться на какие-то просветы. Надю в этом случае я имею в виду особенно. От Вити совсем нет писем, но где уж ему. А ты пиши почаще, и Ирке нет-нет да напомни: процесс ее воспитания все-таки еще не завершен.

Крепко тебя целую. До встречи.

Илья.

¹ Имеется в виду, что при жизни С.Л. Якир, вдовы репрессированного командарма И.Э. Якира, КГБ воздерживался от преследований их сына.

Марку Харитонову

29.8.71

Дорогой Марик!

Еще раз поздравляю тебя с днем рождения. Теперь уж оно обязательно опоздает. Кажется, в письме на красноярский адрес я тебе уже пожелал все, что можно было пожелать, остается присовокупить традиционные «мысленно Вами», «мысленно тобой», дружиче.

«Иностранную литературу» я прочитал, с оценкой Моравиа (твоей) вполне согласен. Огорчает какая-то одинаковость эволюции итальянского искусства: у Джерми, Де Сики, Феллини — от неореализма ко всему известному в последние годы (условно: к доказательству несчастья и нечестности «сладкой жизни»). Вот и у Моравиа от «Римских рассказов» к «Раю». Талант, приметливость не выручают от приедающейся сентенции, что с жиру бесятся, и как еще.

С удовольствием почитал там же твою рецензию и очень заинтересовался этой писательницей¹. Нет ли у тебя ее, и не мог бы ты передать ее в ноябре с Галей. Вообще, передал бы ты мне несколько книг с ней (за сохранность почти ручаюсь), в том числе Борхерта, которого я прочел давно и потерял. Немцев я прочел сейчас немало (по моим здешним масштабам возможностей). Писал ли я тебе о новом (через 20 лет!) ощущении от «Каждый умирает в одиночку». Мне до сих пор близок именно такой тип действия и мышления. Материал глубоко затронул меня, но я опять подумал: его бы не добросовестному бытописателю, а человеку масштаба Федора Михайловича. Он бы обошелся без всяких гестаповских работников, стукачей или уж как-то иначе, чтобы не чувствовалось старание непременно придумать и непременно «как в жизни».

Пробовал читать сейчас По — и бросил, вернусь попозже к этому. Взялся опять за драматургов — теперь уже за О'Нила. От суждений пока воздержусь. А у каждого из обговоренных нами с тобой

¹ Имеется в виду Рикарда Хух.

драматургов есть хрестоматийные грандиозные вещи: у Дюрренматта «Визит...», у Фриша — «Андорра» (я ее и «Виши» Мюллера прочитал еще в машинописном варианте), у Ануя «Антигона» и просто прекрасная по всем [нрзб] пьеса «Жаворонок». Кстати, я посмотрел «Начало» с цитатами из нее.

Взглянуть бы краем глаза на новые Галкины работы! Ну да бог даст!

Обнимаю тебя, Галку, малышей с неизменным ожиданием новых писем.

Твой Илья.

Юлию Киму

3.9.71

Дорогой Юлик!

Гришу Фельдблюма¹ я знал очень мало и совсем не помню. Помню, что вы были в институте с ним очень дружны, и понимаю все, что ты должен был почувствовать. Смерть ровесников воспринимается пока как мистика, уму непостижимое <...>

Твое письмо я прочел после встречи с Герой², произведшей на меня необъяснимое совсем теплое и светлое впечатление. Хотя и трудно потом возвращаться к Сизифовым делам и хоть новости его были почти беспросветны, заряд я получил великий, и по многим статьям. Между прочим, немаловажно, что можно пощупать, что ли, эту нить дружества со всеми вами, которая иногда ускользает в письмах (совсем худо, когда вместе с письмами) <...>

«Лунина» я читал уже месяцев 7 назад. Это очень умно и актуально; можно сказать, что это наиболее близкий тип мышления и поведения (во всяком случае, в итоге, когда «решился»). Но, Юлик, у каждого свой счет со временем, своя реакция на него, нельзя же

¹ Соученик по МГПИ.

² Находясь проездом в Кемерове, Г.И. Копылов добился разрешения на свидание с И. Габай. По тем временам, как пишет Г. Габай, это было «равноценно чуду».

рыцарствовать или искать нравственные нормы, и только. Вообще, поменьше бы ты себя терзал, совсем тебе это ни к чему; хотя бы уж потому, что очень многим так нужно все, что ты делаешь <...>

Не подражай, Юлик, некоторым и пиши поаккуратнее. А то я совсем поникну; но здесь уж ты не подражай мне.

Целую тебя, Ирку и всех. Илья.

Марку Харитонову

15.9.71

Дорогой Марик!

Я так и не понял из твоего посланьца, получил ли ты мое уже на московский адрес. Ну, это не столь и важно; помнится, никаких откровений там не содержалось, да и туговато мне что-то думается вообще. Среда, так сказать, заела. И четверг (если помнишь замыслы, оказавшиеся в заголовке плагиатом, невольным).

Посвящу свое письмо главному пункту твоего — статье Аверинцева¹. Собственно, главнее твои с Галей домашние неустройства, но помочь я с ними не в силах, да и переживутся как-нибудь, я думаю, — хотя, конечно, лучше бы все было в порядке и ничего не мешало бы твоей работе. На случай, если ты не получил мое предыдущее письмо, повторяю свою просьбу: передай с Галей отрецензированную тобой Хух, Борхерта и томик С. Цвейга (или томики?) — с эссе — Фуше, Месмер и др. Если у тебя есть еще что-нибудь, будь добр, передай. Обещаю сохранить все в наилучшем из видов.

Ну а теперь об Аверинцеве. Это не первая статья, вообще работа, с которой я знакоблюсь. Я читал когда-то его статью о томистах, слушал доклад в Музее изящных искусств, много слышал — но только слышал — о работе о Плутархе. Его эрудиция и постоянная

¹ Речь идет о статье С.С. Аверинцева «Греческая "литература" и ближневосточная "словесность"» (Вопросы литературы. 1971. № 8).

концептуальность внушает мне преогромное чувство уважения и почтения. Мне неловко, что я вдаюсь сейчас в обсуждение этой работы: во-первых, знание в переводах уже как-то ограничивает право на спор, во-вторых, несмотря на интерес к этой статье, мне ее, как все, что я в последнее время читаю, надлежит непременно перечитать в более академические минуты. Тем не менее решусь: тема мне важна и интересна.

Боюсь, дорогой, что и на нас исподволь действует магия в какой-то форме. В данном случае — магия несомненной эрудиции и неожиданной мысли, да еще убедительно изложенной. Попутный пример — «карнавальный» критерий художественности у Бахтина. Мне кажется, то, что ты так безоговорочно воспринял за «литературу» — «не литературу», как это ни убедительно, верно в очень определенной степени. У иудеев не было разве что эстетической теории да комедии. Жанры не были названы, но они все были — кроме драматургических. Мне кажется, говоря о современной «нелитературности» пророков, ты стал даже правовернее папы: Аверинцев постоянно подчеркивает просто их несопоставимость. Да и в самом деле, почему речи Демосфена или Цицерона — литература, а речи Исайи или Иеремии — нет. Потому что Исайя не набирал камней в рот? Они (речи) созданы в самых высших традициях ораторского искусства, с интуитивным чувством тезы-антитезы, ну а образная сила их ничуть не меньшая. Известно, что у Библии на рус. языке не было такой блестящей плеяды переводчиков, как у греков. Тем не менее Песнь песней ни для одного читателя не прозвучит с меньшей лирической силой, чем лучшие стихи Сафо, в мировую романистику вошли все-таки, я убежден, не романы Лонга или Апулея, а «Иов» (имею в виду современность звучания), Книга Царств не меньше историч. канон, чем история греко-перс. войны Геродота, Экклезиаст сопоставим вполне с диалогами Сократа в пересказе Платона и пр. и пр.

Интересно, что как раз ты настаиваешь на буквальном понимании «нелитературности», ты, а не Аверинцев. Наиболее убедительное место у него — о дилетантах, пропускающих у Гомера главное: описательную часть. Я, конечно, меньше, чем дилетант; может быть,

в оригинале — это действительно перлы поэзии, но мне кажется описание щита или хозяйства малолитературным: так, метафорическим, олитературенным источником по истории материальной культуры. И наоборот, событийный ряд, об интересе к которому Ав<еринцев> отзывается пренебрежительно, глубоко интересен, так как он содержит исконный намек на «почву и судьбу» и на характеры. Гекуба, Пенелопа, Гектор, Парис (Александр), Ахилл — это все-таки вопреки умному и парадоксальному утверждению Аверинцева и есть главное (для дилетантов, конечно, для дилетантов; но мы все, действительно, в гимназиях не обучались и в древнегреческом нет — описательности; но известно, что мировая литература как раз преодолевала ее, и в этом смысле обращенность к духовному, внутренняя ассоциативность Библии куда современнее (и «литературнее»!) гомеровских поэм). Вообще, говоря о «литературности» Греции, ты забываешь, что практически она никак не оказывала, даже во времена Ренессанса, серьезного влияния на литер. историю (в отличие от живописи, скульптуры и архитектуры). Исключение — драматургия, самая сильная сторона греческой л<итерату>ры; от Эврипида к Шекспиру, конечно, зримая, но, может, как раз внелитературная: исконным ощущением человеком своего трагического, потерянного существования. У иудеев не было поэтики, может, это их сила: известно, чем могут стать каноны Аристотеля—Буало — эстетических отношений искусства к действительности.

Мне надо обрываться, потому что как раз в годы нашей с тобой разлуки я читал много греков (в переводах, конечно: по-дилетантски) и зудит писать на эти темы до второго пришествия. Словом, по моему, ты неправильно понял «нелитературность» библейской традиции; я уверен, что вопреки изученному в школе она куда сильнее, чем хрестоматийная греч. традиция: не случайно же Достоевского неплохо читать параллельно с Библией, а осмысление десятка библейских мифов, остранный, но добросовестный пересказ их подарил нам великий роман Т. Манна. Но если и так, как ты осмыслил, иудейскую «нелитературность» ты распространяешь на все, мною написанное, то это очень грустно — для моих стихов, разумеется.

Хочу только еще раз сказать, что пресловутые «горы»¹ (плохой отрывок!) — все-таки не мной сочиненная проблема: в той или иной форме о нравственном долге художника как просто человека писало так много людей — хотя бы Толстой, хотя бы Акутагава, хотя бы заключительные строчки «Моцарта и Сальери» («не был убийцею создатель Ватикана?!»). Не знаю, почему ты это так упорно возводишь в ранг принципиальной «нелитературности» традиции.

Закругляюсь. Только хочу отослать тебя к книге Лихачева «Поэтика древнерусской литературы». Я читаю ее трудно, урывками, но с удовольствием. А она как раз о периферийной, малой, но библейской в основном традиции литературы.

Я прощаюсь с тобой и желаю тебе, Галке, ребятишкам всего доброго и хорошего. Не забывай, пиши аккуратнее. Обнимаю тебя сердечно и крепко.

Твой Илья.

Не успел сразу же отослать письмо, перечитал его и в очередной раз загрустил: как бегло — потому профанически и косноязычно приходится писать. Тем не менее «шлемоблещущая» и «пурпурно-раменная» еще литературы не делает, а способ Исаи от нее не отлучает — с этим ты должен согласиться. Пользуюсь случаем еще раз обнять тебя. Скорей бы увидеться!

Елене Гиляровой

16.9.71

Леночка!

Только что написал Марку желчное письмо, наполненное не очень-то меткими и ловкими сарказмами. Мы с ним заспорили по поводу последней статьи Аверинцева в «Вопросах литературы» — точнее, о понимании этой статьи (точнее еще, о моем понимании его

¹ См. прим. 1 на стр. 91.

понимания — уточнения до бесконечности: гнилой интеллигизм! Интеллигентный гнилизм!). Читала ли ты эту статью? Она интересна и умна — о непересекаемости античной и восточной (главным образом, библейской) литературных традиций. Аверинцев совершенно прав, по-моему, говоря об этой непересекаемости. Он применяет термины: «литература» — «не литература», оговариваясь, что они не отражают степень талантливости «не литературы» — потому что нет строгой жанровой классификации, авторского права, м.б., и пр. Из этого (как я понял, как понял Марк) последний делает вывод, что «нелитературная» традиция несовременна. Дословно место из его письма: «...В наше время мы можем функционировать только как литераторы; пророки и судьи не держали в уме возможности публиковаться в литературных журналах». Меня это глубочайшим образом задело. Во-первых, я глубоко убежден, что античная литература (в отличие от избр<азительных> ис<кусств>в и архитектуры) не оказала серьезного влияния на мировой литер. процесс (за исключением разве Эврипида, вообще драматургов; Платон и Аристотель не в счет). Это мемориал и, действительно (прости за хрестоматийность), «недосягаемый образец». Ну, а главное, эта терминология очень условна: нетрудно, при непохожести образных средств, четко различить романическую форму «Иова», хронографическую (или летописную) традицию Книги Царств и Книги судей, ораторский жанр пророков, лирическую завершенность Песни песней — я уж не говорю об общем пути мифотворчества (не миропонимание, конечно, легло в основу мифов) и уж совсем не говорю о самом главном — о выявлении человеческих трагедий и судеб в характерах — Эдипа, Самсона, Одиссея, Иакова, Иосифа, Рахили, Гекубы и т.д. Казалось бы, что мне Гекуба — а вот задело, и второе письмо посвящено этому. Отзовись на все это, мне это как-то важно <...>

Гумилева я тоже не очень жалею. Наверно, любимые мною «Слова» и «Шестое чувство» какой-то всплеск его поэзии; все остальное холодно и чужевато для меня — как картины Сомова или Бенуа. Наверное, у меня неточный вкус, но какой есть; не меняться же под старость.

Желаю тебе и твоей семье все, что может пожелать постоянно любящий тебя и вас человек. Пиши, не забывай.

Твой Илья.

Геorgию Борисовичу Федорову

20.9.71

Дорогой мой Георгий Борисович!

Коллективное письмо из Карелии имело быть в свое время. За день до этого письма имела место неожиданная и радостная встреча с Г.¹ Так что по Вашей линии у меня имела место более или менее подробная информация и имело быть радужное душевное состояние. Мы все-таки не очень-то много успели поговорить с Г., но он мне все-таки рассказал, что были интересные раскопки, да и рыба карельская тоже может способствовать самый раз. С удовольствием познакомился с рукой Вашего сына. Кажется, что это рука не мальчика, но мужа — и в соответствии с этой радостной констатацией вполне в традиции вздыхаю о реактивных свойствах времени.

Кстати о времени. Именно до этого места я и дошел в трудночитаемой, но интересной книге Лихачева «Поэтика древнерусской л-ры». Мне казалось, что это будут самые глубокие философические места работы (до этого я читал ее с большим интересом), но почему-то именно они, эти места, и начали злить. Может, потому, что здесь начинается знакомый материал, и наблюдения на знакомом материале как-то теряют ощущение глубины; иной раз возникает впечатление даже досужести. А вот «Слово...» и «Задонщину» он сравнивает весьма убедительно, уж как хотите, но убедительнее зиминских доводов (я их помню по «Вопросам литературы»). Последние мои письма к 2—3 ребятам были насыщены разбором последней статьи

¹ Имеется в виду Герцен Копылов, который сумел добиться свидания с Габаем в Кемевском лагере.

Аверинцева в «Вопросах л-ры» (№ 8). Читали ль Вы? (прозвучало по-пушкински: «Слыхали ль Вы?»). Почитайте, пожалуйста, ежели не успели еще, мне не терпится с Вами поговорить на эти не очень, наверно, актуальные, но для меня что-то животрепещущие темы Античности и библеизма. Еще интересная статья — в последнем номере «Вопросов литературы» — об истоках антиномий современного (буржуазного, конечно) сознания. Она многое мне объяснила в вопросах, занимавших меня в последние годы: об отсутствии альтернативы религии и о причинах постоянно возрождающегося внимания к ней. Автор критически разбирает все виды материализма (позитивизма), начиная с Просвещения. Несколько иначе, чем сэр Рассел, он объясняет сущность романтического мышления — словом, статья ко времени.

В заключение — еще пару строк об Испании. Строй тамошний существует, как известно, 35 лет. Еще лет пятнадцать, самое малое, он будет гнить и отмирать. Очень, очень, очень заманчивая возможность для историков-оптимистов написать: «Фашистский строй просуществовал *всего* 50 лет; сменилось *всего* 2—3 поколения»... и т.д. Такие дела!

Низко кланяюсь Вашей молчаливой жене, дочери ея и сыну ея и крепко вас всех целую. Пишите почаще, ладно?

Ваш Илья.

Юлию Киму

27.9.71

Юлик, здравствуй, голубчик!

Неделя вся была такая замороженная — и выморочная, — что я никому не сумел ответить. Тебе, впрочем, задержал не катастрофически, отнюдь, и бог простит мне несколько дней, друзья, полагаю, тем более <...>

Витя¹ опять канул в Лету. Последнее его письмо было и про-
никновенным, и откровенным — в той мере, в какой это позволяет
наша, совсем недолгая, близость. Я как-то воочию понимаю, что он
должен чувствовать, — не приведи бог! Вообще-то все мы в том или
ином варианте и в той или иной степени чуть ли не вечно пребываем
в этом состоянии без вины виноватости; у Вити, очевидно, — хуже
некуда, да он и сам пишет об этом. Но меня все не покидает мысль,
которую я уже неоднократно высказывал, — что Надьке страшно
подумать как худо: бабий лагерь и бабья тюрьма в моем пред-
ставлении чистый ад. Хорошо бы, если б все кончилось более или
менее хорошо.

В нашей ситуации есть одна опасность: если захотят прод-
лить — продлят за милую душу. Наложить на уста печать совершенно
невозможно, а толковать каждое слово вкривь и вкось будут обяза-
тельно, если захотят только толковать <...>

О смерти Н.С. Хрущева я прочитал в газетах. Гера написал мне
подробности — по слухам — его похорон. Отношение у меня очень
сложное: при всех благоглупостях он продолжает пребывать в памя-
ти как значок, символчик радужных надежд. Ну вот и похоронен,
а продолжать символизировать охоты нет — и без того невесело
<...>

Пиши. Целую тебя.

Илья.

Много чего хочется написать, но накопил-таки писем за неделю.
Так что еще раз прости, брат, великодушно, прояви третью добро-
детель.

Илья.

¹ Имеется в виду Виктор Красин, диссидент, политзаключенный. Надя Емелькина
(1946—2010) — его жена.

Герцену Копылову

27.9.71

Дорогой Гера!

Я в самом деле не ответил тебе на новосибирское письмо: неопределенность адреса давала мне желательную в то время отсрочку.

Я хочу еще и еще раз поблагодарить тебя за такой неожиданный приезд. Жаль, что, как водится, наше свидание оборвалось неожиданно: после того как мы простились, я, конечно же, понял, что нужно было спросить сперва о том, потом об этом <...>

Эвелин Во у меня есть, но руки пока до него не дошли. Между прочим, я даже был уверен почему-то, что он — это она, да еще старинная довольно писательница. «Незабвенную» я читал, помню сейчас слабо — только впечатление: мрачное и недоуменное. Все надо перечитывать; сперва все читать, потом все перечитывать. Откуда же брать время?

Отчет о заседании вашего Литобъединения прочел с интересом. Повеселился? Нет, не думаю, — все-таки это невеселая стихия наукообразия. Главное, в уверенности в этом праве — выносить решение: наука все-таки, против нее не попрешь. Меня радует твое отношение к этому.

В размазне литгазетовских «дискуссий» и «проблем» нет-нет да мелькнет какая-нибудь интересная мыслишка. Там с недавних пор говорят об опасности обеднения эмоционального мира, связывая это с научно-технической революцией. Ну вот, один из читателей спрашивает: а собственно какая революция? Есть ли она? И если есть, ну и что же? Аналогичные ломки были и в прошлом — например, Возрождение, но это отнюдь не повлекло за собой ломки человеческой природы. Эта мысль показалась мне занятной, но потом я подумал: копыя все-таки ломают не одни журналисты, и если озабоченность высказывают сами корифеи, то что-то за всем этим есть. Об опасностях и о структурных изменениях вообще-то пишут в последнее время все журналы — литературные и художественные, общественные и политические — а понять никак не удастся: все почти так убедительны, так научны.

Обнимаю тебя и жду писем.
Илья.

Юрию Дикову

27.9.71

<...> Дружище, я думаю, ты или преувеличивал прочность былых связей, или теперь преувеличиваешь масштаб их распада. Жизнь растреклятая, а главное, что у каждого — своя, а того главнее, что с этим ничего не поделаешь. Держись, это я тебя богом и дружбой клян-ну; самое важное, что тебе — с твоей душой и душевностью, талантом и нужностью друзьям (это я по себе сужу; но я-то не со звездой же во лбу, чаешь!) совершенно ничего не следует придумывать и внушать. Трудно это все объяснить на бумаге, потерпи — и поговорим, я за бутылкой того, ты за бутылкой этого («я с рукописью, ты с вязаньем»). «Концы и начала» я немного помню, даже цитировал в Ташкенте. Хорошо бы его иметь, но, с другой стороны, откуда ж у тебя лишние деньги?!

Прощаюсь с тобой в уповании: а вдруг тебе захочется писать письма почаще. Главное — поберегись, отдохни. На том крепко тебя целую, твоих домочадцев — тож.

Твой Илья.

Марку Харитонову

3.10.71

Дорогой Марк Сергеевич!

Вы только отчасти правы, услышав в моем письме голос разгневанного человека. Цитирую письмо Б. к Г.¹ На память и очень

¹ Аллюзия на фразу В. Белинского, которой начинается знаменитое письмо к Гоголю: «Вы только отчасти правы, увидав в моей статье рассерженного человека».

приблизительно. А всерьез, Марик, меня задела за живое фраза о том, как можно нынче и как НЕ можно писать (отчасти, я думаю, и как должно и как НЕ — а это уж совсем никуда не годится!). Я усмотрел в этом, помимо прочего, и приверженность предрассудкам — преувеличенным представлениям о силе античных литературных традиций, которых, по-моему, не существует вовсе или почти не существует. Остаюсь и после твоих объяснений при мнении, что многие книги Библии имеют жанровую завершенность, что традиция эта более сильна именно сейчас, что в «Иосифе...» главное не описание, а понимание, расширенное толкование, если угодно, что античные «описания», возможно, составляют неизъяснимую прелесть для читающих в оригинале, но нам с тобой негоже притворяться «влюбленными антропосомами», что романическая и притчевая канва Писания сыграла не меньшую роль (эстетическую именно, не еще какую-нибудь), нежели самое ценное в античной словесности — трагедии Эсхила, Софокла и Еврипида. И на этом, наверно, следует оборвать полемику: лучше будет, если мы доверимся не скорописи, а доверительной беседе, которая, конечно же, не за горами. Еще лучше — если мне удастся все сказать во второй части «Выбранных мест», написать которую в последнее время лелею надежду. Но не в эти восемь месяцев, очевидно.

В 9-й книжке «Вопросов философии» Валерий Мильдон, мой однокурсник, написал статью, в которой упоминается отношение к слову Толстого и Достоевского. Интересно, как «антиэстетизм» первого оборачивался в практической работе скрупулезностью, а у Достоевского, после его утверждения, что «красотой спасется...» — быстрота и небрежение собственно к средствам. Во всем остальном статья, по-моему, беглая. Во всяком случае, во все время чтения не вспоминаешь ее названия о «мире переживаний» в л-ре. Прочел на этой неделе Ивлин Во — с интересом, особенно «Пригоршню праха». Смешно сказать, но я с интересом жду публикации последнего романа Ремарка. Мне вообще хочется выбрать время для перечитывания былых «властителей дум» — от Ремарка к Крону и Уилсону, — пока не дойду до Драйзера.

Вообще, кажется, пора перечитывать и перечитывать, но жадность не позволяет — приходится читать.

Я тебе благодарен за пересказ романа А.И.¹ На двух его предыдущих романах лежала печать (огорчительная) публицистической нервозности, ощущение откровенного запала непубликующегося. Это все по-моему, как по-моему и то, что это все же не вредило гениальным страницам — сцене в зоопарке, особенно. Что касается рукоплексаний «Мол. Гвардии» — боюсь, ты прав. Это чувствовалось особенно в его статье в «Литературке» о языке и во многом другом. Та же гениальность снимала этот мотив — реакционный, если не побояться слов, — даже в «Ив<ане> Ден<исовиче>». Жду твоих писем и обнимаю тебя.

Илья.

Юрию Дикову

3.10.1971

Дорогой мой Юра!

<...> Романтизм, говоришь? То бишь — романтика? Я бы сказал, наиболее привлекательный способ научить любить сукина сына за то, что он страдает. Способ весьма привлекательный: кто из нас не мерзавствовал и кому при этом не хотелось доказать, что это делается из высших, недоступных-с побуждений?! Нового я тут мало что сказал в сравнении хотя бы с досточтимым пэром и сэром Расселом. А вот некто Лазарев в журнале «Вопросы философии» сказал, кажется, и что-то новое. Он сказал (или лучше: дал понять...), что романтизм есть реакция поражения позитивизма, грубого атеизма Просвещения. Реакция тоже не желающая себя компрометировать религиозностью, но воленс-ноленс стремящаяся к новым трансценденциям. В этом, между прочим, он усматривает

¹ А.И. Солженицына.

основной источник современных теоретических антиномий. Прочти, голубчик, по пути от ст. «Пл. Революции» к ст. «Рязанский проспект» — советую.

Я здесь, как бы в подтверждение вышеупомянутых рассуждений прочел книжку Парни «Война Богов», набираясь от страницы к странице отвращения. Может, оно так и следовало когда-то пройти через этап атеистического капустника по методическим рекомендациям «Науки и религии»? Не знаю, не знаю — но грустно и в почтенной старине натолкнуться на площадной жанр. Впрочем, не подумай, что что-то изменилось в моих собственных антиномиях. Мистической отваги во мне нет по-прежнему, сочинять видимость лица прозрения не стану.

Я тебе благодарен, мон фрейнд, за внимание к моим стихам и серьезный тон, с которым ты говоришь о них. Это мне сейчас паче хлеба и воды. Хотелось бы оказаться в самое ближайшее время достойным твоего участия. Но в самое ближайшее время у меня не предвидится времени (свободного). Ладно. Только бы в будущем не согнуться под грузом свободного времени, не прожить, как в былые десятилетия, в качестве буриданового осла. Эх, кайонес, как говорил Хемингуэй.

С тем я тебя целую, оставаясь в вечной нерушимой дружественности.

Илья.

Семье Зиман

3.10.71

Братья и сестры!

Учители и учительницы!

Дорогие мои друзья!

Не прошло и пяти дней со времени вручения уведомления о вашем письме, как пришло и само письмо и я получил возможность незамедлительно ответить вам.

В моем сером веществе есть отдельные мнемонические преграды, о которые я постоянно — с сальто, спотыкаюсь. В числе их день Аллочкиного ангела. Простите меня великодушно и примите с изрядным опозданием самые искренние и самые дружеские пожелания от человека, любящего ее и знакомого с ее мужем. Что же касается Анютки, то тут еще вопрос, кто кого раньше должен поздравить. Я твердо рассчитываю в недалеких десятилетиях делать это с Аней одновременно («скидываться» на дни рождения). Ну, а пока она еще явно мала — пушай хорошеет и еще настойчивей отстаивает права свободнорожденного дитяти в свободной стране. И не говорите ей, пожалуйста, пошлости: вот, твой папа в твоём возрасте никогда не прерывал взрослых. Папа учился в МГПИ, читал Огородникова и Каирова и должен знать, что теперь уже не воспитывают розгами (как во время его кудрявого детства). Боже мой, а ведь Леня тоже когда-то был маленьким, играл в подкидного дурака и простаивал в длинной очереди за автографами Мамонта Дальского! Уму непостижимо! Он даже не говорил тогда по-итальянски!

Белла Исааковна! Я очень рад, что А.И. дал мне хорошую характеристику. Не мог бы он расписаться и заверить ее печатью. Это я паясничаю, чтобы скрыть смущение. На самом деле так приятно, когда тебя поминают добрым словом. Вы пишете, что нет никаких книжек. Ну как так нет, и слушать не хочу, Вы на себя клеветеете. Во-первых, Вы уже писали о некоторых из них, а во-вторых, представляю себе, сколько Вы их еще достанете в самое ближайшее время. Белла Исааковна, в частности, — если Галя сама не достанет — не найдете ли Вы книгу «Тухачевский» в серии «ЖЗЛ». Меня очень просили о ней.

У Лени за время нашей разлуки выработался уму непостижимый (во всяком случае моему уму непостижимый) олимпизм. Так просто сообщить: «Вернулся Красин...» Я ведь совершенно ничего об этом пока не знаю. Как он и что он? Спрашиваю, т. к. по себе понимаю, что он сейчас не скоро соберется на письмо.

Аллочка, умница моя. Отправь ребенка в длительное заграничное путешествие. На воды или просаживать деньги на рулетке в Монте-Карло. Так хочется видеть тебя свободной! Она, конечно, скажет,

что тебя-то, положим, не так воспитывали. Напомни ей: да, но зато в наше время были розги.

Крепко вас целую. Книжки можно доставать и без суперобложки. Может, это облегчит способ их изыскания?

Вечно ваш Илья.

Георгию Борисовичу Федорову

9.10.71

Мой дорогой Георгий Борисович!

Написал до этого листика ответы на много писем, пришедших с опозданием, и не то что утомился, но чувствую, что начинаю повторяться. Но этого — повторений — мне мудро избежать: главное все-таки в моей жизни — что успел прочесть, и что успел переварить душевно, так сказать, ну и поделиться незамедлительно. Как же тут без повторений? <...>

Мне грустно порой, что гуманитарная мысль как-то вытеснилась со страниц «Нового мира»: критический и публицистический отделы там сейчас на редкость неинтересные. Вот, например, в последнем номере напечатано начало очерка об Америке. Автор его — очень хороший, по-моему, писатель Григорий Бакланов, и очерк, наверно, вполне правдивый — но как же все-таки нашим писателям не хватает стыдливости что ли, чувства неловкости: нехорошо все-таки писать в том именно тоне, который требуется обстоятельствами. О том, что Америка неблагополучна, что ее проблемы — внешние и внутренние — имеют едва ли не вселенские масштабы, — догадаться нетрудно, но куда почетнее и трогательнее, когда об этом вопиет американец <...>

И вместе с тем повсюду, точнее, с многих мест, — признаки глубокого и высокообразованного гуманитарного мышления. Мне нравится, что к очень многим, устойчивым, казалось, представлениям в последние годы не прибавляются просто информации, а даются новые исходные, неожиданные точки зрения. Если даже

все и вернется на круги своя (такое вполне вероятно), все равно останется след уже не готового, а выстраданного, а выпоренного представления. Об этом я думал, прочтя недавно ст. Баткина в «Вопр. л-ры». Журнала под рукой сейчас нет, но ст. посвящена итал. ренессансу, и мне она открыла многое. Во всяком случае, я перестал во многом метаться от представлений о «человечности» к «жестокости» аморализма упомянутой эпохи <...>

Надо бы о многом поговорить, но до другого раза. Крепко целую Вас и Ваших домочадцев.

Ваш Илья.

Юлию Киму

9.10.71

Дорогой Юлик!

Получил твое письмо не очень-то быстро: только на этой неделе, хотя ты и отослал его аж 24-го. По неистребимой и дурной традиции, опять накопил чертову дюжину писем к субботе и воскресенью; сегодня-завтра непременно отвечу, но обстоятельства опять же никак не получится.

Сегодня, в некотором роде, мой день Ангела¹. Погодка стоит чудесная, хотя сводки обещали наоборот к этим дням. Ну, да я на них не в претензии за это.

О Вите² узнал в очень краткой и сногшибательной информации — от Зиманов. Потом уже написали еще кое-кто и еще кое-кто, но твоя информация куда толковей и подробней, за что я тебе очень благодарен. А еще больше, куда больше, я благодарен обстоятельствам, которые, вот видишь, бывают и такими радостными. Надеюсь получить от него письмо, как только он придет в себя, подлечится. При встрече передай ему, пожалуйста, что я очень рад, нежно его

¹ Как уже упоминалось, 9 октября — день рождения И. Габая.

² Речь идет о возвращении и реабилитации В. Красина.

приветствую и желаю всех и всяких благ. Пожеланий побережь себя (в определенном смысле), наверно, передавать не стоит: уж он-то в большей степени, чем многие, сохранял разумность и трезвость.

Что же касается, Юлик, повторения варианта Гены Алтуняна¹, то это совершенно исключено. У нас на поселения и вообще отпускают редко, а таких грешников, как мы с Генкой, и вообще никуда — разве что чудом. Возможно, в нем и в таком его статусе нуждаются, так как он талантливый технарь. Я тебе объясню кратко, если угодно, что это такое — поселение. Люди ходят без конвоя, получают зарплату на руки (почти всю), но к определенному часу возвращаются в общежитие, где есть начальствующий состав. Если к ним приезжают родные, они могут селиться отдельно. Преимущество такого рода послабления — в случае возврата, срок пребывания на поселении засчитывается (на «химии» не засчитывается). Так что Гене очень и очень повезло. Ну, а мне не очень, только все когда-нибудь будет позади, стало быть, если верить классикам, «будет мило».

Ты очень уж мало пишешь о Ирке. Может, ты и прав: когда-нибудь она это сможет сделать и сама. Я неизменно пребываю в этом пожелании — хорошего душевного самочувствия твоей жены и моего друга.

О себе что ж? Очень туго со временем, буквально занят от подъема до отбоя. Пишу, как видишь (письма, не что-нибудь еще), оптом — прямо впору писать под копирку, читаю урывками, но все-таки в конце концов оказывается, что и то прочел, и это прочел. Через некоторое время оказывается, что и то забыл, и это забыл — сказывается недостаточная углубленность. Надо бы как-нибудь потолковать нам с тобой о том о сем, но я не знаю, до каких книг или статей у тебя дошли руки и что тебя задело. Передай от меня привет всем, кто не пишет: Пете, Вале, Ирке. Пишущим сам передам.

Целую тебя. Илья.

¹ Речь идет о возможности перевода из лагеря в спецпоселение. Генрих Алтунян (1933—2005) — диссидент, политзаключенный.

Елене Гиляровой

9.10.71

Леночка!

<...> Я тебе писал в предыдущем письме о словесной перепалке с Марком по поводу статьи в «Вопросах литературы». Прочитала ли ты эту статью Аверинцева? В последнем из пришедших ко мне «Новых миров» есть статья Баткина об итальянском Ренессансе. Она очень многое мне прояснила — то есть дала некоторые исходные, дотоле неведомые. Хорошее сейчас гуманитарное время — во всяком случае, для академической части неестественных наук (неестественных! Каково? Нечаянный ляп). Из беллетристики меня тронула последняя повесть Ю. Трифонова. Я, кажется, малость оброс сентиментальностью — меня очень трогают в последние годы именно такие, судебные, книги. Опять получился нелукавый ляп: судебные — в смысле о судьбах.

Много поучительных фактов я почерпнул в книге Стернина о художественной жизни России в конце XIX — нач. XX века. Там не картины разбираются, а взаимоотношения. Любопытно очень читать о том, как ругался Стасов, какие развеселые ярлычки вешали на Врубеля; там руководители передвижников в один голос говорили даже, что серовская «Девушка, освещенная солнцем» — «сифилис в выставочном зале». Суждения порой очень тонки, главное, что все истоки «измов» пересматриваются; не могу судить о точности анализа передвижничества, академизма, «мир искусства» и т.д. — но он именно тот, о котором еще недавно бы сказали: смелый. Я же говорю, хорошее гуманитарное время — тем более, что и тема еще не столь академичная <...>

Постарайся, «старушка», не грустить и пиши, не забывай. Всего доброго тебе и семье.

Илья.

Юрию Дикову

10.10.71

Дорогой Юра Диков!

<...> Писал ли я тебе, что уже скоро год... строками Тарковского: «Мне на Земле ни свободы, ни хлеба не надо, Если мне царские крылья разбить не дано». Когда бы! Это ведь идеал идеалов, только как достичь плотской нечувствительности светлых Антониев?! В этом дело: из-за недостижимости такового и придумываются, я думаю, всякие всякости: талант, работа, семья, которыми нельзя жертвовать. Я уже тебе третьему привожу слова Мачадо, выуженные в «Вопросах литературы»: «Поэзия — это кое-что из того, что делает поэт». И наука, я думаю, и что угодно. Кое-что «кое» обширное, магическое, драматическое, какое хочешь, но кое-что от обязанности жить не без совести это не освобождает. Ты все себя терзаешь, но ежели ты грешник, так я совсем злодей, а между тем надобно продолжать жить <...>

А из статей Аверинцева, названных тобой, я смог прочитать только о грехах и восточах (?) (иудеях). Ощущение примерно твое; мы с Марком очень подробно по этому поводу сцепились, узнай у него, голубчик, детали, прочитай. А мне еще писать и писать «Как будто б в году воскресенья одни». Как будто нет?!

Прощай братец. Крепко я тебя и всех твоих целую; желаю тебе добра. Блок подписывался к Кублицкой-Пиоттух, маменьке своей: «Бог с тобой». Считаю, что я занялся плагиатом — бог с тобой. И.

Марку Харитонову

25.10.71

Дорогой Марик!

<...> Благодарю за пересказ не прочитанного мною романа¹. Как он ни подробен, визуального, так сказать, знакомства он не

¹ Роман А.И. Солженицына «Август Четырнадцатого».

заменяет — но на пока достаточно и быть в курсе дела. Если ты правильно понял позицию автора в оценке 1-й мировой войны, то это грустновато уже потому, что являет собой еще один случай новомодных стремлений гальванизации архаического мышления. Не знаю, внятно ли говорю, — думаю, что достаточно, вполне, — мы ведь с тобой столько говорили о Фрише и иже... Каратаевская тенденция¹ все-таки должна быть, автору она свойственна; и тут не скажешь, хорошо это или худо. Худо, наверно, если начинается иллюзорный момент, икона «простого» человека, обобщенная антиинтеллигентность — но это, наверно, вряд ли? Добавлю только, что мне еще, м.б., надо тонны неблагополучий нахватать, чтоб начать хвататься за каратаевскую тенденцию. Куда там, хотя всегда, кажется, дорожил «простотой» — простыми добродетелями. Вообще талант глушит любую реакционность, если не убеждает, то вполне впечатляет. Можно понять Блока, когда он требовал пересмотреть гоголевские «Выбранные места». Но можно понять и Белинского, вот в чем дело. Крутись как хочешь, если взял и исподволь перерос, вырос из состояния элементарной цельности. Кстати, о Блоке. Я здесь одолел достохвалимый фолиант Б. Соловьева «Подвиг поэта». Нельзя сказать, чтобы на 800 с гаком страницах не было никакой информации — она есть, но и плоскостей тоже хватает, исправного школьничанья. Такой, например, перл: «У Блока были предрассудки, пережитки прошлого в сознании» («пережитки» этак в году десятом!). Надо бы обговорить с тобой и иные книги и журналы, но вдругорядь. А перспективе увидеть твою статью в «Вопр. философии» я рад: журнал стоящий. Я на него подписался на следующий год, как и на «Звезду», впрочем. Теперь остается только, чтоб редакции исправно печатали, а я исправно получал.

Что бы твоей Галке взять да и не вспомнить меня как-нибудь при случае.

Обнимаю тебя крепко.

Илья.

¹ Имеется, очевидно, в виду толстовская теория опрощения.

Юлию Киму

1.11.71

Дорогой Юлик!

Я понял — отчасти из твоего, немного из других писем, — что тебя опечалил неважный уровень постановки «Недоросля». Но мне все равно приятно, что твои песни поются и что если тебе приходится жаловаться, то уж на обилие заказов <...>

Я получил много писем с отчетом о кутерьме в моем доме¹. Перечисление имен неизменно вызывало у меня теплое чувство и злость на себя — за неумение в лучшие времена цепко держаться за людей. Научиться бы на будущее, но мы ведь реалисты, черт нас побери <...>

Что же будет, если все отправятся по средиземноморским путевкам². Есть же какая-то привязанность к языку, скажем, не говоря о дружбах, которые можно рушить только по мясу. Ну, у каждого свое — для меня так, и я бы счел для себя необходимость такого путешествия печалью паче даже путешествия в Кемерово <...>

Целую тебя и спасибо, что не забываешь. Низкий поклон всем твоим <...>

Илья.

Не достанешь ли ты «Тухачевского» в ЖЗЛ? Нужно.

Получил и следующее твое письмо. Спасибо за хорошие вести.

Герцену Копылову

1.11.71

Дорогой Гера! <...>

По странному совпадению, в отчетах о моем дне рождения многие уделили внимание тебе. Причину понять более или менее можно, я просто хочу сказать, что и в такой толчее, подробно описанной тобой, все-таки можно хоть мельком сосредоточиться. Посплетничаю:

¹ На день рождения Ильи Габая 9 октября друзья в его отсутствие традиционно собирались у него дома.

² Насколько можно понять, речь идет об эмиграции многих знакомых в Израиль.

с особой теплотой писал о тебе Марк. Я не знаю, насколько вы подробно разглядели друг друга, но из особых душевных пристрастий хотелось бы, чтобы как можно поподробнее <...>

Закончив чтение французских романов и эссе на французские темы (о Моцарте и Вольтере), я стал читать прозу Рильке. Он тоже по-своему француз, руссоист, если требуется пользоваться регионами и «моделями». Отметив, что пейзаж нам чужд, т.к. лишен облика, желаний, цели и создает ощущение одиночества и заброшенности, что мы, горожане, довольствуемся жалкой иллюзией лжеприроды, он призвал, в подражание детям и художникам, не лукавя, слиться с природой. Последнее, кажется, мне не дано, отчего я чувствую себя ограбленным почти так же, как от незнания языков. Мне этот пересказ понадобился, чтобы ответить на твое приглашение. Я непременно приеду, но чтобы отдохнуть и встретиться с тобой.

Между прочим, ты халтуришь: подделка под народный сказ не скрашивает плоховатости рифмы «Дубну-двору». Почему это тебя, кстати, так заволновала степень графомании физики? Конечно, утвердить, что не всякий физик уже лирик только потому, что он физик, — недурно было бы. Но кого ты убедишь, если, по заведенной традиции, убеждения складываются раньше фактов и раньше мыслей. У меня здесь бывают нервные споры (я стараюсь воздерживаться, но жизнь все нервнее с каждым днем, вернее, реакция и настроение нервнее). Отсутствие аргументов, как правило, заменяется в конце концов утверждением, что мои оппоненты п р о с т ы е люди. А по-моему, это я — простой человек, куда проще, иногда стыдно, что по лени и дряблости такой простой.

Обнимаю тебя и жду писем.

Илья.

Алине Ким

2.11.71

Аленька!

Ты и вправду считаешь, что человек лучше всего раскрывается в письмах? Представляю себе, что могут подумать обо мне, ведь у меня по разным, но одним и тем же обстоятельствам, частенько письма натруженные и вымученные, написанные из необходимости и желания получить ответ. Я думаю, что человек открывается в какую-то сверхминутку, которую трудно уловить, а то и совсем не удастся (чаще всего). А еще угадывание, но это дар особый и случайный — дар прозрений, наитий, так сказать, и без гарантий на точность. Но ты права вот в чем: мне письма дали такой заряд на будущее, что если я буду благополучен и не напишу стоящих стихов, то или по безнадежной бездарности, или по неисправимой суетности характера <...>

Писал ли я тебе, что прочел по твоей рекомендации роман Д. Вейса «Возвышенное и далекое»? Книга не сильная, и судьба не самая неблагоприятная — известны случаи куда трагичнее, — но все это забирает. Возникает даже кощунственная мысль, что художникам без этого нельзя, благополучие и творчество — «две вещи несовместные». Помнишь, об этом писал Лермонтов — «Я жить хочу, хочу печали Любви и счастью назло...». Но все же это он по юности лет; это было бы невыносимо — думать, что все наши наслаждения оплачиваются обязательно ценой трагедий.

А армянские стихи, присланные тобой, меня что-то не пробрали. Затолстокожел? Я совсем не знаю опер Р. Штрауса; симфонические пластинки у меня есть, по-моему, мне нравилось, но я их не помню.

Братец твой жаловался на «Недоросль», как же, как же. А чего жаловаться, пьеса скучная, ребята молодые. Здесь удача может быть как раз — как открытие, так я думаю. Главное, что хорошо поют, еще главнее — что просто поют, вот что.

Как твоя наука? И помирись — вернее, разберись как-нибудь с Герой — он человек редкой цельности и естественности.

Целую тебя.
Илья.

Юрию Дикову

2.11.71

Дорогой мой Юра!

Всякий литературный спор (спор — не мука!) отдает богословским (Богословским! Никитой — если еще и каламбурчики запускать). Мне кажется, переиначивая давнего Юлика, Слуцкие что хотят, то и могут, — а у каждого из нас есть свой отбор, которым мы что-то за что-то прощаем; Слуцкий для кого-нибудь вправе быть к такому отбору причисленным. Я понимаю твою горечь по поводу поэзии и поэтов — Непоззии, неПоэтов, громко говоря; но этого же всегда хватало. И путали понятие патриотизма с понятием Вашего превосходительства (между прочим: я это щедринское мо вспомнил в «Совете Нечестивых»), ведь и Щедрин не наш современник. Ведают или не ведают люди, которых ТВ недобро вспомнил, что они творят, — но они все равно творят себе хуже. Я с нашим временем связываю гуманистические надежды — значит, и поэтические. Появился вкус, по крайней мере; по себе сужу; а вкус — это уже ого-го! И настоятельная потребность простоты (в меру понимания каждого, разумеется), и правды, простоты и правды! — а это уже трижды ого-го!

Думаю, что Анна Андреевна права и неправа. Права, потому что сюжетные (уточним: беллетристические, для пересказа) стихи — это не стихи, а неправда. Потому что у Самойлова сюжет — это мираж, метафора. Представь себе: встретились однажды Пушкин с Пестелем (а за окошком Анна пела), ну они о том-то говорили, а сами о том-то думали, а потом распрощались. Это ж не Самойлов — значит, это и не был сюжет. Как и случившееся в России с маленьким цензором тоже. А вот про Нюрку из «Братской крепости» можно сколько угодно рассказывать — пожалуйста, хоть со слезой, если

угодно. Правильно я говорю? Немудро, но правильно, верно? Оби-ходно — но так мне кажется.

И еще «доброе, старое время». Там, кроме приставов и зубо-тычин (а это существенно — по чести говорю!), и пошлости хватало — в самом неожиданном месте. Ведь уживались в одном твор-честве «Шестое чувство» и «Жираф». «Изысканный жираф!» — это что-то отталкивающее, гомосексуальное, в некотором роде, тоже, если угодно, притворство, литературный маскарад вместо лич-ности.

Вот у Пушкина не было вранья никогда — поэтому было и что-то плохое, неловкое, досадное — но уж не пошлое, никогда.

Так вот: писал я тебе, писал — и ничего не написал. В следующий раз, только ты мне представь возможность ответить.

Целую тебя и кланяюсь твоему семейству.

Илья.

Юлию Киму

7.11.71

Юлик!

Контора пишет, а дела так себе, как я понимаю. Хотя, чего уж, понимаю я мало что; только и понимаю, что многим из наших все поднаваливает и поднаваливает жизненных покоев. Сокрушенное и почти безнадежное понимание.

Тебе приходилось почти четверть века назад читать в коротких штанишках и белой рубашке стихи к 30-летию Революции? Мне при-ходилось. А сейчас, — сегодня 54-я годовщина, через несколько часов предстоят подъем и день отдыха и веселья. Ну и правильно все, надо было отдыхать и веселиться в свое время.

Как это понимать, что иллюзии — зеленые? Надеюсь, что ил-люзии — не змеи? А Париж — это Париж, — Лувр, Елисейские Поля и все такое. Приятно, что туда ездят, оттуда ездят, даже если

и предстоит остаться при зеленых иллюзиях. Мне-то что: зима-весна, я больше о тех, кто в Черняховске¹.

Бог с ними, с Иркиными письмами. Была бы она здорова и благополучна. Поцелуй ее от меня крепко и подбери всякие нежные слова. Только, уж пожалуйста, без корейских ироний чтоб. И да не покинет тебя бодрость и радость жизни. Только писал тебе, поэтому наскоро тебя целую. Жду твоих писем.

Илья.

А может так быть: проводы были, а с поездкой передумалось? Чего только не придумаешь в маниловских уголках «уединенного размышления». Шиш, но от чистого сердца!

Еще раз целую тебя. Илья.

Серее Кану²

7.11.71

Дорогой Серее!

Большое спасибо за письмо, за желание поделиться со мной своими заботами и мыслями. Оно мне очень драгоценно, это желание, поверь мне, и прибавляет вкуса к размышлению — к жизни, значит (украл у Декарта: «когтиста»... и пр.).

Я отлично, по-моему, понимаю твое состояние. Самое интересное занятие отвлекает от интересных житейских впечатлений, а самое интересное житейское впечатление — от занятий: вечная и трудно-разрешимая антиномия.

Я рад, что тебе бывает просто весело со своими ровесниками, и рад, что у тебя впереди — интересные курсовые темы. Трудно

¹ Специальная психиатрическая больница в г. Черняховске, где находился тогда П.Г. Григоренко.

² С.А. Кан, сын Е.С. Себеки, антрополог. В то время — студент 1-го курса исторического факультета МГУ.

начать, а там уж неизбежно появится азарт и чувство открытия (хотя бы и для самого себя) — в этом я уверен <...>

Сейчас у меня в голове скорее воспоминания о впечатлениях, чем сами впечатления. Я не большой поклонник юмора Рабле, Гашека и пр. (извини за иерархически малосопоставимые ряды — я говорю о принципе юмора только), и в книге меня, конечно, многое раздражало. Но пафос ее все же был понятен: так горько было убедиться, что во все времена истовые кантонисты успешно заменяли специалистов (это по вездесущему Щедрину), портили последним жизнь; особенно омерзительно было встретиться с неистребимым племенем правоверных прозелитов, выкрестов, умельцев в доносе. Из чувства злорадства, из неприязни к этой породе я вполне прощал автору швейковский стиль аргументаций. Повторяю, я передаю только воспоминание о впечатлении — а тебе, наверно, предстоит многое угадать: всю диалектику добра и зла реформации, а может, и швабский дух полемики, истинно арийский дух движения и (истинно?) лютеровскую расправу с чертом или то, что пишет Герцен о выдающихся немцах в Лондоне.

О себе писать, как всегда, трудно. Сейчас канун праздника; спать не хочется, читаю, а сейчас вот пишу. В массе компромиссных, а потому зачастую невозможных взаимоотношениях, бывают минуты теплоты и сердечности. Они случайные, увы, и эфемерные. Но их то надо только и постараться сберечь: может, они и есть позолота, которая не сотрется (вопреки грустной сказке).

Передай самые теплые слова Леночке, твоей матери.

Всего вам доброго обоим.

Твой Илья.

*Рае Хасидман*¹

7.11.71

Милая Раечка!

Ты молодец, что не забываешь стареющего своего учителя и время от времени льешь бальзам на мое сердце (восточно, цветисто, витиевато — ты ведь любила когда-то такой стиль; помнится, мы с тобой из-за этого даже поругивались). Я рад, что сумел на расстоянии открыть для тебя Платонова — хотя более чем уверен, что тебя вполне осенило бы и без меня. Ты прочитала Тынянова — теперь настоятельно советую прочесть в ЖЗЛ книгу «Лунин» — и книга прекрасная, и сопоставление судеб декабристов, наверное, многое может открыть в вечной современности истории русской мысли и русского донкихотства.

Помнишь «Горе от ума» у Товстоногова, куда я водил в ленинградские дни всех вас. Это я по поводу прочитанной тобой «Смерти Вазир-Мухтара» — что может быть горше судьбы оказаться недостойным своего героя. Я вспоминаю часто из романа диалог двух солдат-дворян в палатке, который ты должна помнить; он помогает мне время от времени «оставаться при фактах», но при этом не впадать в непозволительную простоту суждений. А о Тынянове я вам говорил когда-то, когда обучал вас своим любимым Грибоедову и Пушкину, только ты вряд ли что запомнила: вы были еще так эмбриональны в те годы, сударыня.

Я хорошо понимаю твое впечатление от узбекской культуры. Но, по правде говоря, я до сих пор не достиг твоей глубины: местные искусства как-то чисто биографически задевают меня, но не становятся событием. Айтматов или Друце для меня не киргиз или молдаванин, а писатели общечеловеческого масштаба. Так уж я космополитически (или по-русски?) воспитан. <...>

¹ Рае Хасидман — бывшая ученица И. Габая.

Георгию Борисовичу Федорову

22.11.71

Дорогой мой Георгий Борисович!

Я так давно ждал от Вас письма, так много чего накопилось в то время что сказать под горячую руку — а сейчас вроде бы поостыл, забил иными впечатлениями. Что худо, разумеется, но отчасти вне меня: начался сезон наибольшего моего утомления и высшей точки отвердевания мозгов.

Мне хочется продолжить с Вами испанскую тему. В одном из последних номеров «И.Л.» критик И. Тертерян приводит слова Гойтисоло о современном «духовном климате» (хватаю на лету новые термины) Испании. Испанцы (рабочие, интеллигенты тоже), по его словам, прониклись идеей «прогресса без свободы». Это так созвучно хотя бы с сарказмами нашего Щедрина (помните, наверно, о том, что все слова о свободе должны умолкнуть, ежели речь идет о народном благоденствии?); и безнадежно, и как-то заставляет примириться с мыслью, что постепенно, через «благоденствие» все само собой образуется. Вот еще и в «Новом мире» из номера в номер печатаются статьи, в которых доказывается (с биологической, генетической и пр. точек зрения), что альтруизм наследственно запрограммирован в человека. Совсем хорошо — всерьез хорошо. А статьи, между прочим, и впрямь интересные. Я отлично понимаю Ваши мотивы нечитания «Нового мира». Они так старомодны: прекрасны то есть, рыцарственны. Но я с собой ничего не могу поделать, читаю — обрастаешь некоторым консерватизмом привычек с годами. Ну а здесь распротиться с привычками курить, например, или читать «Новый мир» — только себя нестерпимо мучить <...>

Ваш Илья.

Семье Зиман

22.11.71

Аллочка!

Разреши, я подолью тебе лимонного пунша, и мы выпьем за здоровье Беллы Исааковны и мужа твоего Леонида, которых я сердечно приветствую. Славный был муж Леонид: знал все спектакли и фильмы. Как он успел, не пойму, дочку однажды родить?! (Овидий). А я смотрел здесь фильм «33» и не смотрел «Поезд идет на восток». Я хорошо запоминаю обстоятельства, при которых когда-то что-то видел. (Тебе лимонного, Аллочка?) Вообрази, зимний сад «Эрмитаж», деревья, обсыпанные снегом, лунная дорожка (как угодно, Аллочка, но на мой вкус, лимонный пунш немного кислит), и мы с Леной возвращаемся с фильма и обсуждаем проблему: как это пропустили? (Пропустим еще по одной, Аллочка?) Мы были молоды и многое не понимали. Ну, например, прогрессивность и актуальность романа «Бесы», в котором предугаданы все крайности левокитайского толка (читай между строк Сучкова; доклад). Потому и прогрессивный. Не было бы китайцев и европейских «бешеных», был бы до сих пор реакционным. Спасибо им.

Аллочка, Леня назвал меня свахой (не электронной). Он еще пожалеет об этом оскорблении. Кстати, не хочешь ли ты переписываться с каким-нибудь молодым, скучающим, разочарованным эзком?

А в «Новом мире» пишут, что у людей и даже у животных есть гены альтруизма. Интересно, врут календари или нет?

Творческий вечер Лентулова я помню, а картины его почти нет, очень плохо. Вообще я многое сейчас помню смутно и как бы понаслышке. Скорей бы оживить ум, заострить зрак, навести уши и лыжи. Выпьем по последней рюмке лимонного пунша, Аллочка: за скорую встречу всех нас, за здоровье Беллы Исааковны, успехи Лени, обаяние Аллы и кокетство Анютки. Как жаль, что Леня не пьет ничего, кроме водки. Муж Леонид был ревнив. Водку, однако, любил он Больше жены. Потому я и целую жену (Гораций-друг).

Друг Гораций.

Юлию Киму

22.11.71

Дорогой Юлик!

Со всех сторон прибывают сообщения о премьере «Недоросля», из которых я еще и еще раз (паки и паки!) постиг, сколь ты скромн. Надеюсь, что и в оценке фильмов с твоими песнями ты слишком строг.

Смешно сказать, но после нашей эпохальной и мимолетной поездки в Киев я был там еще раз всего (по дороге в экспедицию и еще мимолетней), и Киева, по существу, не знаю. Вообще я многие места знаю только с мемориально-искусствоведческого насестика, что, оказывается, бедновато. Ты упомянул Леню Плюща¹, и я сразу вспомнил, как всю паясничал под строгим взглядом его жены. У твоего метро, когда мы ждали генерала², чтобы пойти на пасху к А.Э. Краснову³, если ты помнишь. Ну я и устыдился, потому что стал чувствительным к таким воспоминаниям <...>

Я жду свидания с Галей, а у нее что-то оттягивается. Помимо того, что я жажду книг, да и от всяких положенных данайских даров тоже, сознаюсь, совсем не прочь, — это еще и мотает нервишки. Слабонервные мы все стали, интеллигентики, подумаешь.

От Геры я получил невеселое письмо из больницы, точнее, с попытками веселости, что еще пуще разоблачает невеселость. Он редкий человек, и надо бы ему душевных радостей — но откуда их возьмешь, когда в мире все так перепутано <...>

Илья.

¹ Л. Плющ — математик, правозащитник, политзаключенный.

² Имеется в виду генерал П.Г. Григоренко (1907—1987) — правозащитник, политзаключенный.

³ А.Э. Краснов-Левитин — см. прим. 1 на стр. 84.

Елене Гиляровой

5.12.71

Леночка!

<...> Я рад (корыстно в некотором роде) тому, что ты не оставила своих волшебных привычек. Я не успел с волнением и гнусным сальверизмом подумать о книге Томаса Вулфа — а она тут как тут. Надо, надо снова устроить тебя во Всесоюзную книжную¹; а за детьми твоими похожу, наверно, я: самая подходящая для меня на первое время работа. Из привезенных книг прочел вчера ночью Слуцкого — и ни на чем не остановился — и начал читать Хух <...>

Рассела читать просто, заменяет простому, темному человеку (мне) тексты и необходимость смотреть в словарь интеллигентских выражений. И позиция его — Александр Мак<едонский> — Руссо — Байрон — Ницше — и пр. — очень даже по сердцу. Умом понимаю, что это всякая натяжка, а душе все равно приятно и может соответствовать самый раз.

А письма мне пиши, пожалуйста. Еще пять-шесть писем и, глядишь, делу конец. Потрудишься, а то я совсем захирею и запаршивлю.

Всяких благ тебе с домочадцами.

Твой Илья.

Герцену Копылову

11.12.71

Дорогой Гера!

<...> Я напишу тебе коротко: в последнее время часто приходится запускать с ответом, а потом вот ночью, как теперь, отвечать сразу на 17 штук. Я себя кляню не столько за объем работы, сколько за то, что в течение не менее двух недель нечего из-за моей лени рассчитывать

¹ Е. Гилярова одно время работала в Книжной палате.

на письма. Но сделать я ничего не мог: полетело воскресенье, потом я после свиданья не мог прийти в себя дней пять по крайней мере. После работы я писать просто не в состоянии, вообще почти не способен ничего делать в течение нескольких часов.

Читаю журналы и брюзжу по поводу юбиляров. Достоевского как-то просто больно видеть в благожелательных теперь уже ярлыках — в «прогрессивных», например, в прозорливых, в одолевающих пережитки прошлого в своем сознании. Любопытен еще один образец близкой моей науки. Тема такая: «Некрасов и заруб. л-ра». Клевета, говорит автор, что Некрасов — поэт сугубо русский, к мировой л-ре своего времени непричастный. Он не знал, правда, языков, лечась за границей, ни с кем из иностр. писателей не встречался, но зато у него в кабинете висели портреты Диккенса, Гейне, Лонгфелло, а в издаваемом им «Современнике» печатались переводы Шиллера, Шекспира, Теккерея, Жорж Занд, Бичер-Стоу и др. Кроме того, он хотел даже перевести по подстрочнику Тургенева стих. Бернса, но сделал это почему-то Михайлов. Но сделал все-таки, значит, вклад Некрасова в мировую л-ру велик.

Я сейчас всеяден: попадетя статья по поводу животных — читаю ее, попадетя по поводу человеков — и тем не брезгаю. На поверку остается несколько анекдотических примеров. Опасаюсь поздней олигофрении. Коклюш, говорят, бывает, почему бы и ей не случиться.

Но все это ерунда. Вот худо, что тебя так крепко взяла настоящая болезнь. Не тащи ее с собой в Новый год, очень тебя прошу.

Обнимаю тебя.

Илья.

Марку Харитонову

13.12.71

Здравствуй, дорогой мой!

Я с радостью подчеркнул на последней странице последней книжки «ИЛ» твою фамилию. Да светится она в будущем году в этом

и других — уважаемых — изданиях почаще. Так было бы славно, если бы, кроме всего, Галя могла бы засесть за живопись.

Я в первую очередь прочел две из трех переданных тобой книг. Перечел Борхерта с не изменившимся за 8—9 лет ощущением глубокого сочувствия. Знаешь, потеря чувства стилистической новизны (мало ли кто сейчас т а к пишет!) даже помогает: остаешься как-то один на один с тем, что невозможно стянуть у кого-то: с уязвленностью, болью, незащищенностью. Ну а насчет Хух ты угадал. Она ведь очень старомодна, в неважном таком смысле: знаешь, с буклями, скрипучим дидактическим голосом и безнадежным всезнайством «что есть что»: что есть Средние века, что есть ренессансный гуманист и пр. Правда, вторая часть «Дьявольских казней» несколько двусмысленна, во всяком случае, не укладывается в толковник предисловия. Я имею в виду вот что: средневековый сальеришка и доносчик у нее, конечно, остается гаденьким, но хороши же раблезианские последствия, оргиастический срам, порожденный «новым» (гуманистическим) искусством. Случайно набрела, что ли? Словом, твоя рецензия обещала несколько большее. Или такое уж теперь у вашего брата-литератора назначение: быть не переводчиком, но толмачом, сопоставлять да угадывать? Словом, у меня такое впечатление, что ты ухватился за первый повод хоть как-то высказаться. Там, где у нее прямые параллели, — там художество почти не ночевало — в «Могиле еврея» или в истории с сыном пастуха. Возможно, я просто ожидал большего и следует бранить не писательницу, а свой нудный нрав.

Не знаю, не ревностью ли, нарушением «элитарности» вызвано мое раздражение по поводу юбилейного Достоевского. Но он действительно благолепный: и китайцев предвидел, и в споре с Менделеевым науку превзошел. А подумать — так его же нельзя профанировать, невозможно. Пусть так и остается: пытаются, но издают.

Т. Вулфа мне передала Леночка, но я к нему еще не приступал. Стыдно, но повести, читанные в «ИЛ» несколько месяцев назад, помнятся очень смутно. Даже Мишина¹ статья почти испарилась. Надо будет постараться отдохнуть по приезду. Удастся ли.

¹ Имеется в виду М. Ландор.

Обнимаю тебя и Галку.
Илья.

Алине Ким

27.12.71

Алинька!

<...> Алинька, ты мыслишь грустно и опасно. Упаси бог кого-нибудь искать Голгофу. Смею заметить, что ты ошибаешься, я ее не искал и не нашел. Я, если угодно, пытался в очень маленькой сфере действовать в соответствии с пониманием, что такое хорошо. Совсем не исключено (что грустно, и очень), что повышенный градус этого действия отчасти связан с тем, что во всех почти прочих сферах мои поступки находились в большой дали от осознанного понимания, что есть добро. Не предавайся, друг мой, таким мыслям. Детям действительно не следует болеть туберкулезом; если хочешь, детский туберкулез страшнее даже той или иной кощунственной мысли. Если бы каким-нибудь чудом я вдруг научился б напоследок врачевать, я был бы если б не счастлив, то вполне удовлетворен.

С грустью (какая только возможна в состоянии абсолютного одиночества) прочитал о смерти Твардовского. Я не примешивал к этому, мне кажется, никакого политеса: по-человечески стало жаль ушедшей порядочности, убежденности и таланта <...>

В Маратиковом фрейдизме узнаю и свое давнишнее стремление из цикла «хочу все знать». Между прочим, прочным знанием в свое время в этой области способствовало мое пребывание у сестры в общежитии 2-го мединститута (Якиманка, 40). Я видел когда-то упомянутый тобой спектакль Фоменко в ЦДТ. Вспоминаю без особого упоения, но, может, спектакль обыгрался, или это другой «Король Матиуш»?

Не думаю, что ты права относительно Моцарта — книга Вейса (?) (как и недавно прочитанная книга Шмитт «Рембрандт») рассказывает совсем не о благополучной истории жизни. Радостные картины

Матисса тоже не означают радости пребывания в инвалидном состоянии; но в чем ты права — что закона страдания нет, не должно быть во всяком случае. Просто художники страдают, как все, но заметнее и уязвимее — так, наверно?

Целую тебя и умолкаю.

Илья.

Герцену Копылову

27.12.71

Дорогой Гера!

Еще раз надеюсь, что ты расстанешься в этом году с грустями, а главное, с болезнями. Очень и очень желаю тебе этого; хотелось бы, чтобы новогодние пожелания сбывались.

Возвращаюсь к вопросу о единоверцах. Не помню, писал ли тебе, что вычитал в «Литературке» отрывки из статьи израильской журналистки, где она писала о военно-патриотическом воспитании и таратарампатриотизме аборигенной молодежи. Утратить интеллигентность — разве для этого нужно много поколений? Обрести ее куда труднее: сужу о себе, так или иначе причастном к этой прослойке в первом поколении. Национализм — это и впрямь очень печально, тем более — это такая заманчивая, общедоступная и общепривлекательная возможность разрядки энергии и мещанского утверждения своего «я» через «мы». Я, правда, если это и чувствую, то разве что в общетеоретических разговорах на определенном уровне, а так, эмпирически, это я на себе не чувствовал здесь, нет.

У нас вывесили объявление: люди, едущие по окончании срока в Москву, обязаны представить справки, что им гарантирована прописка в Москве. Ума не приложу, кто станет давать такие справки. Далеко, но уже какие-то помехи в сознании об окончании службы. Не стану пока и размышлять об этом <...>

Прочитав твои ответы на анкетку «ЛГ», как часто бывает, я встал в тупик: где у тебя истина, где шутка, а где шутка, в которой доля

истины. Ну, например, о почве и дереве — стало быть, никто из ученых не виноват? Уэллс ведь уже давно испугался такой перспективы, помнится. Ну еще, пожалуй, насчет влияния искусства на науку через убожество. Не происходит ли обычно в истории переоценка из-за того, что можно практически пощупать руками? Иначе трудно было бы понять, как это в сознании современных людей 60—70-е годы прошлого века куда ощутимее русской литературе, чем открытие рефлексов (я взял эти годы, потому что как раз тогда писалось много об убожестве литературы — в годы, между прочим, «Войны и мира», «Идиота» — ну, еще и опытов Сеченова, правда, и периодической таблицы). Я сыплю трюизмами — задело малость, хотя и угадываю шуточный тон и любовь твою к парадоксам.

Обнимаю тебя и заклинаю не болеть.

Илья.

Елене Гиляровой

27.12.71

Леночка!

Я уж не помню, как я расклеивался прежде, сейчас я маленько гриппую, как очень многие у нас, как-то странно — больше костями или мышцами. Чего-то ломит всего неделю, а то и больше; но это не мешает ясности головы, а потому и бодрости.

До Вулфа твоего я все еще не добрался — все собираюсь с духом. Перечитал Борхерта и Платонова, прочел книжку о религиях Востока (скучную — упаси бог: не о религии, а о религиозной политике и политике вообще — словом, о притязаниях и посягательствах клерикалов), еще прочел писательницу Хух да роман о Рембрандте, — кажется, и все из привезенного, не считая журналов, поступающих время от времени. С Платоновым у меня происходит что-то нездоровое — некий род сальеризма. Я восхищаюсь, порой раздражаюсь, потом-то как раз и начинается что-то ужасное: проникновенные, со всей несомненностью сердечные слова (их смысл) начинаю алгебраически разбирать

и получается пошлейшая пошлость. В переводе с платоновского это звучит, скажем, так: «Не человек для машины, а машина для человека. Надо любить в машине создателя, его душу, не забывать о нем...» — ну и прочее, но невольно многое именно в этом роде и получается, что и, повторяю, ужасно. Зачитался, наверно, амба, заелся. Не смог тебе не поисповедоваться в этом — может, и ты себя ловила на чем-нибудь подобном? А я ведь еще старался не поддаваться страсти к аналогиям, выискивать намеки и т.д. <...>

Живя определенную часть жизни в Баку, я ничего не слышал о Мирза Шафи. Но это совсем ничего не доказывает: я ведь жил там в самые как раз годы лени и нелюбопытства, даже мечети снаружи не удосужился оглядеть и запомнить (не то что после Владимир, да Нерль — помнишь ли?! Ох, даже больно стало от грусти и тепла). А стихи в переводе Гребнева, хоть и отмечены вечновосточным стремлением к абсолюту: к истинам и моралям в последней инстанции — все же очень хороши. Спасибо.

Погрустил о смерти Твардовского: с ним было связано многие годы ощущение глубокой, народной даже, порядочности, и стихи его — иногда ближе, иногда дальше — но задевали всегда. Вот и последние, многожды цитируемые, но такие пронзительные: «И не о том же речь, что будто мог, но не сумел сберечь. Речь не о том, но все же, все же, все же...»

За собеседованием как-то упустил поздравить тебя с наступающим Новогодьем. Поздравляю и очень желаю много добра тебе, Валерке, ребятам.

Сердечно тебя обнимаю. Илья.

Марку Харитонову

2.1.72

Дорогой Марик!

Будем надеяться, что год действительно станет радостным во всех смыслах — в разрешении всех обыденных забот в частности.

Публицистический отдел «Нового мира» набирает прежнюю высоту в последних номерах. Согласный с твоей оценкой статей Эфроимсона и Гранина, хочу назвать еще ст. проф. Симонова, Никифорова, отчасти статью Ю. Карякина. С Твардовским у меня было связано в последние годы ощущение незыблемости убежденности, обретенной, как и литературная этика, в последние 15 лет, но незыблемая. Смерть его меня очень опечалила. Ну а звездные часы определить трудно; у нас иной вкус, может, в этом дело. Я знаю его последний сборник стихов только по рецензиям. Цитаты, приводимые там, чрезвычайно глубинны и пронзительны.

Пытаюсь осмыслить твою мысль о «неактивных борцах, но уклоняющихся, не сотрудничающих, даже вроде бы юродствующих» в былой Германии. Извини за насильственную операцию, но представь себе: злой анекдот, вырезки с глупостями газет, разыгрывание среди своих манер бесноватого — на фоне мировой войны, печей, программы уничтожения. Психоз в течение двух-трех лет? Я думаю, что Эфроимсон здесь ни при чем, не тот случай. Немец мог оставаться жертвенным сыном, мужем, другом, но, очевидно, генов т.н. «абстрактного гуманизма» не существует — это благоприобретение гнилой интеллигенции. Уничтожение абстрактных неполноценных наций, я думаю, естественно входило в понятия немецкой толпы. Это было нужно для благоденствия нации и для ее величия. У толпы нет наследственности и черт, есть только побуждения (о чем писалось не раз). Ну, а юродствующему не борцу можно посочувствовать только, как это ни традиционно, вносить в его реестр заслуги по сохранению нации (нравственного выживания), как ты пишешь) — по мне так даже несколько кощунственно. Твою статью о Борхерте я жду с нетерпением — я перечитал его сборник с душевным волнением, о чем тебе рассказывал уже.

В новогоднюю ночь дочитал роман Селимовича «Дервиш и смерть». Печальный роман на трепетную для меня тему. Там рассказывается о невозможности «серединного пути» (мечта, кажется, всех религий, не только буддийской) и о неизбежных страшных уроках мятежа: непременно бесовских средствах, о забвении в конечном счете целей. Почитай, если будет время, хотя понимаю, как у тебя туго с ним.

Обнимаю тебя, Галю, ребятишек. Не вздумай в последние месяцы уклониться от обязанности писать — в последние-то месяцы следует потрудиться.

Твой Илья.

Георгию Борисовичу Федорову

2.1.72

Дорогие мои Георгий Борисович, Марьяна Григорьевна!

Я вас, кажется, поздравлял уже с Новым годом — с надеждой на то, что все у вас будет хорошо. Лишний раз это сделать, наверное, не худо; будьте счастливыми, дорогие мои; надеюсь, что наша предстоящая в этом году встреча немножечко обрадует вас. Смерть Твардовского я воспринял тоже с большой печалью. Недостаток времени приглушил ее. Кошунственно, может быть, но я думаю, что немного это и к лучшему — недостаток времени: немного достоверней, без примеси истеричности и политики, которая могла бы быть несколько лет назад. Я все последние годы относился к нему (заочно, разумеется) как к человеку исключительного чувства справедливости, добра, как временами к чужому по мироощущению, но всегда безусловно большому поэту. Из людей его воззрений на моей памяти два человека производили на меня такое большое примиряющее ощущение достоверности убеждений: он и Назым Хикмет (особенно после двух вечеров последнего, на которых я был).

В вечной нашей с Вами, Георгий Борисович, испанской теме я обратил внимание на вытекающий из Ваших строк парадокс: на то, что Луис Карандель опубликовал книгу в Мадриде. Я начал перечитывать испанский том Хемингуэя. Он пишет в предисловии к «Пятой колонне» о неизбежной победе антифашистов, а минуло с тех пор 35 лет... Что касается того, что «прогресс это и есть свобода», — то тут как взглянуть. Я ловлю себя порой на еретических (по отношению к самому себе) мыслях: а не высокомерие ли это — безусловное осуждение масс, не нуждающихся пока в широкой свободе. То есть

не высокомерие ли — перед лицом нищеты, детской смертности, моров, трущоб, изнурительного труда, которые не изжиты еще (хотя бы в странах третьего мира). Академик-физик в известной работе¹ остро чувствует и эту проблему, а я жалею порой о том, что такие вещи не входили в число моих забот.

В «Новом мире» очень интересные публикации: статья Гранина о «Моцарте и Сальери» (больше о Пушкине и Булгарине, Булгариных) и Карякина о «Преступлении и наказании». Перечитывание Платонова вызвало двойственное чувство: сначала упоение, потом печаль по поводу исписывающегося писателя. Мало кому это дается — немилость. То есть мало кто удерживается в этом случае на уровне своего таланта и естественности. Еще хорошая (умная — точнее) книга «Дервиш и смерть». Там вечная и волнующая меня мысль, которую я, как мог, старался временами высказать, обстоятельства не дают права уклоняться от мятежа, ну а там все возможно только на почве нечаевщины и повторение в новом качестве ситуации, емкая для проблем века, хоть и поднадоевшая: ересь стала ортодоксией, еретик — правителем. Форма привычная: притча — удобная, емкая для проблем века, хоть и поднадоевшая — без чувства почвы. Желание обговорить мешает в моих письмах задушевности, простому желанию просто поговорить (в стихах, кажется, и увы, — тоже?!). Надеюсь, что в нашем с вами случае время исправит: встреча не за горами уже.

Крепко вас целую. Илья.

Елене Гиляровой

17.1.72

Здравствуй, Леночка!

Я уже тебе писал, что поражаться моему чтению, тем более заводить ему — дело напрасное: я читаю бестолково, невнятно,

¹ Имеется в виду работа А.Д. Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», опубликованная в самиздате летом 1968 года.

а сейчас еще к низкому качеству чтения прибавляется и малое количество. Вулфа, присланного тобой, читаю вторую неделю — отчасти из-за того, что перемежаю журналами и газетами. Завтра (в воскресенье) собираюсь закончить.

Впечатление такое: и сильно, и не сильно; последнее потому, что узнаешь стиль других крупных американцев: наверно, он был расхвтан и изощрен позднее, а перво- или почти первопроходец стал известен нам поздновато. Поразительно, но при абсолютном отсутствии общебиографических точек соприкосновения с Юджином (главным героем) масса (по воспоминаниям) психических и физиологических даже совпадений с собственным детством. Это, наверно, и признак большой добросовестности и тщательности автора.

О «Рублеве» пишут все и все по-разному. Буду судить после визуального, так сказать, знакомства. Которое, надо полагать, уже зримо.

Первый номер «Литературки» затерялся в нетях, зато вторым я сыт по горло. Очень грустная там страница, безалаберная, жестокая, бесцеремонная, — а пуще всего лишённая всякого смысла.

Морозы у нас всякие (это я на твой вопрос отвечаю): и никакие, и крепкие, а гриппы — не сглазить бы! — отступают, кажется. Недомогать здесь противно, не хотелось бы возвращаться к такому состоянию.

Меня тронуло обилие поздравлений. Это греет, я бы добавил: и вдохновляет, но вдохновляться некогда (а вдруг еще — избави бог! — и нечем?!)

Ну, будем жить, поживать, гадать и с любопытством подводить итоги: а что же из меня-то в конце концов получилось. Но до этого еще надо дожить и, кажется, сильно отдохнуть.

Передай привет Валерику, обними за меня своих цветочков.

Сердечно с тобой прощаюсь до следующего письма.

Илья.

Марку Харитонову

17.1.72

Дорогой Марик!

Видишь, как получается: я отправил письмо и пожалел, а ты со всем согласился вдруг. Очевидно, у обоих у нас слова мало точны, что и естественно: и у тебя, и у меня из-за переутомления и многих душевных забот может и не хватить собранности для убедительного письма. Очень даже просто. А вот «Кошку и мышь» я помню уже очень смутно, хотя вот помню же, что вещь мне очень нравилась в чтении. Так, в памяти слегка общий контур героя и его судьбы, анальный эпизодик (стыдно даже сознаться) и все, пожалуй. Меня вообще угнетает выпадение из памяти многого из того, чем жилось — не к деградации ли. Я, наверное, и тебе жаловался — многим-то жаловался точно, — что чтение здесь меня мало удовлетворяет: беглое, невдумчивое, придется обязательно тратить время на перечитывание.

Я здесь долгое время не получал «Литературки», бесился слегка: привычка-с к «своей» газете все-таки, — а получив второй номер и прочитав страницу 12, ощутил даже не отвращение, не брезгливость, а какое-то почти отчаянное и почти безнадежное опустошение¹. Все-таки у нашей прессы есть серьезные преимущества перед бульварным, циничным и жестоким изыском штерновского толка. Трудно просто постичь, кому это вообще может быть интересно, какое это имеет значение?! Ну да ладно. Я и вправду при всем при том рад, что во мне, кажется, отсутствует буржуазность любого оттенка. Надеюсь, что я говорю более или менее внятно.

«Андрея Рублева» я должен посмотреть обязательно. Все о нем пишут, и все по-разному. Галя, моя жена, ходила на него даже три раза. Рассуждения о Христе, наверно, и впрямь неловко слушать, нерассуждение (недумание, незабота) в этом роде — тоже не

¹ «Литературная газета» (1972. № 2) перепечатывала материалы журнала «Штерн» с клеветой на А.И. Солженицына.

взлет духовности. Вечная антиномия. Когда-нибудь в мемориалах отметят все-таки, что интерес к Библии был у меня порожден не модой — чем-то внутренне присущим.

Ну, а пока я желаю тебе успешных завершений и новых начал в труде. Кланяйся твоей Гале, которая совсем уж позабыла меня, и пиши.

Обнимаю. Илья.

Марку Харитонову

31.1.72

Майн либер фрейнд-референт¹!

Что бы тебе не специализироваться на разоблачениях Хичкока и Кристи; был бы с деньгой и черт знает с чем еще — разве что без особой совести и с постепенным обрастанием газетным косноязычием <...>

Начал перечитывать переданного тобой Стефана Цвейга, и что-то меня в «Марии Стюарт» раздражает. Пожалуй, это что-то — слишком (даже для меня) гуманитарная симпатия к страстным натурам (вопреки заявленному объективизму проступающая). Но я вряд ли имею право утверждаться в своем раздражении — до конца книги еще далеко. Ослабел я маленько, брат, поверишь, дошел до того, что пару ночей назад взял подшивку прошлогодних «Огоньков» и стал решать кроссворд за кроссвордом. Такой маразматический стих. Минут 15 назад перестал вспоминать, как называлась река под Ачинском, где мы отдыхали. Так и не вспомнил. Вот такие жалобы турка я и изливаю на твою голову; мелочь, но как-то не бодрит.

По поводу воздействия материалов «Штерна» на массы. Есть, по-моему, положительная сторона в том, что массам это все до лампочки. Ну, есть еще губернские служащие, которые кое-что читали

¹ М. Харитонов тогда подрабатывал в качестве внештатного референта журнала «Иностранная литература» по ФРГ, Австрии и Швейцарии.

и не преминут посмаковать; но между нами, мужчинами, — хрен с ними, губернскими служащими. Жалко, что человека мучают и колот, вот что главное. Возможно, что в не читанном мною романе есть антиинтеллигентский (антисамгинский — обычно говорят) пафос. Задним умом я это чувствую и в первом его романе. Наверно, святое русско-писательское проповедническое чувство неизбежно ведет к упрощению и к изощренной форме юродства — к почвенничеству. Но это все другая опера. А Библию надо осмыслить стихами, то есть мне продолжать осмыслять, и получше, поумнее прежнего. Но это тоже из цикла «Суждены... порывы».

Позвони, пожалуйста, Гале и скажи, что мне дали свидание на 27-е, но пусть она, если сможет, приедет 26-го днем. Это я на всякий случай, если вдруг мое письмо затеряется.

Обнимаю тебя и прошу не сердиться на общую невеселость.

Илья.

Семье Зиман

23.1.72

Дорогой Леня!

Поздравляю тебя с пятидесятилетием ЦДТ!

Дорогая Аллочка! Поздравляю тебя с пятидесятилетием ЦДЛ!

Дорогая Белла Исааковна!

Поздравляю Вас с пятидесятилетием ЦДСА!

Письмо ваше шло по параболе, точнее, ответить вы собрались не очень быстро. Много с той поры утекло воды. Теплая зима сменилась холодной весной. Человек пятнадцать написали мне о выходе в жизнь «Андрея Рублева», человек — не счесть — прислали мне примерно такую открытку:

Елка,

снег,

С Новым годом!

Получил я и письмо от Лейкина, но ответить пока не собрался. Я вообще — к большому моему сожалению — физически не смог пока ответить на все поздравления. Поэтому не вредно, наверно, будет опубликовать такое объявление:

Разрешите через Ваш милый
и гостеприимный дом передать
сердечную благодарность всем
поздравившим меня с Новым годом!
Надеюсь, что больше этого не
придется делать,
надеюсь на скорую встречу.

Объявление получилось кривовато. Это, как объясняет мой друг Миня, потому, что у меня нет бумаги «по арифметике» (т.е. в клетку).

Чрезвычайно хочется вас всех увидеть, познакомиться с Анькой, узнать у нее, похож ли я на свою фотографию. Кажется (судя по Аллочкиному письму), придется поступать на курсы кваканья, пенья и пляски и пр. Не беда, выучусь, я способный.

Ожидает меня первый номер «Иностр. л-ры». Завтра утром воскресенье, вот я и почитаю. На этой неделе перечитал «По ком звонит колокол» — впечатление прежнее: самой подлинной литературы. До этого прочел Селимовича и Вулфа. Вы читали ли? Очень хотелось бы прочесть Фицджеральда «Ночь нежна», Мориака (без Дос Пассоса хотя бы), но мыслимое ли дело их достать?

Желаю и вам, и всем вокруг вас здоровья и бодрости. Спасибо, что не забываете, но не забывайте, пожалуйста, почаще, как говорил Немирович-Данченко.

Целую вас, жду еще 3—4 писем, а там — черт побери!
Ваш Илья

Галине Габай

31.1.72

Дорогая Галя!

Надеюсь, что это письмо придет ко второму февралю. Поздравляю тебя с днем рождения, желаю, чтобы будущая жизнь была у тебя счастливой и устроенной. Пожелание малость эгоистичное: касается и меня, но мы ведь, по пословице, одна сатана.

В качестве именинного подарка сообщаю тебе, что нам дали личное свидание на 27 февраля. Это было очень трудно: большая часть занята теми, кто должен был по графику идти в декабре, как вдруг грянул карантин. Постарайся приехать 26-го днем, вдруг кто-нибудь да не приедет и нам дадут еще день <...>

Ладно, недолго уже, Видно уже даже окончание зимы, ну еще два месяца. До января все было хорошо, а в январе были денечки даже с 40 градусами — небывалые для меня. Переношу их сноснее, чем думал раньше. Оденься, когда поедешь, на всякий случай по-теплее.

Целую тебя. Илья

Елене Гиляровой

7.2.72

Леночка!

Когда это письмо отойдет, мне останется по календарю сотня дней. Срок вполне наполеоновский; чувствую я себя, признаться, тоже паршиво — как Бонапарт перед Ватерлоо. Какой-то винтик в организме сдал маленько: частенько похварываю и чувствую некоторый упадок. Перемелется с первым солнцем, надо думать.

Ты, Лена, не обращай никакого внимания на «специфику нашей переписки». Это у меня специфика: прочтенное, по существу, и есть единственное событие. Когда читается скудно (как сейчас) — значит,

и события скучные; когда совсем не читается — соответственно нет и событий. А ты пиши обо всем, что составляет интересы твоей жизни, никакого внимания на «специфику» не обращая.

Свой ли у тебя Фицджеральд? Ко мне должна к 27-му подъехать Галя, так, может, ты расстанешься с «дамским романом» на три месяца?

Перечел (дочел) в состоянии серьезного недоумения эссе С. Цвейга о Фуше. Это трогает (то есть не трогает в обычном смысле слова, — затрагивает интересы, дает пищу уму досужему) значительно в большей степени, чем напечатанная в том же томе романтическая история Марии Стюарт. Но вообще-то в книгах Цвейга — в стиле, манере судить и, современно говоря, в точке отсчета — чувствуется век (прошлый) и не современный человек: поиск страсти.

Из современного прочитанного запомнилась хлесткая статья Чудаковой о языке наших прозаиков в первом номере «Нового мира». Приметлива, и еще чувствуется тоска по человеческой манере видеть, чувствовать и излагать. Поверишь ли, я как-то слушал краем уха известные стихи Исаковского «Враги сожгли родную хату». Вот — рифмами я объелся, и Исаковский уже никогда не станет поэтом, близким хотя бы в какую-то минуту, — а вот почувствовал какую-то достоверность и правомерность простоты хотя бы и в ретроспективе. Ну вот, письмо опять получилось специфичным. Ну да ладно уж, что я могу поделать.

Сердечно прощаюсь с тобой и кланяюсь Валере.

Илья.

Герцену Копылову

7.2.72

Дорогой Гера!

Коротко о погоде. У нас то морозы, то не морозы, то ветра, то не ветра — и из-за всего этого (не для передачи Гале, упаси бог!)

я чувствую себя на редкость скверно и очень малодушно переношу гриппы и слабости на ногах. Все валится из рук и нет никаких сил, которые как раз сейчас не лишни. Но это временами, сейчас как раз такие самые времена. Очевидно, из-за этого напишу куцо <...>.

Хотелось бы мне, чтобы никому из моих близких не нужно бы было быть мужественным. Помимо всего прочего, состояние боевой готовности совсем не способствует нервному покою, в коем, кажется, все в той или иной степени начинают нуждаться.

Прочел недавно пришедший «Новый мир». Он стал выходить с редкостной регулярностью: вот что значит, если главный редактор не какой-то там поэт, а хороший организатор и опытный хозяйственник. Там дельная статья Чудаковой о языке Шукшина, Лихоносова и др. Чтобы соглашаться или не соглашаться с ней, надо бы этим серьезно заниматься и специально, но она совершенно права, утверждая, что мы (читатели) потеряли вкус к эпическому языку, стали нетребовательны. Там же — повесть Василя Быкова, очень трогательная по материалу (как частный случай; в старых — тендряковских — традициях) и со слишком, по-моему, большими претензиями по части рассуждений. То есть налицо случай, когда одаренный писатель берет на себя чисто журналистские функции.

Перо движется трудновато, поэтому я прощаюсь с тобой и умолкаю.

Будь здоров. Илья.

Юрию Дикову

7.2.72

Любезный моему сердцу и ветреннейший из Юр!

Я поступаю слишком нерасчетливо, теряя силы и ночное время на письма без надежд на обратимость. Но такова уж моя слабость и неизлечимая потребность к совершению малоразумных поступков. Ну а если отбросить натужную шутовскую и витиеватость,

не очень-то легко себя заставить время от времени рассказывать о себе и времени.

Письмо твое полно приглашений порадоваться за общих наших друзей. Я и рад бы, милый мой, но как-то так получается, что настраиваюсь сердцем на радости визуальные. Процесс этой настройки не лишен некоторой мучительности, притупляющей вкупе с иными обстоятельствами несколько эмоциональную-сиюминутную чувствительность, и стыдно сказать, но все чаще ловлю себя на том, что и радости и сопереживания приобретают налет некоторой, что ли, академичности, запрограммированности. Прими еще во внимание — немалый отрезок, не очень малый кусочек жизни, прожитый мною сам по себе, велик — сам по себе, чтобы почувствовать беспомощность в оценках, что хорошо, что не очень и что совсем худо. Кажется, меня начинают мучить мысли о том, как пройдет процесс трансплантации. Это бы еще ничего; куда хуже, что я, наверное, мучаю этим своих друзей. Сужу по сегодняшнему письму доброго и умного Марика, письму, полному утешений и добрых слов. Было бы нелепо скрывать и от тебя, что помимо естественно возникшего чувства нетерпения, отнюдь не помогающего жить, меня одолевают всякие страхи отчужденности, а больше всего боязнь за себя: смогу ли я всем сердцем осознать заботы моих друзей, так много для меня сделавших, и есть ли у моих плеч какие-то силы взять часть этих забот на себя? <...>

С тем и целую тебя, Нину и особенно Митяя, трогательного такого и хорошего человека.

Илья.

Марку Харитонову

9.2.72

Здравствуй, дорогой!

Твое и Галино письмо меня очень успокоило, но и устыдило тоже: все-таки много досужих глупостей лезет в голову, а я тороплюсь

излить их вам, у которых забот не меньше, чем у господина учителя. Судя по тому, как ты меня постоянно успокаиваешь, я написал тебе, очевидно, неврастеническое и мизантропическое письмо. Прости, дружище; что-то, стало быть, не ладилось с самоконтролем.

Галя сказала мне, что, возможно, ты меня встретишь в мае. Это было бы очень счастливо: из всех лиц (между нами) мужского пола, которых я хотел бы увидеть в первую очередь — это как раз ты или Юлик (обязательно — между нами; это может быть и не понято). Может, поездка твоя будет не напрасной, у тебя найдутся на пару дней дела в Красноярске, а я тем временем заглянул бы в Енисейск к Вите и Наде. Но еще времени хватает, не стоит загадывать.

Со всех сторон уважительные отзывы о твоём романе¹. Коли приедешь, а мы будем возвращаться поездом, захвати его: прочту и поговорим хотя бы наскоро. Не знаю, как тебе, но мне это очень и очень нужно было бы. Вообще постарайся, если это не будет связано с жертвами, чтобы намерение твое осуществилось.

Напиши о Белле поподробнее. Немного все-таки среди живущих современников людей, которые своим существованием и работой внушали бы такое чувство значительности нашего именно времени. Я мысленно перебираю обойму: Шостакович? Феллини? И обчелся. Прочитал школьную рецензию Владика² на роман Ленца (о котором, помнится, наши мнения разошлись; мне так он показался очень значительным). Вообще серьезное отношение к фашизму, когда такие темы не становятся просто полем интеллектуальных забав, мне с каждым днем становится все драгоценнее. Этим меня тронул в том же номере «И.Л.» рассказ Огнева о поездке в Югославию <...> Буду ждать с нетерпением немногих уже писем. Обнимаю крепко тебя и Галю; приласкай за меня детишек.

Твой Илья.

¹ Как можно понять, речь идет о повести М. Харитоновна «Прохор Меньшутин» («Сказка о Золушке»).

² В. Пронина.

Юлию Киму

14.2.72

Дорогой мой Юлик!

<...> Чувствую я себя, признаться, (обязательно антре-ну!) преневажненько. В чисто физическом смысле: какое-то затяжное непрекращающееся недомогание. К тому же меня огорчает медленная обращаемость писем: я послал Гале еще в конце того месяца сообщение, что свидание будет 27 февраля, а ответа о том, что это принято к сведению, нет по сию пору. Надеюсь, с этим все образуется, а вот с моей сволочной гриппозностью или черт его знает с чем еще и не очень даже надеюсь: уж долго что-то тянется, и преремзко. Сейчас отвечаю по этой причине только тебе, да еще Гале напишу, а на большее меня, пожалуй что, и не хватит <...>

Целую тебя, Ирку, все семейство.

Илья.

Георгию Борисовичу Федорову

21.2.72

Мой дорогой Георгий Борисович! <...>

Не знаю, что вышло бы из сбывшихся пророчеств Хемингуэя, но если бы сбылись его желания — вышло бы очень хорошо, он Испанию любил слезно и кровно, не за одного Дон Кихота, как аз, грешный, и еще он любил ее нелицеприятно. Меня задело его наблюдение: при фашизме не бывает искусства. Тут и наблюдать было нечего, это было моим аргументом одного памятного мне спора с единомышленником, но, кажется, никакой строй, в котором присутствует л-итерату-ра, действительно еще не самый ужасный, не безнадежный. Когда я говорил о социальных бедах, не в которых, бывает, мы, люди, погрязшие в духовности (теоретической большей частью, это я о себе) и увязшие в эмпириях, я имел в виду еще вот

что. Если неплохие в быту люди склонны тепло говорить о Буонапарте (скажем, о нем; а они это очень склонны), так ясно же, что у них столько житейских интересов, что некогда подумать о моральной стороне того же бонапартизма. Прогресс им, стало быть, нужен, от него дурак откажется — а свобода не очень, разве что в форме познанной необходимости. Можно судить с высоты большей или меньшей начитанности, а можно и понять, что это объективный факт.

Читал в эти дни книгу Черняка «Приговор веков» — о всяких процессах. Тьма новостей, бездна образованности, но я никак не смог уловить этический стержень, урок, разве что нехитрый: во все времена явных или мнимых противников судят, а если судить не за что, то придумывают за что. Любопытно, что писатель в этих случаях проявляется глубже: и так же истукан. О Марии Стюарт, например, Цвейг создал работу, в которой, по крайней мере, чувствуется желание познать не факт, а судьбу, а логику; и прихоть происходящего. Книга Черняка полезная, весьма, но для любителей чистого исторического сюжета; я не из их числа <...>

Марку Харитонову

21.2.72

Дорогой Марик!

<...> Я ощущаю, что неизбежны большие куски отчуждения — так много прожито всеми вами без моего хотя бы отдаленного присутствия. Но надо еще дожить до приезда; климат моего настроения (говоря современными терминологическими идиотизмами) довольно неважный. Но — уляжется, уладится, все будет хорошо, как в песенке о маркизе <...>

Завтра воскресенье, это письмо уйдет в понедельник, а пишу я его в субботу. Собираюсь прочесть второй номер «Ин. л-ры» — сценарий Антониони и японский роман «Футбол 1860 года». Последний я обязан дочитать, хотя наверняка скоро его забуду; уж очень он, судя по началу, похож на многие романы наших десятилетий. На

неделе начал читать прибывшую в библиотеку книгу Черняка «Приговор веков»: о процессах, начиная с ордена Тамплиеров. Узнаешь много нового и интересного, но постоянный подтекст чтения: ну и что? — Вообще я сильно устал, душевно ослабел — вот тебе и подтекст и источник подтекста. Но это сетование привычное и, подозреваю, малопонятное.

Vale.

Твой Илья.

Александру Гинзбургу¹

22.2.72

Дорогие Алик и Ариша!

Я так рад был получить от вас совместную (именно) открытку, что считаю нужным немедленно довести до вашего сведения свои премудрые надежды: тьма рассеется, чад сгинет и непонятное станет понятным. Был бы свежий воздух, возможности безграничной ходьбы, ощущение себя в своем кругу — словом, «тысяча мелочей», которые, мне кажется, после долгого их отсутствия никогда не должны приесться. Я действительно надеюсь, что все будет хорошо, что Алик подремонтируется, что хлопоты улягутся, словом, я еще и еще раз надеюсь, что все будет хорошо.

В Тарусе я был однажды, возил детей по приокским местам, точнее, водил в походе. Она в этих местах для меня до сих пор самое ласковое место, хотя, каюсь, Поленово меня больше заинтересовало. Это произошло по двум причинам: я боялся восторгов под Паустовского, а главное, мало понимал природу. Последнее — предмет моей постоянной сокрушенности; надеюсь, что я немного исправился хотя бы в этом отношении. С нами в Тарусе именно произошли забавные эпизоды; я их пытался рассказывать, бывало, но всегда оказывалось,

¹ А.И. Гинзбург (1936—2002) — правозащитник, политзаключенный. Арина (Ариша) Жолковская-Гинзбург — его жена.

что они забавны только для участников того давнего похода. Поэтому избавляю вас от этого рассказа. Только напишите мне, жива ли коза (или козел? Я ведь совсем профан в природе), которая без билета и без хозяина утром отправлялась на пароме на противоположный берег, а вечером возвращалась к родным местам?

Мне трудно что-либо писать о себе. Ну, живу, ну, стараюсь читать и не ходить по субботам на фильмы. Негусто с событиями, но это, пожалуй, и к лучшему. Будет время и силы, напишите еще разок-другой: мне-то еще три месяца срока. Ну не будет, не напишется — я не обижусь, понимаю, что у вас много забот. Очень желаю вам доброго настроения, устройства к лучшему и (главное) хорошего самочувствия. Обнимаю вас обоих и Людмилу Ильиничну.

Ваш Илья.

Герцену Копылову

2.3.72

Дорогой Гера!

Так получилось, что я отвечаю тебе сразу на два письма, пришедших очень быстро друг за другом. Мне кажется так только или так оно на самом деле и есть? — что твои недомогания несколько усилили обычную твою ироничность. Я мало что смыслю в медицине, того меньше могу осмыслить происходящее со всеми вами после стольких утеченных во время и за время моего отсутствия вод, но мне как-то показалось, что во взаимоотношениях с людьми у тебя повысился градус максимализма, неснисходительности; это должно углубить, мне кажется, чувство одиночества — не очень-то благотворное чувство для твоего состояния. Меня этот вопрос занимает прежде всего в связи с твоим физическим состоянием, но еще и потому, что это вечная проблема. Если бы, например, здесь я стал бы подходить к людям с предельными мерками, то достиг бы, кажется, отчаянного байронического состояния, малоблагородного, прежде всего, да и далеко не предельно точного.

Почти во всех письмах от наших общих знакомых есть информация о серьезных невзгодах или ощущается ожидание таковых. Грустно, но кажется, это естественно и даже неизбежно — что все должны, и ты в том числе, переживать их в одиночестве.

И Цвейга, и Быкова я прочел. Странно, что обещанного продолжения Цвейга не последовало. Что касается Быкова, то это роман с проблемной тематикой журналистских жанров, но эта линия в наших условиях, наверно, еще долго будет иметь право на существование. В данном конкретном случае жаль только, что дарование другого плана, — повесть была бы скорее приличной и закономерной для С. Смирнова (не того, разумеется, который сам свидетельствовал). Описанные тобой литературоведческие идиотизмы напоминают многое и привычное; но при этом следует отметить правды ради, что это не весь фон: и в издательском мире, и в критическом в том числе, сейчас много просветов (сравнительно много). Очень хотелось бы услышать и о просветах в твоём самочувствии и настроении. Напиши еще 2—3 раза.

Обнимаю тебя.

Илья.

Елене Гиляровой

3.3.72

Леночка!

Я напишу, наверно, мало и скверно. Сейчас пять часов утра, жутко хочется спать и вообще весь разбитый и туго ворочаются мозги. Надо бы отложить, но я и так пропустил одно письмо, а если не напишу сегодня, то письмо уйдет только через 3-4 дня — совсем уж бессовестно.

Прочитал посланные тобою стихи Бродского. Хотел прочесть внимательно, вдумчиво и отзывчиво, но ни с вниманием, ни с отзывчивостью пока ничего не получается. Придется отложить, как и многое другое.

Я сразу же прочел переданную тобой книжку о Перикле. Все время ощущение такое, что позабыл, но читал куда больше, чем написано в книге, только когда-то. У него, автора, единственная неожиданная позиция — Аристид-Фемистокл. Это не борьба аристократической-гоплитовской и морской-демократ. партий, а такая, знаешь, борьба традиционной, устаревшей политической порядочности со стихийным макиавеллизмом. Еще там намечается-намечается кусок, когда Перикл «пережил свои желанья, разлюбил свои мечты», народились цепкие и циничные ребята. Но все только намечается. Лежат у меня сейчас пустые номера журналов «Москва» и «Звезда». Доберусь как-нибудь, а пока что ни сил, ни времени и охота почитать что-нибудь стоящее.

Напишу в другой раз, ладно? А то слова прямо-таки вяжутся: пишу и дремлю; надо бы и то обговорить, и это обговорить, а слов нету <...>

Мне надо ответить еще на 13 писем, переданных с Галей. Дай мне бог сил.

Обнимаю тебя и твою семью нежно и искренне.

Илья.

Алеше Габаю

6.3.72

Алеша!

Мама передала мне, что ты ждешь от меня разбора твоего стихотворения. Давай, сынок, отложим все-таки до встречи этот разговор. Я только хочу сказать, что поэт должен быть искренним человеком, его должно многое волновать и трогать, он должен уметь сочувствовать, понимать других, любить красоту. Это далеко не всем дается в течение целой жизни; а ты еще все-таки малыш и еще не волшебник, а только учишься. Читай, слушай, смотри побольше, умеи дружить и быть нужным многим людям — это должно помочь писать хорошие стихи.

Со следующего года у тебя будет много учителей. Учиться, наверно, будет труднее и интереснее. Вообще тебе предстоит еще много трудного и интересного; я бы даже завидовал тебе, если бы не радовался так сильно за тебя.

Посмотри в календаре, на какой футбольный матч мы пойдем в конце года.

Крепко тебя целую. Папа.

Александру Гинзбургу

13.3.72

Дорогие Алик и Ариша!

Спасибо за весточку. Предложение ваше — заманчивое, пленительное, головокружительное — не счесть эпитетов. Наверное, под финиш непреложно появляется такое состояние, но даже кажется, что оно и несбыточная мечта, утопия-с. Хотя подумать, отчего же и несбыточное. А с другой стороны, как заранее планировать, когда не все доподлинно известно? Словом, решите это с Галей, вам всем видней. У меня почему-то появилось острое желание посетить на несколько дней город своего детства — Баку, пока не исчезли окончательно старые районы. Не знаю, с чем это связано уж — с подступающей старостью, с духом, ослабевшим и доступным сентиментальности, — но вот очень хочется. Может, потом и расхочется, особенно когда подступят заботы и будни, свои и близких. В этом смысле я хорошо понимаю, Алик, твои слова о том, что «в Москве никакой жизни нет», но и от той, что есть, не спрячешься и не увернешься. Физически я, конечно, куда благополучнее, в этом дело в первую очередь. Я очень хочу надеяться, что у вас обоих, у Алика в первую очередь (это актуальней) дело идет к кардинальной поправке и восстановлению сил. А с работой необходимо было торопиться, или просто так лучше? Мне отсюда мало что понятно. Во всех случаях я радуюсь вашим радостям. «Тихо, покойно, душа очищается», — по-моему, это(го) должно хватить надолго; то есть,

Письма из лагеря

я хочу сказать, дать длительное ощущение довольства жизни. Может, и не утопия-с, может, и я хвачу рядом с вами тишины и покоя? Славно бы!

А пока я очень и очень желаю вам здоровья и бодрости. Крепко и сердечно обнимаю вас обоих.

Ваш Илья.

«ВЫБРАННЫЕ МЕСТА»

1. Бессонница, а потом сон...

Я спутал Талейрана с Тамерланом...
В недоброй тьме, встревожен, зол и хмур,
Я причитал навзрыд и бесталанно:
«Кто крив?

Кто хром?

И кто из них — Тимур?»

Все стало вскоре просто несусветной
Игрой словес («Кто страж-душный? Кто страж
Души?»),

Решетчатый витраж

Угадывался. Длилась безрассветность,
Как долгий срок.

(Дотошных пустяков,

Себяжалений умысел и домысл:
Как невозможность памяти и дома,
Необратимость шуток и стихов;
Как безнадежный храп в ночи, ножей
В тиши бездарность и зловещесть;
Как дрязг и краж вседневность и как вечность
Немилостивых зим и сторожей;
А чуть точней — как малоумный лепет
И как нестрашный театральный гром, —

(А ну как вдруг немилые черты,
но явные — проступят непреклонно?!)
...все нищие арыки и цветы
Внушали полуслышно (полусонно):
*«Не самый ль раз, решишь на благосклонность,
Сподобиться житейской простоты?
Не самый ли? Не время ли? Не к стати ль
Вглядеться в чудо — в этот хрупкий сплав:
Вот ишачок — как сфинкс среди жухлых трав!
Вот шаловливость резвого дитяти!»*

И в этот самый миг, когда сама трава
Открыла мне заветное решенье, —
Как не ожить! — на головокружение
И менторство я предъявил права.

Сударыня! Такой веселый сон!
Врачующие травы и слова
С ума сойти как праздничны и ярки!
Дитя и ослик. Чистой жизни соль.
Обетованной тишины подарки...

2. Постскриптум

Сударыня! Такой — веселый! — сон.
Не говорите ж: *«Сон — лишь сон — черед
За сим обмолвок и проступков,
В душе копанье и копанье в трубке
И утрешний несвежий анекдот»*. —

Мне кажется, что сон был суть: я — жил.
А если мне тотчас не написалось,
То это малость: недостало малость
Сиюминутной ясности души.

3. Из диалога, подтвердившего невозможность исповеди

Куда там — не до сути и не до правд: горю!
Но жизнь благодарю за сопричастность судьбам;
За то, что в новый вздор я втянут, бедный, духом
И слушаю вполуха надрывный разговор;
Что здесь, в картуше драк и счетов, и бесчестий
Я устоял от жестов и сочиненья драм;
Что в мельтешне, лютей напраслин и поветрий,
Ни разу не поверил в возможность нелюдей...
Сударыня! Но строгость и память чистых лет
Я призван одолеть. Как мой прапращур — бога.
Не вздумайте, мой друг, что вместе с сменой кожи
В ревнителе убожеств я записался вдруг —
Я лишь сумел воздать как факту и обету,
Что в грязь былых аскетов я втянут: в благодать.
Я различил черты лишь читанного ране:
Сомнительность сиянья тщеславной чистоты.
И мне открылось в грубой проверке на Содом
Кто — кто: кто — крив, кто — хром, кто в мире —
кривдолюбы...

*— «Мне кажется, вам самый раз пора,
Провозглашая истины простые,
Поведать нам: наместники Петра —
Хранители святынь, но не святые.*

*И тем, кто уловил святой престол
На мнимом чуде и нескромном платье,
Ответствовать, что он — живой символ,
Глашатай, но не тело благодати.*

«Выбранные места»

*Откуда что берется в этот час?
Как мы мудры, как мы в сужденьях тонки!
Как тешат притчи нас и побасенки!
Как стыд житейский умиляет нас!*

*Коль истины удобны и просты,
Подумайте! — так близко до сужденья,
Что мы как раз достойны осужденья,
Коль скоро мы достигли чистоты!..»*

— Не говорите так! Не разумом, но кожей
Я чувствую ничтожество, доносов, краж и драк
Обкатанную ладно систему, косность, власть.
Но самому б *н е п а с т ь*! А остальное — ладно.
Мне б самому не быть в героях и кликушах
И, сдавленный картушем, о душах не забыть.

Мне не до правд: горю. Не до судов и сути.
За сопричастность судьбам судьбу благодарю.

Я счастлив, что на кручах,
Узнав хоть краем боль,
Я обрету не роль,
А участь, друг мой! Участь.

4. Зевс — Афродите, раненной Диомедом
(Мелическая вариация одной гомеровской темы)

А ты была красавицей...
из старых стихов

Девочка! Тебе-то зачем эта Троя?
Что тебе эта рухлядь: стены
Пота и баталий, победная песня
Школьного мифа?

Чем бы был мой мир и чего бы он стоил —
Сказка для зубрежки — когда б не Елены
Нежное безмолвье! Когда бы и если б
Не Суламита!

Чем бы он предстал? Кронидовой кляксой,
Выданной за росчерк преданий? Уликой
Вечных сукровицы да воплей? Метой
Смерти и муки?

Скукою: хвастливой скукой Аякса?
Скукой: хитроумной скукой Улисса?
Скукой: кораблей, щитов-гекзамётра
Длинною скукой?!

Ты так кротко плачешь: больно. Когда бы
Мы и вправду были б неробки духом,
Мы уберегли б тебя от мужлана
И от обиды.
Мы тогда мужчины, когда вы слабы.
Поручи богиням контор и кухню
Бицепсы и битвы — сгубившим в Жанне
Киприду.

«Выбранные места»

Предоставь сраженья, триумфы, царства,
Копья, колесницы — пускай их! — оставь им,
Чтоб тебе пребыть от веков и доныне
Только Кипридой!

Столько некорысти в твоём лукавстве!
Столько нестяжания славы — в тщеславье!
Неужели ж это однажды сгинет
В мартовских идах?!

А они право же добрая моя сударыня спорщица созданы только для Брута которым можно быть мгновение и все ведь если пребывать Брутом год месяц день час если замышлять стать Брутом и хотеть быть Брутом это значит быть просто убийцей и только ну не просто а подобравшим неглупые слова но и только и все равно убийцей и еще по-моему вообще непосвященному стать им и не оскверниться так же невозможно как уродице быть несмешной и нежалкой в гриме Елены с вашими волосами сударыня разве змеиное слово «шлемоблещущая» сопрягается как-то с легкими вашими шагами на выставке картин молодых баталистов сбор в фонд комитета защиты мира или с потайным но очевидным ожиданием звонков и избранника...

...Уф!

Воины мы, если вы беззащитны, богини!

**5. Диалог № 2, подтверждающий то же,
что и первый**

— *«Высокоумье мудрецов и нищих,
Косноязычье тостов и поэм,*

И весь восторг высоких слов и тем:
Весь ваш масонский код и чернокнижье
И все, что вы, — сейчас оно — зачем?
Что стало с вами? На каком пути
Вы подобрали свой испуг и барство?
Чем порожден он — праздностью? Опаской? —
Совет покуртуазничать — и баста,
Совет покрасоваться и уйти?
Стать статуей на площадях страстей?!
Быть каменной средь зла? — как ни судите,
Вы вечное безвременье сулите
Призывом пребывать при красоте».

— Как с книжек обгоревшие листы,
Стряхнув житейский пыл и нищий гонор,
Мне самый раз, решаюсь на благосклонность,
Сподобиться житейской простоты.

Вы прямодушны. Очень. Может стать,
Что вам наскучит скоро этот лепет,
В моем письме и впрямь не счесть нелепиц.
Что вам трудиться? — Лучше не считать.

Представьте сами: трубный глас и дым,
И трупный запах вожденной битвы...
Сударыня! Доколе ж в мире быть нам
Посланцами немира и беды?

Мне худо, что, далекий и в узде,
И ставший непонятым вам отныне,
Я не могу беречь вас от гордыни:
Высокомерья неотложных дел.

6. Возвращение ко сну

Но я хотел о солнце и сосне:
Хотел о сне. Хотел о сне — и сбился.
Мой сон исчез, сударыня: расплылся.
Бог с ним совсем — еще жалеть о сне!

Мне не сыскать неторопливых слов
Про все, что я так благодарно помню:
Про конуру, про поленницу дров,
Древесную прохладу сонных комнат:
Про все, что ваш странноприимный кров.
Про утро и про серый снежный сор,
Доверчиво прижавшийся к ограде,
Про все, что так сродни моей отраде
Сегодняшней (смотрите выше: сон!),
Про тихий отрешенный разговор,
Шуршанье книг и занавесных складок:
Про все, что ваша дача — ваша благодать.

Подумать только! — дача! скатерть! бор!
И как я только мог, тупец и бездарь,
Лишь (так сказать!) почти у края бездны,
Почти у рубежей небытия,
Понять, что бор — не робость. И не бегство.
Но жизнь. Но жизнь: сакральный смысл ея...

7. 0 нас — о себе

С надеждой уточнить.

С надеждой опровергнуть.

Встают неправо и разбой.
Но иллюстрации к утратам
Не разглядеть — не разгадать нам:
Мы слишком заняты. С собой.

За безопасностью оград
Храним мы лучшие из качеств:
Мы — регистраторы палачеств,
Зоилы дачные неправд.

Нам надо многое сберечь:
Свою — особенную — муку,
Свою семью, свою науку,
Свою — особенную ж — речь.

Нам позволяет наша честь
Особо знать и значить дневи,
Раз слезы по распятом древе
Нам затмевают казни днесь.

Нет мира бедствий, чтоб пробить
Твердыню зрелища и дела!
Жить с нами — значит: жить несмело.
Быть с нами — нетчиком пребывать.

Пожалуй, что теперь за счет,
Когда кругом в одних уликах?
Звучит по-эллински: элита.
Ползет элита... Доползет?..

8. «Второй Чадаев»

Откуда что берется в этот миг,
Когда приходит час надежд внушенных?
Сударыня! Какой нас ветер гонит
От благости: от музыки и книг,
От шорохов загадочных и сонных —
В базарный зной, сумятицу и крик?

И из какой пустыни наши души,
Уставшие, подать сумеют весть?
Сударыня, зачем нас ветер кружит
И гонит нас — и некогда присесть?

Чтоб радугой, расцвеченной без меры,
Пустившись в свой пленительный вояж,
Мы бросились в глаза, как эфемеры,
И возвратились на круги своя ж,

Где будет та же присказка и сказка
Скудельных душ и притомленных дружб,
И та же жизнь, — с азартом и с опаской —
С надрывом: та же вдавренность в картуш?

Но ты отмечен свыше: ты помечен
Обязанностью к действиям вотще...
Какой же ветер кружит нас и мечет
И гонит нас — и некогда душе?..

9. Будто элегия

Ю. Киму

Какое столетье? Неужто *не наше* уже?
Две тыщи такой-то — а мы не заметили это...
Мне, правда, до тое, *не наше го*, дела
ни малости нету,
Совсем не об том я — о том, что и ты постарел,
Беранже.
Хоть так же смешлив и умен и все так же сродни
Аруэту

Все *то же*? Все *так же*? Но вправду ли
честь высока
Нимало не стареть?.. (И где наши мудрость да
посох —
Все ветхость да трудная светскость.) Минувшего
наше го послух.

Как мог я не знать, что не вечна ж тоска, ни строка
Ушедшего в нети! Все *то же*? Все *так же*?
Все *так*.

Ну как бы не так! В непостижности новых,
ненашенских, буден
Застарело дело, и нас забрала немота,
И верить нелепо: что в нёмочи мы не оскүдим.
Оскүдим. Конечно ж: нас время словило на том
(А знали ведь, знали ж, что преданность наша
без прока!)

Что мы предавались *главою*, стихом и
крестом

Не очень *наше й*, но прбжитой нами эпохе.
И вся очевидность высоких печалей, и свар,

Смешной, как в сквере духовой оркестр,
Большой и старомодный, как мазурка,
Мой город был сердечен и в мазуте.
Я б счастлив был, когда б не первый крест.

Я не умею подобрать ключи,
Чтобы открыться *просто*, без судейства
Про город зная, лоз и алычи
И очень копперфильдовского детства.

Как рассказать о родичах моих
За давностью без трепета и *просто*:
Что были не по детству, не по росту
Мне вздохи их и сокрушенность их;

Что горше и язвительнее жала
Был для меня их обреченный жест,
Парад их скорбных, слышных миру жалоб,
И непосильность их великих жертв.

Несносно и старательно, без празднеств,
Меня в *Ничто* сводила воркотня.
О, как хвастливой был вконец задражен
Я добротой, унизившей меня!

И если я в двусмысленный тот миг
Не закоснел в упрямстве и угрюмстве,
От ангельской угодливости грума
Я уберегся если, — горстка книг
Да дружества, которыми помечен,
Спасли меня от хмурой хитрецы.

«Выбранные места»

А город был в мазуте и сердечен,
И обещали добрые концы
Зачитанные, ветхие романы,
Упрямо указующие цель.

И это было верным, необманным —
Напоминаем: помни о конце
Хорошем. Об одном о нем. И слушай,
Как жизнь обетованна и *проста*.
И верь в не вечность скучного перста!
И верь в покой и счастье добродушья!

И как я ни насмешничал, коря
Себя потом за сказку, — но нетленной
Она одна осталась, а изменой
Концам хорошим стала жизнь моя:

Мы полюбили варварство, мой друг.
Мы только тем и жили — упованием
На проповедь сменившее камлание
И музы подменивший волапюк.

С ехидцей поддерживавшие канон,
Нам полюбились шаткие подпорки:
Гражданственные рифмы-оговорки
И башней взгроможденный террикон.

(Тщедушный пастырь выморочных муз!
Когда твое непрочное строенье
Взметнет к чертогам свой надменный груз, —
Ты, сея лжу, воззриждешь оскуденье
Среди развала каменных пустынь!)

Но я спешу куда-то все — а ране
Я жил, мой друг, в слезах и обещаньях,
Надежных, справедливых и — *п р о с т ы х*.
Какой волшебю было мне дано
С упорством непреложным очевидца
Уверовать, что Англии столица
И прадедов местечко — все одно:
Что, как ни различайте чад, — в чаду
Тщеславия, в торгашеском удушье
Нелепец — Нестяжатель — Добродушец
Зажег свечу в ночи надменных душ.

И потому грядущее растрат
Душевности сулило мне не просто
Никчемного утрату первородства —
Но Словаря. Но кровного родства.

И потому, когда добра и зла
Разграничений видеть перестала
Душа моя — не детство оставляло
Меня, — но человечность обошла.

Входите ж в адский карнавальный круг,
Где пляшет козлоного и немудро
Петрушечник в одеждах демиурга!
Мы полюбили варварство, мой друг!

Пляши и блей, божественный козел!
Здесь, в святотатстве лубочного глума,
Мы — пленники, и нет высокоумья,
Чтоб оживить озябнувший глагол.

Зачем — для старомодных утешений
Коснеющих упрямцев и тупцов? —

«Выбранные места»

Оскомины кислицы праотцов:
Слова досужих жалоб и смятений.
Гляди ж, как вхруст, за годом Новый год,
Сминает жадно площадная челюсть!
Пляши и блей, божественная нелюдь!
Исхода нет. И к черту ли — исход?
В такие вот — присяжности — года
Один и спас: петрушечное зелье
И в исступленье бесноватых зрелищ
Низкопоклонство просто ль угадать?

.....

Но что потом мы скажем, обретя
Потемки первобытные и пустошь?
Что был обряд? И не было искусства?
Что мы молились идолам, дитя?

11. Что унываешь ты, душа моя

Что унываешь ты, душа моя,

И что смущаешься?

Из Псалтири

Начаток кривды и неправоты
В надменности душевной: в убежденье,
Что ты дошел до смысла и черты
Сокрытого, что ты проник до корня
Познания, до азбуки пыльцы.
Вот, за чертой заблудшие слепцы, —
И ты им — поводырь, креститель, кормщик.

Илья Габай

*Если вы хотите обрести
утраченную человечность,
читайте Диккенса*

Разбитости начаток и крушенья
В назойливом, непрошенном крещенье —
Начаток зла.

И я не поручусь,
Что я не знал заранее: будет груз
Обрыдлостей, издерган и отринут,
Я брошусь к благодетельным отрывкам
Из писем к вам — и горько усмехнусь:
Такая — непригляднейшая — статья:
Искать всему конечные ответы,
Сполна от их никчемности отведать
И вновь кого-то в чем-то наставлять...
Мне плохо, что, далекий и в узде,
Я не сумею вам открыть воочью
В такой ночи — такое чувство нѳчи
Кромешной: это чувство нелюдей.

И лучше безрассветность, чем предел
Грядущего, при свете дня, бездушья:
Чем грязный и бесстыдный, как частушка,
Бездарный, как блатная песня, день.

И все что я: надежды и слова, —
Своей нехитрой мерой замеряя,
День не уйдет, пока не замазает
Стихи и сны, и даже письма к вам.

Что делать мне? Ночами теребя
Плаксивый словник заунывных песен,

«Выбранные места»

Придумать худосочное «Из бездны»,
Украдкою любуясь на себя?

Или свою придумать мерку: «Ад
Не по грехам», — без вкуса и без меры
Твердить: «Сие — стигмат исконной веры».
Подумайте! — парашка — и стигмат.
Что делать мне? Какая даль иль близь
В каком краю предстанут мне защитой?
Так нету сил! (И где мой утешитель?)
Так худо мне! (И чем же мне спастись?)
Так нету сил!

...И, стало быть, пора

Искать в но́чи не но́чи злобы — лица
Родные, и бессловно приклониться
К товарищам по перьям и пирам.
Я б навсегда укрылся, если б смог
(Как в старину сказали бы: под сенью),
в такую малость, в сущности, — в письмо
От друга, — кроме — в чем мое спасенье?
Там, под пятой воинственных систем,
В проверке человечности и мужеств,
Вы — человеки, сколько вас ни мучай:
Вы дружества не предали. Ничем.

Я не судья вам — мне б один удел:
Строжайшей и пристрастнейшей охраной
Вас удержать от ссор и перебранок! —
Да вот беда: далек я и в узде...

Когда вы притомитесь от борьбы,
Какие ждут вас пропасти и сшибки?

Илья Габай

Но дай мне бог — грехами и в ошибке,
И чем угодно — сходным с вами быть.

Да минет вас замшелый бережок
Приюта плоти сытой и несытой!
Пускай звучит по-эллински: элита!
Пускай элита круг свой сбережет!

Когда-нибудь при яркой вспышке дня
Грядущее мое осветит кредо:
Я в человеках тож: я вас не предал.
Ничем.

Друзья, молитесь за меня!

12. Давным-давно — и ныне

Давным-давно, послушник честный книг,
Я книжное ж слепил стихотворенье
Про пышное узорное цветенье
Цветов морозных — про уход их в Nichts
Без увяданья.

Не мне судить вас (что уж мы цветы
Морозные влюбились?) — за способность
Не замечать лукаво низкопробность
Под машкерадной маской красоты:
Чем жить, когда бы не притворство книг
В столпов сверженье и столпотворенье —
Когда бы не узорное цветенье
Цветов морозных, не уход их в Nichts
Без увяданья...

13. Сомнение

Поэты слепы и в потерях
Не ведают скорби потерь.
Я думаю так: не Гомера ль
Пленительность в сей слепоте.
Так надобен низким и горьким
Эпохам, живущим на слом,
Лишь росчерк огня, а не зоркость
Для трех валтасаровых слов.

От древле вселенских потемков,
От бранной и льстивой тщеты
Один и пребудет — и только —
Взыскующий иск слепоты.
Как совести — ночь одиночеств,
Как памяти честной — засов, —
Томленье без рифм и вне строчек
Любому из огненных слов.

Одни и пребывшие в мире
Останки пиров и побед —
Слова те незрячи, как лира,
Слепы, как причастность судьбе.

И знаете, друг мой, — обидишь
Неважно кого-то иль нет, —
Но коль ты ревниво всевидящ:
Всесведущ, — то ты — не поэт.

Ты вдруг ощутишь, что утерян
Бесславно язык праотцов:
Притупленных перьев затеи,

Илья Габай

Попытки натруженных слов
Легки и пусты — безъязыцы,
Тревожно и зыбко кружа,
Споткнутся о скучные лица:
Бесстрастные лица чужан.

И что им в слезах, горевые
Уроки исчезнувших дней
Соседки моей, Ниневи?!
(«И кто зарывает по ней?»)

Наверно, надежно порочат
Любую из трепетных тем
Представшие в немоте
Смешные потуги пророчеств!

.....

Тогда-то и будет разгадан,
До срока припрятанный в стих,
От детства, от первого шага,
Мой страх оказаться в смешных...

14. Нельзя не признаться

*И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу...*

А. Пушкин

Т о г д а казалось: долгие года
Не выветрить из памяти тоскливой
Урочный час в Совете Нечестивых:
Шаманский срам Шемякина суда.

«Выбранные места»

Тогда казалось: должно уберечь,
Как юношам из очерков — мозоли,
Победный знак еврея и масона:
Последнюю, возвышенную речь.

Сударыня! — суда!.. в суде!.. судом!.. —
Мы все о нем — но пред лицом Содома,
В который каждый втянут, — пред судом мы
Куда тяжеле.

Я стою на том,
Что испытанье пагубой и порчей,
Проверка униженьем и стыдом
Не для моей отнюдь щедешной почвы.
Вот почему кружением не впрок
Отмечен каждый божий миг кануна;
Вот почему все оказалось втуне:
Любой — былой и небылой — порок
Обозначал разрыв с собой и слома
Конечность, и сегодня этот слом
Подвиг меня на истинное слово,
Последнее — и пусть оно не ново! —
Виновен в чем-то — *виноват во всем.*

Уловленный недоброй хмурой тьмой,
Я и впотьмах сыскал, как видно, тропку,
И все, что ныне, оказалось робкой
И малой (не в грехи) епитимьей.

Сударыня! — такой веселый сон!
Приснится же такое человеку!
Но сон — лишь сон: в мечтах святой, как Мекка,
Ты созидаешь в яви Вавилон.

Какие лес и дача? — Не взыщите:
Какая благодать? — Скверна и Содом!
И нету сил! (И где мой утешитель?)
И худо мне! (И чем утешит он?)

Утешусь ль тем, что *сложен* человек?
Что много в нем намешано от века?
Что мы, — когда Аврелий! и Сенека!
Когда поэт! Философ! Имярек! —
Вчитайтесь! Нуте-с: это ли не Мекка.

А если это вчуже и не впрок —
Пример велик, но явственно обличье, —
Утешит, может, тоже столь привычный,
Священника спасительный урок?

(Роскошество ревнителей убожеств?
Мздоимство, раболепие святош?
Все правильно, — однако вспомним, кто ж
Низкопоклонник, но хулитель торжищ?)

Откуда что берется в этот час:
Как мы мудры, как мы в сужденьях тонки!
Как тешат притчи нас и побасенки!
Как стыд житейский умиляет нас!

Коль истины удобны и просты!
Подумайте! Так просто до сужденья,
Что вы как раз достойны осужденья,
Коль скоро вы достигли чистоты...

...Я в сомкнутом, я в сдавленном кольце.
Мне остается пробавляться ныне

«Выбранные места»

Запавшей по случайности латынью:
Memento mori. Помни о конце.

Какие сны и травы? — Не взыщите:
Какая благодать: лживый, малый сон.
И нету сил! (И где мой утешитель?)
И худо мне! (И чем утешит он?)

15. Сонет

Такая непрощенность — эта грязь
И поздний стыд — любая казнь в угоду, —
Предвестница *последнего* ухода,
Объявшая меня грехобязнь.

Невыносимо в сдавленном кольце
Остаться до конца и сокрушенно
Сомнительной гремушкой прокаженных —
Напоминаьем: помни о конце.

Кому напоминаьем и зачем?..
Непрошено, взалхлеб и неспасенно
О замыслах рассыпанных поэм,

О горькой невозможности забыться
В каком краю, среди каких языцех,
Какому собутыльнику поведем?..

16. Сцепление ежевечерних слов

— Отыщется ль странноприимный кров?

— Отыщется, я думаю, чего там!

...Вообразим же, коль пришла охота
До слезных и самовлюбленных снов,
Молитвенное шествие коров,
Отверженность и жабью рябь болота:
Сочувственный и призрачный приют.

Дорожный посох и мешок ковровый
В товарищах немилых по оковам,
Как и во мне, застенчиво живут.

Я думаю, насильственно, темно,
Протянутыми, скучными годами
Они об этом ревностно гадают
По стершимся костяшкам домино.

...Вот так и я, ребячливо, навзрыд
В кругу своих товарищей постылых
Со стеллажами книжек и пластинок
Придумал свой пустынножитный скит.

Так милосердно пожалеть о том —
О сем: себя взжалеть без меры,
И причитать, в исконность слов не веря:

— Отыщется ль странноприимный дом?

— Отыщется...

...И нет конца, ни кровя...

...И посох сбит... И пуст мешок ковровый...

«Выбранные места»

...И долог путь... И беспредельна ночь...
...И безысходна память этой ночи:
Униженность блуждания без помочи,
Паденье ниц и стыд отмерзших ног...

Так выдумка о ските и стезях,
Так участь наподобие и вроде
Вели меня к исчезновенью в роли
Опасной: в жизнь со снами и в слезах.

Так пишется едва ли не шутя
В доуке своевольного хотенья
Образчик благолепного хождения,
Апокриф пресвятого жития.

А между тем среди таких забот
(Турпесенных!) есть чистой зов природы,
Предвестницы *последнего* ухода:
Пребыть иным и стать самим собой.

И перед этим счастьем обрести
Особый знак лица, отечеств, отчеств —
Что вся тщета воителей и зодчих,
Которая мелькнула б на пути?

...Но вечер — и сцепленье тех же слов:
— Отыщется ль странноприимный кров?
— Отыщется, я думаю, чего там!
...И снова путь отринутостей, скит
В конце пути, загробный вопль болота
И голос мрака:
— Путник! Кто ты? Что ты?
— Я бедный нетчик в час вселенских битв...

**17. За партией, отстаивающей правое дело,
я пойду хоть в огонь, но только в том случае,
если смогу.**

Монтень

Нетчик? Да-с! Бедный? Думаю, вряд ли.
Я давно уже шел к этой теме,
Но сказать не умел — и помог мне
Рассудительный друг Бозси.

Долго, значит, я все-таки ждал,
Если трепетно так и готовно
К каждой строчке, изящной и едкой,
Прилепился душой в эти дни...

...Задохнулись в крошечном угаре
Дети Сарры и дети Агари...

...Значит, должен я выискать место
В этом крошеве местей и свар? —
По какому наитию? Родства?
Но, сударыня, что за родство
С задохнувшейся речью пророка
У ублюдка, не пасшего стад?

Значит, должен я выискать место?
По какому наитию? Чести?
Но откуда мне введена честь
Государственных тяжб и воительств?

Наверно я нарочно оттягиваю ту сокровенную минуту собеседования с Вами которая право же друг мой и спорщица не поразит

Вас никакой такой новизной так часто мы говорили об этом бывало
я знаю заранее что Вы скажете слова внушенные мною же так уж
печально мы устроены что признание я вынужден был так поступать
воспринимаем как измену и как объяснить что понимание не обозна-
чает измены своим поступкам ни даже что мы откажемся повторить
эти поступки хотя знаем теперь и знали прежде их подоплеку потому
что знали и знаем их подоплеку.

В этом крошечке местей и склок,
Непрощенной беды и обиды
Погубить себя в мартовских идах
Никогда не просрочится срок.

Мы едва не презрели межу.
Мы почти что взорвали преграду:
Мы, по-моему, были на грани
Бесноватой любви к мятежу.

Для чего мы пришли в этот мир?
Для того, чтобы сеять смятенье?
Чтоб посланцами слезного мщенья
Громогласно себя заявить?

Для чего в этом мире, мой друг,
Мы закружены в бунтах и спешках?
Чтоб счастливый победный досуг
Посвятить сотворенью гарроты?

Утешит ль нас странноприимный дом?
Я думаю, утешит нас, чего там!
А нет — не поздно грянуть мятежом
И на досуге изобрести гарроту.

Илья Габай

Еще не поздно. Пусть трепещет кто-то.
Мятеж да казнь — утешьтесь хоть на том...

— Нетчик? Да-с! Бедный? Все-таки вряд ли.
Нетчик — «нет» объявивший круженью,
Возвестивший: помешкай, взглядишь
В себя — и призвавший к терпенью.

Надо терпеть и ждать —
А иначе
Все обернется
Любовью к мятежам.
Надо терпеть и ждать
Просветленности душ и умов —

А иначе —
развеселый простор честолобцу,
Для которого кровь нипочем!

Я предвижу слова которые Вы мой друг вправе произнести сейчас
слова мною же внушенные с глубокой душевной печалью угадываю
их потому что в них правда от которой я не отрекаюсь нимало благо
тому кто не блуждает между множеством правд всяких там провид-
цев историков а еще и послухов дней своих...

СОНЕТ

Нелепо думать: мне не по плечу
Жить ожиданьем, сбиться ль дивной сказке,
Когда в пути, как к Савлу под Дамаском,
Раскаянье подступит к палачу.

«Выбранные места»

Исполнен миф — и в сей блаженный миг
Вам возвестят кимвалы или трубы,
Что полюбили сырых раболюбы
И я обнял тюремщиков моих.

Который год вещает мудрость нам,
Что путеводна сказочка простая:
Исполнитесь презреньем к мятежам.

Живите ж, горней правды выжидая,
Незримо словоерсом обрстая
И кланяясь вельможным палачам.

18. Сонет

Итак, смиренно погрузись в себя
Иль полномочный бунт твори повсюду, —
Твое мужанье с деревом Иуды
Цветеньем схоже — со зловещим чудом:
Терять листву, себя в цвету губя.

Терять листву, себя вконец губя,
Нам остается истовой и злее:
Порушить **Я** иль это **Я** взлелеять —
Все заблудиться в злополучных **Я**.

Своди — но воедино *как* свести,
Ищи рубеж — но *где* его найти:
Мятеж — иль месть? Смиренность — или
смирность?

И нет жрецов в покинутых кумирнях,
Которые мелькнули на пути...

19. Тогда-то...

Тогда-то для заблудшего в пути
Раздастся глас, молитвенный и строгий:
«Иди вперед! Ищи — *ж и в о г о* бога!»

Совет благой — но *к а к* его найти?
И *г д е* найти? Ценой каких утрат?

Когда б не знать: меня вблизи чертога
Уж если не сомненье, не тревога,
Так боль зубная изведет, хоть плачь!

Простите за кощунство — сам не рад.
Но мне ли строить Августинов град,
Раз не страшит погрязшего в безверьи
Игрушечный — на сон грядущий — ад:
Весь апокалиптический парад
Видений дочерей на багряных зверях.

Нет сил для покаяний и молитв.
Я снова нетчик в час вселенских битв
И, мыслью о спасении горя,
Я жажду обновления, как влаги.
Но нет во мне мистической отваги.
Что мне Инкубы, правду говоря!

20. И так...

1. *Воспоминанье?*

Старушечья поступь, унылость горба
В пугливой походке издерганной веры.
А мы не таимся. Чиста, и горда,
И явна для недругов наша вечеря.

И праздничен вечер! За нашим столом
Бутылей беспечный и радужный слиток.
И светится имя Мадонны элиты
И царственны речи — за нашим столом...

2. *Будни*

Мне невозможно жить, я не научен
Сносить без слов улыбочки наущничеств.
Мне стыдно, что я жив, когда творят правож,
Безжалостность и жадность, ложь и вошь
И идиотство песенок и гимнов,
Звучащих здесь: блажной и грязный свал.

Так — что мне книги? Больше: что стихи мне?
Что мне стихи — и даже письма к вам?

Что стерты и утеряны черты,
Являя миру веские улики,
Высокомерно ль освятить элиту,
Сподобиться ль житейской простоты.

Сподобиться — и дней своих на склоне
Жить *в простоте*: без гнева, не сердясь.

Ж и т ь в пустоте, причастность Вавилону
Представив как монашескую грязь!..

3. *Во что я верю?*

Нам встретиться нужно. За нашим столом.
И вот мы собрались. Никто не увечен:
Никто не напуган. И *нечто* увенчит
Шутливая дружба за нашим столом.

И царствует кубок в сплоченном кругу
Иль — проще — стаканы. — *Так сдвинем их разом!*
И нет раболепца — *Да здравствует разум!*
И нет раболюба в сплоченном кругу

Нам близко и тесно за нашим столом.
И шуткам простор и покойно подругам.
И нету им места — внушенным потугам,
И склокам, и сыску — за *нашим* столом.

4. *Во что я не верю?*

— Я не верю, мои друзья, снам и полуснам
и в возможность обойтись без них в отчаянную
минуту;
— Я не верю в существование нелюдей
и в возможность недружб,
и что должен жертвовать кем-то, кроме себя самого;
— Я не верю любви к мятежам: так создается зло
и не верю в право уклоняться от мятежа:
так допускается зло;

«Выбранные места»

— Я не верю в возможность ответить на вопросы
души
и в право души не задавать их...

5. *На что я надеюсь?*
(и так)

...что на кручах,
Узнав хоть краем боль,
Я обрету не роль,
А участь, друг мой...

Участь. Я надеюсь на
Участь. На свою
У каждого. Какая
Она ни есть.

Кемерово, январь 1971 г.

Содержание

<i>Марк Харитонов. «Значит, должен я выискать место»</i>	5
Последнее слово Ильи Габая на процессе 19—20 января 1970 года в Ташкентском городском суде	12
От составителя.....	30
Письма из лагеря	37
«Выбранные места».....	293

ИЛЬЯ ГАБАЙ:
ПИСЬМА ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
(1970—1972)

Дизайнер *С. Тихонов*
Редактор *Н. Зиновьева*
Корректор *О. Семченко*
Верстка *Л. Ланцова*

Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

000 Редакция журнала
«Новое литературное обозрение»
Адрес редакции:
123104, Москва,
Тверской бульвар 13, стр. 1
Тел./факс: (495)229-91-03
e-mail: real@nlo.magazine.ru
Интернет: <http://www.nlobooks.ru>

Формат 60 × 90 ¹/₁₆. Бумага офсетная № 1.
Офсетная печать. Печ. л. 21. Тираж 1000. Зак. №
Отпечатано в ОАО «Издательско-полиграфический комплекс
“Ульяновский Дом печати”»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Издательство
«Новое литературное обозрение»

2015

С. Вессье

За вашу и нашу свободу! Диссидентское движение в России

Пер. с франц. Е. Баевской, Н. Кисловой, Н. Мавлевич

Что такое диссидентство и кто такие диссиденты? Эти термины у всех на слуху, однако дать им определение не так уж легко. Никто не станет оспаривать, что такие люди, как Андрей Сахаров или Владимир Буковский, Сергей Ковалев или Наталья Горбаневская, — настоящие диссиденты, но что у них общего с писателями вроде Александра Зиновьева, который оставался членом партии чуть ли не до самого отъезда из страны, с некоторыми из русских, прибалтийских или грузинских националистов, с евреями, отстаивавшими свое право жить в Израиле, с православными и баптистами, протестовавшими против вмешательства государства в дела церкви, с защитниками прав инвалидов, женщин, рабочих — со всеми теми, кого в разных случаях также можно причислить к диссидентам? Борьба диссидентов имела много направлений во многих сферах жизни. В этой книге речь идет только о российском диссидентстве, поскольку именно в России оно зародилось, здесь сложились его принципы, общие для диссидентов на всей территории СССР и, шире, Восточной Европы.



Издательство
«Новое литературное обозрение»

2014

Политика аполитичных:
Гражданские движения в России 2011—2013 годов

Книга написана на основе коллективного эмпирического исследования протестного движения в России, проведенного в 2011—2013 годах. Авторы книги — молодые политические социологи из Петербурга и Москвы — используют глубинные интервью и другие, преимущественно качественные, методы исследования, а также теории политической субъективности и различные подходы к политизации и деполитизации субъекта в современном обществе. В результате удастся выявить сложный и парадоксальный характер политической вовлеченности российских граждан, участвовавших в движении «За честные выборы» и других протестных движениях недавнего времени. Их политизация строится на основе прежде выработанной аполитичности и антиполитичности и лишь отчасти преодолевает ее, отчасти же — на нее наслаивается. Это дает возможность диагностировать слабые и сильные стороны движения, а также пути его развития или угасания.



Книги и журналы
«Нового литературного обозрения»
можно приобрести в интернет-магазине издательства
www.nlobooks.mags.ru
и в следующих книжных магазинах:

в МОСКВЕ:

- «Библио-Глобус» — ул. Мясницкая, 6, (495) 924-46-80
- Галерея книги «Нина» — ул. Волхонка, д. 18/2 (здание Института русского языка им. В.В. Виноградова), (495) 201-3645
- «Гараж» — ул. Крымский вал, 9 (Парк Горького, магазин в центре современной культуры «Гараж»), (495) 645-05-21
- «Медленные книги» — (495) 971-47-92
- «Книги в Билингве» — Кривоколенный пер., 10, стр. 5, (495) 623-66-83
- «Москва» — ул. Тверская, 8, (495) 629-64-83, (495) 797-87-17
- «Московский Дом Книги» — ул. Новый Арбат, 8, (495) 789-35-91
- «Мир Кино» — ул. Маросейка, 8, (495) 628-51-45
- «ММОМА ART BOOK SHOP» — Петровка, 25 (в здании ММСИ)
- «ММОМА ART BOOK SHOP» — Красная площадь, 3 (ГУМ), 8 (916) 979-54-64
- «ММОМА ART BOOK SHOP» — Берсеневская наб., 14, стр. 5 (Институт Стрелка)
- «Новое Искусство» — Цветной бульвар, 3, (495) 625-44-85
- «У Кентавра» — ул. Чайнова, д. 15 (магазин в РГГУ), (495) 250-65-46
- «Фаланстер» — Малый Гнездииковский пер., 12/27, (495) 629-88-21
- «Фаланстер» (На Винзаводе) — 4-й Сыромятнический пр., 1, стр. 6 (территория ЦСИ Винзавод), (495) 926-30-42
- «Циолковский» — ул. Большая Молчановка, 8, (495) 691-51-16, (495) 691-56-28
- «Додо» на Солянке — ул. Солянка, 1/2, стр. 1, 8 (926) 063-01-35
- «Додо» в ТЦ «Филион» — Багратионовский проезд, 5 (ТРЦ «Филион»), 8 (929) 579-53-22
- «Додо» в кинотеатре «Пионер» («Омнибус») — Кутузовский проспект, 21 (кинотеатр «Пионер»), 8 (915) 418-60-27
- «Додо» в КЦ Зил — ул. Восточная, 4, к. 1, (495) 675-16-36 (позовите Додо к телефону)
- Киоск в кафе «АртАкадемия» — Берсеневская набережная, 6, стр. 1

в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:

- На складе нашего издательства – Лиговский пр., 27/7, (812) 579-50-04, (952) 278-70-54
- «Академическая литература» – Менделеевская линия, 5 (в здании Истфака СПбГУ), (812) 328-96-91
- «Академкнига» – Литейный пр., 57, (812) 230-13-28
- «Все свободны» – наб. р. Мойки, 28 (второй двор, код 489), (911) 977-40-47
- Галерея «Новый музей современного искусства» – 6-я линия ВО, 29, (812) 323-50-90
- «Исткнига» – Кадетская линия ВО, 27/5, (812) 986-82-51
- Киоск в Библиотеке Академии наук – ВО, Биржевая линия, 1
- Киоск в фойе главного здания «Ленфильма» – Каменноостровский, 10
- «Классное чтение» – 6-я линия ВО, 15, (812) 328-62-13
- «Книжная лавка» – в фойе Академии художеств, Университетская наб., 17
- «Книжный салон» – Университетская наб., 11 (в фойе филологического факультета СПбГУ), (812) 328-95-11
- «Книжная лавка писателей» – Невский, 66, (812) 314-47-59
- «Мы» – Невский, 20 (на третьем этаже проекта Biblioteka), (981) 168-68-85
- «Подписные издания» – Литейный пр., 57, (812) 273-50-53
- «Порядок слов» – Наб. реки Фонтанки, 15 (812) 310-50-36
- «Проектор» – Лиговский пр., 74 (Лофт-проект «Этажи», 4-й этаж), (911) 935-27-31
- «Росфото» (книжный магазин при выставочном зале) – ул. Большая Морская, 35, (812) 314-12-14
- «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Дом Зингера) – Невский пр., 28, (812) 448-23-57
- «Свои книги» – 1-я линия ВО, 42, (812) 966-16-91
- «Фаренгейт 451» – ул. Маяковского, 25 (во дворе) (911) 136-05-66

в ЕКАТЕРИНБУРГЕ:

- «Дом книги» – ул. Антона Валека, 12, (343) 253-50-10

в ИРКУТСКЕ:

- Интернет-магазин «Лавка чудесных подарков» – ул. Свердлова, 36 (ТЦ Сезон, офис 514), (3952) 95-44-45, www.lavchu.ru

в КРАСНОДАРЕ:

- Специализированный магазин «Книжный Кабинет» — ул. Пашковская, 52 (2-й этаж), (861) 255-34-94, 8-918-191-27-53

в КРАСНОЯРСКЕ:

- «Русское слово» — ул. Ленина, 28, (3912) 27-13-60

в НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ:

- «Дирижабль» — ул. Б. Покровская, 46, (8312) 31-64-71

в НОВОСИБИРСКЕ:

- Литературный магазин «КапиталЪ» — ул. Горького, 78, (383) 223-69-73
- Магазин «ВООК-LOOK» — Красный пр., 29/1, 2-й этаж, (383) 362-18-24; — Ильича, 6 (у фонтана), (383) 217-44-30

в ПЕРМИ:

- «Пиотровский» — ул. Луначарского, 51а, (342) 243-03-51

в РОСТОВЕ-НА-ДОНУ:

- «Деловая Литература» — ул. Серафимовича, 53Б, (863) 2-404-889, 282-63-63

в ЯРОСЛАВЛЕ:

- Книжная лавка гуманитарной литературы — ул. Свердлова, 9, (4852) 72-57-96

в МИНСКЕ:

- ИП Людоговский Александр Сергеевич — ул. Козлова, 3
- ООО «МЕТ» — ул. Киселева, 20, 1-й этаж, +375 (17) 284-36-21

в СТОКГОЛЬМЕ:

- Русский книжный магазин «INTERBOK» — Hantverkargatan, 32, Stockholm, 08-651-1147

в ХЕЛЬСИНКИ:

- «Ruslania Books Oy» – Bulevardi, 7, 00120, Helsinki, Finland, +358 9 272-70-70

в КИЕВЕ:

- ООО «АВР» – +38 (044) 273-64-07
- Книжный рынок «Петровка» – ул. Вербовая, 23, Павел Швед, +38 (068) 358-00-84
- Книжный интернет-магазин «ArtLover» (www.artlover.com.ua): +38 (067) 91-51-281, info@artlover.com.ua
- Книжный интернет-магазин «Лавка Бабуин» (<http://lavkababuin.com/>) – ул. Верхний Вал, 40 (оф. 7, код #423), +38 (044) 537-22-43; +38 (050) 444-84-02
- Магазин умной книги и хорошего винила «Хармс», ул. Михайловская 21б (www.xar.ms)
- Интернет-магазин «Librabook» (<http://www.librabook.com.ua/>) (044) 383-20-95; (093) 204-33-66; icq 570-251-870, info@librabook.com.ua

в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ:

• в разделе «Интернет-магазин издательства
“Новое литературное обозрение” www.nlobooks.mags.ru

- www.ozon.ru
- www.artlover.com.ua
- bestbooks.shop.by
- www.bolero.ru
- www.cafemart.ru
- www.esterum.com
- www.lavchu.ru
- www.lavkababuin.com/shop
- www.librabook.com.ua
- www.libroroom.ru
- www.mkniga.com
- www.ruslania.com
- www.shopgarage.ru

ИЗДАТЕЛЬСТВО



Новое Литературное Обозрение

Интернет-магазин www.nlobooks.ru

Возможность купить книги НЛО по ценам издательства,
которые значительно ниже цен в книжных магазинах

Доставка в любой регион России

**Специальные сервисы
для покупателей интернет-магазина:**

Раздел «Раритеты»

Возможность оформить заказ на редкие книги
нашего издательства, тираж которых почти распродан.

Раздел «Print on demand»

Возможность купить книги «НЛО», которые уже давно
стали библиографической редкостью.

Мы специально издадим эти книги для Вас
по уникальной технологии «Print on Demand»,
которая позволяет напечатать любую книгу тиражом
всего в 1 экземпляр.

Раздел «Специальные предложения»

Возможность купить отдельные книги издательства
со значительными скидками

ИЛЬЯ ГАБАЙ

ПИСЬМА ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

(1970—1972)

Илья Габай (1935–1973) – активный участник правозащитного движения 1960–1970-х годов, педагог, поэт. В январе 1970 года он был осужден на три года заключения и отправлен в Кемеровский лагерь общего режима. В книге представлены замечательные письма И. Габая жене, сыну, соученикам и друзьям по Педагогическому институту (МГПИ им. Ленина), знакомым. В лагере родилась и его последняя поэма «Выбранные места», где автор в форме воображаемой переписки с друзьями заново осмысливал основные мотивы своей судьбы и творчества. Читатель не сможет не оценить нравственный, интеллектуальный уровень автора, глубину его суждений о жизни и литературе, его блистательный юмор. В книгу включено также последнее слово И. Габая на суде, которое не только не устарело, но и в наши дни читается как злободневная публицистика.

ISBN 978-5-444-80299-1



9 785444 802991